Надежда Мандельштам

ВОСПОМИНАНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

НАДЕЖДА
МАНДЕЛЬШТАМ

ВОСПОМИНАНИЯ

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
НЬЮ ЙОРК 1970

MEMOIRS

by Nadezhda Mandelstam

Chekhov Publishing Corporation
505 Eighth Avenue, New York, N.Y. 10018

General Editor: Max Hayward

Printed in the United States of America
Library of Congress Catalog Card Number 79-132423

НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА МАНДЕЛЬШТАМ

О ранней жизни автора, Надежды Яковлевны Мандельштам, очень мало известно. Она родилась в городе Саратове 31 октября 1899 г. Ее отец, Яков Хазин, скоро переехал в Киев, где и прошли молодые годы Надежды Яковлевны. Мать ее была врачом. Профессия отца неизвестна, но семье его, очевидно, жилось неплохо. Н. Я. окружала образованная, культурная среда. В молодости она увлекалась искусством, в особенности живописью, и училась в студии знаменитой художницы Александры Экстер в Киеве. После смерти мужа Надежда Яковлевна получила в 1956 г. степень кандидата филологических наук. Тема ее диссертации, которую она писала под руководством выдающегося ученого Виктора Жирмунского, — "Функции винительного падежа по материалам англо-саксонских поэтических памятников". В 40-х и 50-х годах Надежда Яковлевна преподавала английский язык во многих провинциальных школах СССР. Сейчас она вышла на пенсию и живет в Москве.

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ

Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве в 1891 году, но своим родным городом он всегда считал Петербург, куда его семья переехала вскоре после его рождения. Его отец был торговцем кожей, а мать учительницей музыки. Мать была родом из Вильно, из семьи еврейских интеллигентов. После окончания знаменитого Тенишевского училища Мандельштам учился в Петербургском университете. В

молодости он несколько раз был в Европе и провел зиму 1909-1910 г. в Гейдельбергском университете.

Первые шаги в поэзии он сделал в 1910 г., примкнув к группе поэтов-акмеистов, с синдиком которых, Н. С. Гумилевым, он был близок. Тогда же он познакомился с Анной Ахматовой, которая впоследствии стала его ближайшим другом. Ахматова, скончавшаяся в Москве в 1966 г., играет важную роль в воспоминаниях вдовы поэта.

Во время первой мировой войны Мандельштам жил главным образом на юге — в Крыму и на Кавказе. Накануне войны, в 1913 г., вышел первый сборник его стихов "Камень", который сделал его знаменитостью в узких литературных кругах столицы. После войны он вернулся на север с новой книгой (Tristia 1922), которая принесла ему известность среди широкой публики. В 1928 г. вышел сборник стихов (Стихотворения), сборник прозы ("Египетская марка") и лучшие критические статьи ("О поэзии"), что дает нам возможность считать 1928 год вершиной творческой карьеры Мандельштама. Но во многих отношениях эта вершина — относительная и даже мнимая: уже задолго до этого, в начале 20-х годов отношения Мандельштама с издательствами и правительственными учреждениями стали постепенно ухудшаться. Но рассказ об этом и о дальнейшей жизни поэта читатель найдет в настоящей книге.

МАЙСКАЯ НОЧЬ

...Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. «Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?» — спросил Пунин, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: «А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи: «А после на дрогах в сумерки в навозном снегу тонуть... Какой сумасшедший Суриков мой последний опишет путь?» Но этого путешествия ей совершить не пришлось: «Вас придерживают под самый конец», — говорил Николай Николаевич Пунин и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.

На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева — он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело — он, конечно, умудрился пропустить мать и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое: «Вы ездите со скоростью Анны Карениной», когда однажды опоздал поезд, и — «Что вы таким водолазом вырядились?» — в Ленинграде шли дожди и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в Цехе Поэтов. «Цыц, — кричала я. — Не могу жить с попугаями!» Но в мае 1934 года они не успели развеселиться.

День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати — никакой еды. О. М. от-

правился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне... Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре О. М. вернулся с добычей — одно яйцо, но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов — Случевского и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке — газа еще не провели, и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к гостье покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. «Что вы валяетесь, как идолище, в своем капище? — спросил раз Нарбут, заглянув на кухню к Анне Андреевне, — пошли бы лучше на какое-нибудь заседание, посидели»... Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, предоставив О. М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. «Это за Осей», — сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины, — мне показалось, что их много, — все в штатских пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незванные гости переступили порог.

Я по привычке ждала: «Здравствуйте!» или «Это квартира Мандельштама?» или «Дома?» или, наконец, — «Примите телеграмму»... Ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь и ждет, чтобы открывший посторонился и пропустил его в дом. Но ночные посетители нашей эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во всем мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не толкнув меня, в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверяли доку-

менты и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие.

Из большой комнаты вышел О. М.: «Вы за мной?» — спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: «Ваши документы». О. М. вынул из кармана паспорт. Проверив, чекист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось «ночная операция». Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь и в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды о ночных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель, отстреливаясь, опасно ранил одного из «наших», как выразилась повествовательница, дочь крупного чекиста, выдвинувшегося в 37 году. Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на «ночную работу» отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что дома всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать: «нет». Этот уютный человек с кошкой не мог простить подследственным, что они почему-то признавались во всех возводимых на них обвинениях. «Зачем они это делали? — повторяла дочь за отцом: — Ведь этим они подводили и себя и нас!»... А «мы» означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы о ночных опасностях. А мне чекистские легенды о ночных страстях напоминают о крошечной дырочке в черепе осторожного, умного, высоколобого Бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета.

В наши притихшие, нищие дома они входили как в разбойничьи притоны, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготовляют динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года.

Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, по-

просила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О. М., но он отругнулся: «Пускай Мандельштам сам ищет», — и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам и усталые чекисты даже не скашивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял как школьник руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распоряжавшийся обыском, насмешливо на него поглядел: «Можете идти домой», — сказал он. «Что?» — удивленно переспросил Бродский... «Домой», — повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей.

ВЫЕМКА

О. М. часто повторял хлебниковские строчки: «Участок великая вещь! Это место свидания меня и государства»... Но эта форма встречи чересчур невинна — ведь Хлебников рассказал о заурядной проверке документов у подозрительного бродяги, то есть о почти классических отношениях государства и поэта. Наше свидание с государством происходило по другому и более высокому рангу.

Незванные гости, действуя по строгому ритуалу, сразу, без сговора, распределили между собой роли. Всего их было пятеро — трое агентов и двое понятых. Понятые развалились на стульях в передней и задремали. Через три года — в тридцать седьмом — они наверное храпели от усталости. Какая хартия обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит, что именно эта сонливая парочка понятых обеспечивает гражданам общественный контроль над законностью ареста: ведь ни один человек не исчезал у нас во тьме и мраке без ордера и понятых. В этом наша дань правовым понятиям прошлых веков.

Присутствовать при аресте в качестве общественного контроля стало у нас почти профессией. В каждом большом доме для этого будили одних и тех же заранее намеченных людей, а в провинции двое понятых обслуживали целую улицу или квартал. Они жили двойной жизнью: днем числились служащими домоуправления — слесарями, дворниками, водопроводчиками — не потому ли у нас всегда текут краны? — а по ночам в случае надобности торчали до утра в чужих квартирах. На их содержание шла часть нашей квартирной платы — это ведь тоже расходы по содержанию дома. А как расценивалась их ночная работа, мне знать не дано.

Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое младших — обыском. Тупость их работы бросалась в глаза. Действовали они по инструкции, то есть искали там, где, как принято думать, хитрецы прячут тайные документы и рукописи. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными — кто не знает этих тайн? — ящиками в столах, топтались вокруг карманов и кроватей. Запрятать бы рукопись в любую кастрюлю, она бы там пролежала до скончания века. Или еще лучше просто положить на обеденный стол...

Из двух младших я запомнила одного — молодого, ухмыляющегося, толсторожего. Он перебирал книги, умиляясь старым переплетам, и уговаривал нас поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал леденцы в жестянке, которую вынимал из кармана форменных брюк. Сейчас один мой добрый знакомый, писатель, деятель ССП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками — Саша Черный и Северянин в первоизданиях — и все предлагает мне леденец из жестяной коробочки, хранящейся в кармане отличных узеньких брюк, сделанных на заказ в самом закрытом литературном ателье. Этот писатель в тридцатых годах занимал какое-то скромное место в органах, а потом благополучно спланировал в литературу. И эти два образа — пожилого писателя конца пятидесятых годов и юного агента тридцатых — сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменил профессию, вышел в люди, ходит в штатском, решает нравственные проблемы, как полагается писателю, и продолжает угощать меня из той же коробочки.

Этот жест — угощение леденцами — повторялся во многих

домах и при многих обысках. Неужели и он входил в ритуал, как способы входа в дом, проверка паспортов, ощупывание людей в поисках оружия и выстукивание потайных ящиков? Нас обеспечили процедурой, обдуманной до мельчайших деталей и ничуть не похожей на безумные обыски первых дней революции и гражданской войны. А что страшнее, я сказать не могу.

Старший чин, невысокий, сухопарый, молчаливый блондин, присев на корточки, перебирал в сундуке бумаги. Действовал он медленно, внимательно, досконально. К нам прислали, вернее, нас почтили вполне квалифицированными работниками литературного сектора. Говорят, этот сектор входит в третье отделение, но мой знакомый писатель в узеньких брючках, тот, что угощает леденцами, с пеной у рта доказывает, что то отделение, которое ведает нами, считается не то вторым, не то четвертым. Роли это не играет, но соблюдение некоторых административно-полицейских традиций вполне в духе сталинской эпохи.

Каждая просмотренная бумажка из сундука шла либо на стул, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. По характеру отбора бумаг можно всегда сообразить, на чем собираются строить обвинение, поэтому я навязалась чину в консультанты, читала трудный почерк О. М., датировала рукописи и отбивала все, что можно, например, хранившуюся у нас поэму Пяста и черновики сонетов Петрарки. Мы все заметили, что чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О. М. черновик «Волка» и, нахмурив брови, прочел вполголоса этот стишок от начала до конца, а потом выхватил шуточные стихи про управдома, разбившего в квартире недозволенный орган. «Про что это?» — недоуменно спросил чин, бросая рукопись на стул. «А в самом деле, — сказал О. М., — про что?»

Вся разница между двумя периодами — до и после 37 года — сказалась на характере пережитых нами обысков. В 38 никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38 вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34 — всю ночь до утра.

Но оба раза, видя, как я собираю вещи, шутливо — по инструкции! — говорили: «Что даете столько вещей? Зачем? Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят»... Таковы были остатки эпохи «высокого гуманизма» — двадцатых и начала тридцатых годов. «Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов», — сказал О. М. зимой 37/38 года, читая в газете, как поносят Ягоду, который мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории...

Яйцо, принесенное для Анны Андреевны, лежало нетронутым на столе. Все — у нас находился еще и Евгений Эмильевич, брат О. М., недавно приехавший из Ленинграда — ходили по комнатам и разговаривали, стараясь не обращать внимания на людей, рывшихся в наших вещах. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы О. М. перед уходом поел, и протянула ему яйцо. Он согласился, присел к столу, посолил и съел... А куча бумаг на стуле и на полу продолжала расти. Мы старались не топтать рукописей, но для пришельцев это была трын-трава. И я очень жалею, что среди бумаг, украденных вдовой Рудакова, пропали черновики стихов десятых и двадцатых годов — они для выемки не предназначались и потому лежали на полу — с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Я очень дорожила этими листочками и поэтому отдала их на хранение в место, которое считала самым надежным, — преданному юноше Рудакову. В Воронеже, где он пробыл года полтора в ссылке, мы делились с ним каждым куском хлеба, потому что он сидел без всякого заработка. Вернувшись в Ленинград, он охотно принял на хранение и архив Гумилева, который доверчиво отвезла ему на саночках Анна Андреевна. Ни я, ни она рукописей больше не увидели. Изредка до нее доходят слухи, что кто-то купил хорошо известные ей письма из этого архива.

«Осип, я тебе завидую, — говорил Гумилев, — ты умрешь на чердаке». Пророческие стихи к этому времени были уже написаны, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта. А ведь поэт это и есть человек, просто человек, и с ним должно случиться самое обычное, самое заурядное, самое характерное для страны и эпохи, что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, а простой путь «с гурьбой и гуртом». Смерть на чердаке не для нашего времени.

Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти — мы жили тогда в Царском Селе — О. М. через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно: церковь согласна выступить в защиту казнимых при условии, что О. М. обязуется организовать защиту и протест, если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. О. М. ахнул и тут же признал себя побежденным. Это был один из первых уроков, полученных О. М. в те дни, когда он пытался примириться с действительностью.

Наступило утро четырнадцатого мая. Все гости, званные и незванные ушли. Незванные увели с собой хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвоем в пустой квартире, хранившей следы ночного дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали. Спать во всяком случае мы не ложились и чаю выпить не догадались. Мы ждали часа, когда можно будет, не обращая на себя внимания, выйти из дому. Зачем? Куда? К кому? Жизнь продолжалась... Вероятно, мы были похожи на утопленниц. Да простит мне Бог эту литературную реминисценцию — ни о какой литературе мы тогда не думали.

УТРЕННИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест: «За что его взяли». Но таких, как мы было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста — «Она ведь действительно контрабандистка», «Он такое себе позволял», «Я сам слышал, как он сказал»... И еще: «Надо было этого ожидать — у него такой ужасный характер», «Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке», «Это совершенно чужой человек»... Всего этого казалось достаточным для ареста и уничтожения: чужой, болтливый, противный... Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году: «не наш»... И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос: «За что его взяли?» — стал для нас запретным. «За что?» — яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос: — «Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что»...

Но когда увели О. М., мы с Анной Андреевной все же задали себе этот самый запретный вопрос: за что? Для ареста Мандельштама было сколько угодно оснований по нашим, разумеется, правовым нормам. Его могли взять вообще за стихи и за высказывания о литературе или за конкретное стихотворение о Сталине. Могли арестовать его и за пощечину Толстому. Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы... В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы — Горькому. Вскоре до нас дошла фраза: «Мы ему покажем, как бить русских писателей»... Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому. Сейчас меня убеждают, что Горький этого сказать не мог и был совсем не таким, как мы его себе тогда представляли. Есть широкая тенденция сделать из Горького мученика сталинского режима, борца за свободомыслие и за интеллигенцию. Судить не берусь и верю, что у Горького были крупные разногласия с хозяином и что он был здорово зажат. Но из этого никак не следует, чтобы Горький отказался поддержать Толстого против писателя типа О. М., глубоко ему враждебного и чуждого. А чтобы узнать отношение Горького к свободной мысли, достаточно прочесть его статьи, выступления и книги.

Так или иначе, мы возлагали все надежды на то, что арест вызван местью за пощечину «русскому писателю» Алексею Толстому. Как бы ни оформлять такое дело, оно грозило только высылкой, а этого мы не боялись. Высылки и ссылки стали у нас бытовым явлением. В годы передышки, когда террор не бушевал, весной — обычно в мае — и осенью происходили довольно широкие аресты преимущественно среди интеллигенции. Они

отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач. Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало: люди из ссылки писали; отбыв свой срок, они возвращались и снова уезжали. Андрей Белый, с которым мы встретились в Коктебеле летом 33 года, говорил, что не успевает посылать телеграммы и писать письма своим друзьям-«возвращенцам». Очевидно, в 27 или в 29 году метла прошлась по теософическим кругам и дала массовое возвращение в 33... А к нам весной до ареста О. М. вернулся Пяст... Возвращенцы после трех или пяти лет отсутствия селились в маленьких городках стоверстной зоны. Раз все «уезжают», чем же мы лучше? Незадолго до ареста, услыхав, что О. М. ведет вольные разговоры с какими-то посторонними людьми, я напомнила: «Май на носу — ты бы поосторожнее!» О. М. отмахнулся: «Чего там? Ну, вышлют... Пусть другие боятся, а нам-то что!»... И мы действительно почему-то не боялись высылки.

Другое дело, если б обнаружились стихи про Сталина. Вот о чем думал О. М., когда уходя поцеловал на прощание Анну Андреевну. Никто не сомневался, что за эти стихи он поплатится жизнью. Именно поэтому мы так внимательно следили за чекистами, стараясь понять, чего они ищут. Волчий же цикл особых бед не сулил — в крайнем случае лагерь...

Как будут квалифицировать все эти потенциальные обвинения? Не все ли равно! Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Карающие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей — искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства и прочее и прочее... Людей снимали пластами по категориям (возраст тоже принимался во внимание): церковники, мистики, ученые идеалисты, остроумцы, ослушники, мыслители, болтуны, молчальники, спорщики, люди, обладающие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие «вредитель», которым объяснялись все неудачи и просчеты. «Не носите эту шляпу, — говорил О. М. Борису Кузину, — нельзя выделяться — это плохо кончится». И это действительно плохо кончилось. Но, к счастью, отношение к шляпам переменилось, когда решили, что советские ученые

должны одеваться еще лучше западных пижонов, и Борис Сергеевич, отсидев свой срок, получил вполне приличный научный пост. Шляпа — шутка, а голова под шляпой действительно предопределяла судьбу.

Люди искореняющей профессии придумали поговорку: «Был бы человек — дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте (1928) от Фурманова, брата писателя. Чекист, которому только что удалось спланировать в кинематографию, но через жену еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расшатанные нервы, жил добродушный и веселый нэпман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и они оба придумали игру в «следствие», которая своей реальностью щекотала им нервы. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего нэпмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных расширительных толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия: через горнило проходили только перечисленные мною выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого изымали ценности, и нэпманы, то есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику. Вот почему никто, кроме О. М., не обращал внимания на забавы бывшего следователя и игра в кошки-мышки проходила незамеченной. Не заметила бы ее и я, если б О. М. не сказал мне :«Ты только послушай»... У меня ощущение, будто О. М. специально показывал мне все то, что он хотел, чтобы я запомнила... Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве в нашем еще только становящемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль: «Кто не с нами, тот против нас».

Анна Андреевна, с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала больше меня. Вдвоем в разгромленной ночным обыском квартире мы перебирали все возможности и гадали о будущем, но слов при этом мы почти не произносили... «Вам нужно беречь силы», — сказала Анна Андреевна... Это значило, что нужно готовиться к долгому ожиданию: сплошь и рядом люди сидели по многу недель или месяцев, а то и больше года, пока их не высылали или не уничтожали. Этого требовало

оформление дела. От оформления отказываться не собирались и упорно фиксировали весь бред на бумаге... Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут также слепо верить всему, как обезумевшие современники? А может просто работал бюрократический инстинкт, чернильный дьявол, который кормится не законом, а постановлением и поглощает тонны бумаги? Впрочем, законы тоже бывают разные. .

Для семьи арестованного период ожидания заполнялся хлопотами — О. М. назвал их в «Четвертой прозе» — «невесомыми, интегральными ходами» — добыванием денег и стоянием в очередях с передачами. По длине очередей мы знали, на каком мы свете. В 34 году они были небольшие. Я должна была беречь силы, чтобы пройти по всем путям, уже протоптанным другими женами. Но у меня в ту майскую ночь наметилась еще одна задача, и ради нее я жила и живу: изменить судьбу О. М. было не в моих силах, но часть рукописей уцелела, многое сохранилось в памяти — только я могла все это спасти, а для этого стоило беречь силы.

Из оцепенения нас вывел приход Левы. В ту ночь из-за приезда Анны Андреевны его увели ночевать к себе Ардовы — у нас негде было разместиться. Зная, что О. М. встает рано, Лева явился чуть свет, чтобы выпить с ним чаю, и на пороге выслушал новость.

Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец, где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем динамическую бродильную силу и понимали, что он обречен. А наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Вот почему при виде Левы я испытала настоящий приступ ужаса: «Уходите, — сказала я, — уходите скорей — ночью забрали Осю». И Лева покорно ушел. Так было у нас принято.

ВТОРОЙ ТУР

Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произнесли при этом ни одного из недозволенных слов, вроде «арестовали», «забрали», «посадили» .. У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя ничего по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива. Но какой-то инстинкт подсказал нам, что всего уносить не следует. Мало того, вся куча бумаг так и осталась на полу. «Не трогайте», — сказала мне Анна Андреевна, когда я открыла сундучек, чтобы спрятать туда эту красноречивую груду бумаг, и я послушалась, сама не зная почему... Попросту я верила в ее чутье...

В тот же день, когда после беготни по городу мы с Анной Андреевной вернулись домой, снова раздался стук, на этот раз довольно деликатный, и я опять впустила незванного гостя. Это был главный ночной чин. Он с удовлетворением поглядел на рукописи, валявшиеся на полу: «А вы еще даже не прибирали», — и тут же приступил ко вторичному обыску. На этот раз он явился один, интересовался только сундучком, а в нем только рукописями стихов; на прозу он даже не глядел.

Узнав о вторичном обыске, Евгений Яковлевич, самый сдержанный и молчаливый человек на свете, насупился и сказал: «Если они явятся еще раз, они уведут вас обеих с собой».

Чем объяснить второй обыск и вторую выемку? Мы с Анной Андреевной обменялись взглядами — для советских людей этого достаточно, чтобы понять друг друга. Очевидно, следователь успел уже просмотреть изъятые ночью рукописи — времени для этого понадобилось немного, так как стихи необъемны, — и не нашел того, что ему было нужно. Поэтому он послал произвести дополнительные розыски, боясь, что в ночной спешке

нечаянно пропустили нужную бумажку. Из этого легко сделать вывод, что поиски были целеустремленные и стихами вроде «Волка» довольствоваться не хотят. Но той рукописи, которой они интересовались, в сундуке не было — ни я, ни О. М. этих стихов не записывали. И я не стала навязываться в консультанты, но обе мы спокойно пили чай, искоса поглядывая на гостя.

Чин явился буквально через двадцать минут после нашего возвращения. Следовательно, его об этом известили. Кто же? Это мог быть агент, живущий в доме, любой сосед, получивший распоряжение следить за нами, или «Вася», торчавший на улице. Тогда мы еще не научились распознавать так называемых «Вась». Опыт пришел позже, когда мы нагляделись, как они, ничуть не скрываясь, делают стойку перед домом Анны Андреевны. Почему они не таились и были так грубо откровенны? Плохая работа, до непристойности топорная, или тоже до непристойности топорное застращивание? Вероятно, и то, и другое. Всем своим поведением они говорили: вам никуда не спрятаться, над вами бдят, мы всегда с вами... Не раз добрые знакомые, которых мы ни в чем не подозревали, бросали нам какую-нибудь фразу, давая понять, кто они и почему почтили нас своей дружбой. Должно быть эта откровенность входила в общую воспитательную систему, потому что после такой приоткрывающей горизонты фразы язык у нас присыхал к гортани и мы становились тише воды, ниже травы. А мне, например, часто подносили советы не таскать за собой остатки рукописей О. М., забыть про прошлое, не рваться в Москву: «вас одобряют, что вы живете в Ташкенте»... Спрашивать, кто одобряет, не стоило. На такой вопрос отвечали улыбкой. Намеки, фразочки с улыбкой и темные речи вызывали во мне бешеное сопротивление: а вдруг все это праздная болтовня паршивого человечка, ничего не знающего, а просто стилизующегося под главные силы эпохи? Таких стилизаторов было сколько угодно. Но случались и другие вещи. В том же Ташкенте, когда я жила с Анной Андреевной, мы нередко, вернувшись домой, находили полную чужими окурками пепельницу, неизвестно откуда появившуюся книгу, журнал или газету, а раз я обнаружила на обеденном столе до отвращения яркую губную помаду, а рядом с ней ручное зеркало, перекочевавшее сюда из другой комнаты. В ящиках и чемоданах возникал иногда такой беспорядок, что не заметить его было невозможно. По инструкции оставлялись эти следы или это просто забавлялись те, кому поручали порыться у нас в чемоданах? Веселый смех и «А ну-ка, пускай полюбуются!» Оба варианта вполне допустимы... Отчего собственно не постращать нас, чтобы мы не зазнавались?... Меня, впрочем, страшали гораздо меньше, чем Анну Андреевну...

Что же касается тех, кого мы называли «Васями», то я особенно хорошо запомнила одного, уже послевоенного. Дни стояли морозные, и он отогревался, топая ногами и бурно, по извозчичьи, размахивая руками. Несколько дней подряд, выходя из дому с Анной Андреевной, мы стыдливо пробегали мимо пляшущего Васи. Потом на его месте появился другой, уже не столь темпераментный. А в другой раз, когда мы шли по внутреннему дворику Фонтанного дома, позади нас вспыхнул магний — нас сфотографировали: решили, видно, узнать, кто приехал к опальной женщине. Чтобы попасть в этот внутренний дворик, надо было насквозь пройти через вестибюль главного здания. У дверей, выходивших во двор, стоял контроль. В день магниевой вспышки нас почему-то очень долго задержали у выхода. Предлог для задержки звучал идиотически: потеряли ключ или что-то в этом роде... Неужели фото-сыщик начал заряжать аппарат только когда его известили о нашем возвращении? Все это происходило незадолго до постановления об Ахматовой и Зощенко, и у меня пробегал мороз по коже от знаков особого внимания к моей подруге.

Лично мне такого внимания не уделяли: индивидуального наблюдения я почти не удостаивалась. Возле меня обычно копошились не агенты, а вульгарные стукачи. Только однажды в Ташкенте Лариса Глазунова, дочь крупного работника органов, предостерегла меня против одной из моих частных учениц, рекомендованных студенткой физмата: «Она только у вас хочет учиться»... Лариса случайно столкнулась с ней на моем пороге и объяснила, что эта девушка работает «у папы». Я успокоила Ларису, что мне это давно ясно: милая моя ученица никогда не приходила в назначенное время и все норовила застигнуть меня врасплох, чтобы извиниться и сказать, что очень, мол, занята и урок просит отложить... Кроме того у нее были характерные повадки мелких сыщиков, и она никак не могла удержаться, чтобы не скосить вслед за мной глаза, когда я двигалась по комнате. Не трудно было понять, зачем ей понадобились уроки, которых она и не брала... Разоблаченная Ла-

рисой сыщица быстро исчезла, а навязавшая мне ее в ученицы студентка, неплохая, но видно попавшаяся в сети девушка, явно переживала драму и все пыталась со мной объясниться. От объяснений я кое-как уклонилась, но навсегда запомнила, как сыщица ахала и повторяла: «Я обожаю Ахматову и вашего супруга»... В этой среде мужей называли супругами. Супругами — какой добродетельный звук! — а в цекистской — «товарищами»...

Но все это происходило позже, а к 34 году мы даже не придумали слова «Вася» и так и не догадались, кто информировал чекиста о том, что мы уже вернулись домой.

БАЗАРНЫЕ КОРЗИНКИ

Чин, вторично рывшийся в сундучке и снова перебиравший рукописи, даже не заметил исчезновения поэм Пяста, а именно это могло выдать ему, что мы тоже успели произвести выемку. Хитрость Анны Андреевны, посоветовавшей мне не убирать комнату, удалась — сложи я бумаги в сундук, чекист мог бы насторожиться.

Поэмы Пяста были огромные. Именно их-то и пришлось выносить в базарных корзинках. Делились они на главы, называвшиеся «отрывами». О. М. поэмы понравились, быть может потому, что в них проклинались законные жены. У Пяста жена называлась «венчанной», и он не хотел с нею жить. Очутившись чуть ли не впервые в нормальной, хотя и крохотной квартирке, О. М. тоже захотел взбунтоваться против тягот семейной жизни и бурно расхваливал Пяста. Заметив его восторг, я спросила: «А у тебя кто венчанная? Уж не я ли?»

Подумать только, что и у нас могла быть обыкновенная жизнь с разбитыми сердцами, скандалами и разводами! Есть же на свете безумцы, которые не знают, что именно это и есть нормальная человеческая жизнь, и к ней надо всеми силами стремиться. Чего только не отдашь за такую драму!

Пяст вручил мне на хранение две поэмы, переписанные от руки, — машинка стоила дорого, не по карману ни нам, ни ему. Это был единственный перебеленный, как говорили в старину, экземпляр. Пяст не поверил, как я ни старалась убедить его, что худшего места для хранения найти нельзя. После ссылки ему показалось, что у нас устойчивый, благополучный, спокойный дом — почти крепость. Увидав «отрывы» в руках ночного гостя О. М. горько вздохнул от жалости: что будет с Пястом! И тут в меня «вошла такая сила», как сказала Анна Андреевна, что я отбила у чина и чуть не сохранила для потомства проклятия «венчанным» и прославления незаконным красавицам, пястовым великаншам, потому что он прельщался только женщинами гренадерского роста. Последнюю из великанш он приводил к нам слушать «отрывы». Сохранила ли она его рукопись? Кажется, она интересовалась не Пястом, а гонорарами за переводы Рабле, которые Пяст тогда выколачивал из Госиздата. Помнится, Пяст тогда жаловался на капризы падчерицы; а она, как мне говорили, живет где-то далеко и дружески вспоминает своего чудаковатого отчима. Не у нее ли спасенные мной пястовы поэмы?

А до ареста О. М. к нам все ходили милиционеры: Пяст дал наш адрес, регистрируясь в милиции и получая разрешение провести несколько дней в Москве для устройства своих литературных дел. Срок истек, и его гнали из запрещенной в дозволенную зону. Хорошо, что он не попался у нас во время обысков, а это бы случилось, если б его не спугнули милиционеры. Попадись он «чину», его могли бы изъять вместе с рукописями. Ему просто повезло. А вторая пястова удача, что он не дожил до повторных арестов и умер в какой-то разрешенной Чухломе от рака, в собственной постели или на больничной койке. Как и семейные драмы, это и есть нормальная жизнь, а следовательно, счастье. Чтобы понять это, надо пройти большую школу.

Из рукописей О. М. мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома. Я привозила их в Воронеж небольшими пачками, чтобы установить тексты и составить полные списки ненапечатанных стихов. Эту работу мы постепенно проделали с О. М., который внезапно переменил свое отношение к рукописям и к бумагам. Раньше он их знать не хотел и всегда сердился, что я их не

уничтожаю, а бросаю в мамин желтый заграничный сундучек. Но после обыска он понял, что легче сохранить рукопись, чем человека, и перестал надеяться на свою память, которая, как известно, погибает вместе с человеком. Кое-что из этих рукописей сохранилось по сегодняшний день, но большая часть погибла во время двух арестов — что делали в недрах наших судилищ с бумагами, которые увозились сначала в портфелях, а потом в мешках? Что уж гадать о бумагах, когда мы не знаем, что там делали с людьми... То, что уцелели свидетели той эпохи и кучка рукописей, надо считать чудом.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХОДЫ

В третий раз не пришли, и нас не забрали. Мы предались обычному занятию тех, у кого забрали близких: хлопотали. После дневной беготни по городу мы, измученные, возвращались домой и вместо обеда открывали рублевую банку с кукурузными зернами. Так продолжалось три дня. На четвертый из Киева приехала моя мать. Она ликвидировала там комнату, продала громоздкую семейную мебель и приехала доживать жизнь с зятьком и дочкой, которые наконец-то обзавелись квартирой. Никто не встретил ее на вокзале и она была злой и обиженной. Но все эти чувства испарились в тот миг, когда она узнала об аресте О. М. Тут в ней проснулась либеральная курсистка, знающая, как относиться к правительству и арестам. Она всплеснула руками, высказалась по поводу теории и практики большевизма, произвела инспекцию нашего хозяйства, заявила, что еще в ее время профессора объясняли пелагру в Бессарабии злоупотреблением мамалыгой, вынула из нагрудного мешочка деньги и побежала на базар. Наша беспризорность кончилась, и мы захлопотали еще энергичнее.

Николая Ивановича Бухарина я посетила в самые первые дни. Услыхав мои новости, он переменился в лице и забросал меня вопросами. Я не представляла себе, что он способен так

волноваться. Он бегал по огромному кабинету и время от времени останавливался передо мной с очередным вопросом... «Было свидание?» Мне пришлось объяснить ему, что свиданий больше не бывает. Николай Иванович этого не знал. Как всякий теоретик, он не умел делать практических выводов из своей теории.

«Не написал ли он чего-нибудь сгоряча?» Я ответила — нет, так отщепенские стихи, не страшнее того, что Николай Иванович знает... Я солгала. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я тогда правду, у нас бы не было «воронежской передышки». Надо ли лгать? Можно ли лгать? Оправдана ли «ложь во спасение»? Хорошо жить в условиях, когда не приходится лгать. Есть ли такое место на земле? Нам внушали с детства, что всюду ложь и лицемерие. Без лжи я не выжила бы в наши страшные дни. И я лгала всю жизнь — студентам, на службе, добрым знакомым, которым не вполне доверяла, а таких было большинство. И никто мне при этом не верил — это была обычная ложь нашей эпохи, нечто вроде стереотипной вежливости. Этой лжи я не стыжусь, а Николая Ивановича я ввела в заблуждение вполне сознательно, с холодным расчетом — нельзя отпугивать единственного защитника... И это другое дело... Но могла ли я не солгать?

Николай Иванович утверждал, что за пощечину Толстому арестовать не могли. Я настаивала, что арестовать можно за что угодно. Что же касается до статьи кодекса, то всегда применяется пятьдесят восьмая — чего уж удобнее?

Рассказ об угрозах Толстого и фраза: «Мы ему покажем, как бить русских писателей» - произвели на Николая Ивановича должное впечатление: он почти стонал. Этот человек, знавший царские тюрьмы и принципиальный сторонник революционного террора, в тот день с особой, вероятно, остротой почувствовал свое будущее.

В дни хлопот я часто заходила к Николаю Ивановичу. Короткова, которую О. М. назвал белочкой, грызущей орешек с каждым посетителем («Четвертая Проза»), встречала меня испуганным ласковым взглядом и тотчас бежала докладывать. Дверь кабинета распахивалась, и Николай Иванович выбегал из-за стола мне навстречу: «Ничего нового?... И у меня нет... Никто ничего не знает»...

Это были наши последние встречи. Проездом из Чердыни в

Воронеж я снова забежала в «Известия». «Какие страшные телеграммы вы присылали из Чердыни», — сказала Короткова и скрылась в кабинете. Вышла она оттуда чуть не плача: «Николай Иванович не хочет вас видеть... какие-то стихи»... Больше я его не видела. Эренбургу он впоследствие рассказал, что Ягода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела.

В период хлопот визит в «Известия» к Бухарину занимал не больше часа, а сама процедура хлопот требует непрестанной беготни по городу. Жены арестованных — численное превосходство даже после 37 года всегда оставалось в тюрьмах за мужчинами — проторили дорогу в «Политический Красный Крест» к Пешковой. Туда ходили в сущности просто поболтать и отвести душу, и это давало иллюзию деятельности, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияния «Красный Крест» не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и о совершившейся казни. В 37 году эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром. Ведь самая идея помощи политзаключенным находится в явном противоречии со всем нашим укладом — сколько людей отправилось на каторгу и в одиночные камеры только потому, что были просто знакомы с людьми, подвергшимися каре властителей? Закрытие «Политического Красного Креста» было вполне логичным делом, но с той поры семьи арестованных жили только слухами, часть которых распространялась специально для нашего устрашения.

Во главе этого учреждения с самого начала стояла Пешкова, но я пошла не к ней, а к ее помощнику, умнейшему человеку — Винаверу. Первый вопрос Винавера: какой чин рылся в сундуке? Тут я узнала, что чем выше чин главного ночного гостя, тем серьезнее дело и тем страшнее предуготованная судьба. Об этой форме гадания я услышала впервые и потому не догадалась в ночь обыска посмотреть на нашивки. Винавер сообщил мне еще, что бытовые условия «внутри» вполне приличные чистота и хороший стол. «Еда, наверное, лучше, чем у нас с вами дома»... Винаверу не пришлось объяснять, что лучше впроголодь, да на воле, и что в этой подлой тюремной «цивилизации» есть нечто непереносимо зловещее. Он и без меня все

понимал и все знал. Несколько позже он сказал мне, чего нам ждать от будущего, и его предсказание исполнилось: у него был огромный опыт и он умел делать из него выводы. К Винаверу я ходила, как на службу, а потом всегда извещала его о переменах судьбы. Делала я это даже не для того, чтобы получить совет, а просто из потребности в общении с одним из последних людей, не утративших в нашей сумятице правового мышления и упорно, хотя и тщетно, боровшихся с насилием.

А хороший совет Винавер мог дать. Это он уговаривал меня внушить О. М. быть как можно менее активным, ни о чем не просить, вроде перевода, например, в другое место, ничем о себе не напоминать, прятаться, молчать, словом, притворяться покойником... «Чтобы не было ни одной новой бумажки с вашим именем... Лишь бы они про вас забыли»... По его мнению, это был единственный способ спастись или хоть на некоторый срок продолжить жизнь. Для себя Винавер этого рецепта использовать не мог и был все время на виду. В ежовщину он исчез. Про него ходят слухи, что он жил двойной жизнью и был не тем, за кого мы его принимали. Я этому не верю и никогда не поверю. Мне хотелось бы, чтобы потомство обелило его память. Мне известно, что подобного рода порочащие слухи нередко распускались самой Лубянкой про неугодных ей людей. Даже если в архивах хранятся какие-нибудь документы, чернящие Винавера, они не могут служить доказательством, что он предавал органам своих посетителей; даже если Пешкову убедили, что Винавер был поставлен шпионить за ней, нам этому верить нельзя. Сфабриковать документы не так трудно, люди в застенке подписывали черт знает какой бред, напугать старуху стукачами и провокаторами ничего не стоит... Но как будут историки восстанавливать истину, если всюду и везде на крупицу правды наслоились груды чудовищной лжи? Не предрассудков, не ошибок времени, а сознательной и обдуманной лжи?

нам с Анной Андреевной и спросил, куда ему обратиться. Я посоветовала пойти к Николаю Ивановичу Бухарину, потому что уже знала, как он отнесся к аресту О. М., и к Демьяну Бедному.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Анна Андреевна тоже погрузилась в так называемые хлопоты. Она добилась приема у Енукидзе. Тот внимательно ее выслушал и не проронил ни слова. Затем она побежала к Сейфуллиной, которая тотчас бросилась звонить к знакомому чекисту. «Лишь бы его не свели там с ума, — сказал «знакомый чекист», — наши на этот счет большие мастера»... На следующий день он сообщил Сейфуллиной, что навел справки — в это дело вмешиваться не следует... Почему?... Ответа не последовало. У Сейфуллиной опустились руки. У нас всегда опускались руки, когда нам советовали не вмешиваться в какое-нибудь дело, и мы тут же отступали. Удивительная черта нашей жизни: мои современники подавали петиции и просьбы, выражали свое мнение и действовали только после того, как выяснялось, что скажут по этому поводу «наверху». Все слишком остро ощущали свою беспомощность, чтобы действовать напролом и наперекор. «У меня такие дела не выходят», — говорил Эренбург, объясняя, почему он отказывается хлопотать по некоторым делам — о пенсиях, например, жилплощади и прописке. Ведь он мог только просить, но не настаивать... Чего уж удобнее для начальства! Можно было остановить любое общественное выступление, намекнув, что «наверху» им будут недовольны. Этим пользовались и промежуточные, и высшие инстанции в своих целях и создавали неприкасаемые дела. Начиная со второй половины двадцатых годов «шопот общественности» становился все более неуловимым и перестал претворяться в какие-либо действия. Все дела об арестах были, разумеется, «неприкасаемыми», хлопотать полагалось лишь членам семьи — т. е. ходить к Пешковой, а потом в прокуратуру. Если кто-нибудь посторонний ввязывался в хлопоты, это было не правилом, а исключением, и ему нужно было за это воздать должное. А в дело О. М. вмешиваться, конечно, не стоило — ведь в своих стихах он посягнул на слишком грозное лицо. Поэтому я ценю, что в хлопоты 34 года пожелал впутаться и Пастернак и пришел к

Демьяна я назвала не случайно. Через Пастернака я напомнила ему об обещании, данном в 1928 году. О. М. тогда случайно узнал на улице от своего однофамильца — Исая Бенедиктовича Мандельштама — про пять банковских служащих, старых «спецов», как таких тогда называли, которых приговорили к расстрелу по обвинению не то в растрате, не то в бесхозяйственности. Неожиданно для себя и для своего собеседника и вопреки правилу не вмешиваться в чужие дела, О. М. перевернул Москву и спас стариков. Эти хлопоты он упоминает в «Четвертой Прозе». Среди прочих «интегральных ходов» он обратился к Демьяну Бедному. Свидание состоялось где-то на задворках «Международной Книги». Страстный книжник, Демьян был постоянным посетителем этого магазина и, вероятно, там и встречался со своими знакомыми — к тому времени живущие в Кремле уже не смели никого к себе приглашать. Хлопотать за стариков Демьян наотрез отказался. «А вам-то какое дело до них?» — спросил он у О. М., узнав, что речь идет не о родственниках и даже не о знакомых. Но тут же добавил, что, если что случится с самим О. М., он, Демьян, обязательно за него заступится.

Это обещание почему-то очень обрадовало О. М., хотя в ту пору у нас было твердое ощущение: «не тронут, не убьют». Приехав в Ялту, он мне рассказал об этом разговоре: «Все-таки приятно. Обманет? Не думаю». Вот почему в 34 году я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном. Борис Леонидович позвонил ему сразу ли не в первый день, когда у нас рылись вторично в сундуке, но Демьян как будто уже кое-что знал: «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя», — сказал он Пастернаку. Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться, или ответил обычной советской формулой, означающей, что всегда лучше держаться подальше от зачумленных? Возможно и то, и другое... Во всяком случае Демьян сам уже был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых стра-

ницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Предательство, кажется, не принесло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку. Когда его снова стали печатать, пятнадцатилетний наследственный срок уже истек да, кажется, еще последний брак не был оформлен, и я видела, как его наследник, испитой юноша, ходил к Суркову, чтобы именем отца вымаливать хоть какие-нибудь подачки. И при мне Сурков начисто ему во всем отказал. Это было последнее унижение Демьяна уже в потомстве. А за что? Ведь Демьян работал на советскую власть не за страх, а за совесть. Чего уж мне удивляться, если меня время от времени пихают сапогами. Я-то уж, наверное, не заслужила ничего.

В середине мая 34 года Демьян и Пастернак встретились на каком-то собрании, вероятно, организационном по поводу образования Союза Писателей. Демьян вызвался отвезти Пастернака домой и, отпустив, насколько я помню, шофера, долго кружил по Москве. Тогда многие из наших деятелей еще не боялись разговаривать в машинах, а потом прошел слух, что в них тоже установили магнитофоны. Демьян говорил с Пастернаком о том, что «в русскую поэзию стреляют без промаха», и между прочим, упомянул Маяковского. По мнению Демьяна, Маяковский погиб, потому что вторгся в область, где он, Демьян, чувствует себя, как дома, но для Маяковского чужую.

Наговорившись, Демьян отвез Пастернака не домой, а на Фурманов переулок, где, обезумев от двух обысков, сидели мы с Анной Андреевной.

А на съезде журналистов в те дни метался Балтрушайтис, умоляя всех одного за другим спасти О. М. и заклиная их сделать это памятью погибшего Гумилева. Представляю себе, как звучали для слуха прожженных журналистов тридцатых годов эти два имени, но Балтрушайтис был подданным другой страны и ему не могли внушить, что «в это дело вмешиваться не рекомендуется»...

Балтрушайтис уже давно предчувствовал, какой конец ждет О. М. Еще в самом начале двадцатых годов (в 1921, до гибели Гумилева) он уговаривал О. М. принять литовское подданство. Это было возможно, потому что отец О. М. жил когда-то в Литве, а сам О. М. родился в Варшаве. О. М. даже собрал какие-то бумаги и снес показать их Балтрушайтису, но потом

раздумал: ведь уйти от своей участи все равно нельзя и не надо даже пытаться...

Хлопоты и шумок, поднятый вокруг первого ареста О. М., сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так, по крайней мере, думает Анна Андреевна. Ведь в наших условиях даже эта крошечная реакция — легкий гул, шепоток — тоже представляет непривычное, удивительное явление. Но если проанализировать этот шумок, еще неизвестно, что бы в нем обнаружилось. По своей наивности я думала, что общественное мнение всегда стоит за слабого против сильного, за обиженного против обидчика, за жертву против зверя. Мне раскрыла глаза более современная Лида Багрицкая. В 33 году, когда арестовали ее друга Поступальского, она горько мне пожаловалась: «Раньше все было иначе. Вот, когда забрали Осипа Эмильевича, одни были против, другие считали, что так и нужно. А теперь что? Своих забирают!»

Нельзя не оценить формулировку Лиды Багрицкой. Со спартанской прямотой она выразила основной и моральный закон тех, кому надлежало быть нашей интеллигенцией, а не в этом ли слое образуется общественное мнение? Деление на «своих» и «чужих» — тогда это называлось: «чуждый элемент», — шло еще от гражданской войны с ее неизбежным правилом: «кто кого?» После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Но тут-то и оказывается, что право состоять в категории «своих» не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. За это право велась и ведется непрерывная борьба, и вчерашний «свой» в один миг может скатиться в категорию чужих. Мало того: логически развиваясь, принцип деления на своих и чужих приводит к тому, что каждый скатившийся становится «чужим» именно потому, что он катился вниз. Тридцать седьмой год и все, что за ним последовало, возможны только в обществе, где идея деления дошла до своей последней фазы.

Обычно, при зловещей вести о чьем-нибудь аресте, одни притихали и еще глубже зарывались в свою нору, которая, кстати, никого не спасала, а другие дружно улюлюкали. Моя приятельница Соня Вишневская в конце сороковых годов каждый день узнавала об арестах своих друзей. «Всюду измена и контрреволюция!» — восклицала она в ужасе. Так пола-

галось говорить тем, кому жилось получше и было что терять. Возможно, что в этом восклицании содержится заклинательная формула, вроде «чур-чур меня!»... Что нам оставалось делать, как не колдовать?...

СВИДАНИЕ

Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного: видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант — высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой «внутренней» профессии еще до того, как я замечаю их взгляд — голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей — я наблюдала его у школьников и у студентов. Впрочем, это особенность профессиональная, но у нас она странно, как и все, подчеркнута: словно все люди с сыщицким взглядом — первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс.

Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза,

когда я слышу слово «расстрел». Каким образом допустили эту встречу? По слухам, «внутри» приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось: коридоры, будто, разделены на секторы и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась: «Как не страх? А что еще?» Она утверждает, что никакой здесь физиологии нет, и это был страх, самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина.

Рассказы о технической оснащенности — они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации — прекратились только в конце тридцатых годов в связи с переходом на «упрощенный допрос». Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. «Теперь все ясно, — сказала та же Анна Андреевна, — шапочку-ушаночку и фьють — в тайгу». Отсюда: «там за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей тень мою ведут на допрос»...

Я так и не знаю, в какое отделение меня вызвали на свидание — в третье или четвертое, но у следователя было традиционное в русской литературе отчество — Христофорович. Почему он его не переменил, если работал в литературном секторе? Очевидно, ему нравилось такое совпадение. О. М. страшно сердился на все подобные сопоставления — он считал, что нельзя упоминать всуе ничего, что связано с именем Пушкина. Когда-то нам пришлось из-за моей болезни прожить два года в Царском Селе, да еще в Лицее, потому что там сравнительно дешево сдавались приличные квартиры, но О. М. этим ужасно тяготился — ведь это почти святотатство! — и под первым же предлогом сбежал и обрек нас на очередную бездомность. Так что обсуждать с ним отчество Христофорыча я не решилась.

Свидание состоялось при Христофоровиче — я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша

психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние.

Когда ввели О. М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств — «внутри» отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки.

Несмотря на безумный вид, О. М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамино... Когда она приехала? Я назвала день. «Значит, ты все время была дома?» Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно — ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный — он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно.

Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама собой. Требовать там можно только по наивности или от безумства. Во мне хватало и того, и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила.

Думая, что мы расстаемся надолго, а может, и навсегда, О. М. поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки — у всех, сидевших и не сидевших, — и мы умеем использовать «последнюю возможность быть услышанным». О. М. в «Разговоре о Данте» приписал эту потребность Уголино... Но это только наше свойство — чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз я получала эту возможность «быть услышанной», и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно, и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропали даром. О. М. во время свидания находился в лучшем положении — я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось и ни одно слово не пропало даром.

О. М. сообщил, что у следователя были стихи, они попали к

нему в первом варианте со словом «мужикоборец» в четвертой строке: «только слышно кремлевского горца — душегубца и мужикоборца»... Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше О. М. торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки всевозможные сведения, чтобы передать их на волю.

Стихи следователь называл «беспрецедентным контр-революционным документом», а меня соучастницей преступления: «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности... Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова «преступление» и «наказание». Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили «не поднимать дела». И тут я узнала формулу: «изолировать, но сохранить» — таково распоряжение свыше — следователь намекнул, что с самого верху, — первая милость... Первоначально намечавшийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала — отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение... И тут Христофорович предложил мне сопровождать О. М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если б я отказалась.

Какая бы выстроилась очередь, если бы в 37, скажем, году желающим предложили добровольно отправляться в ссылку вместе с семьями, детьми, барахлом и книгами!... Жены дежурили бы в этой очереди вместе с любовницами, мачехи рядом с падчерицами...

А может, и нет... Люди только тем и держатся, что не знают своего будущего и надеются избежать общей участи. Пока погибает человек, уцелевшие томят себя знаменитым вопросом: «За что его взяли?» и перебирают все неосторожности и оплошности, замеченные за погибающим. Женщины — ведь именно они постоянные хранительницы домашнего очага — с демонической силой поддерживают огонек надежды. Лиля Яхонтова в 37 году говорила, проходя по Лубянке: «Я чувствую себя в безопас-

ности, пока стоит этот дом»... Своей святой верой она, может, отсрочила на несколько лет гибель мужа — он выбросился из окна в припадке дикого страха, что его сейчас арестуют. А в 53 году одна правоверная кандидатка биологических наук, еврейка, доказывала другой еврейке, западной, а потому совершенно потрясенной, что с ней ничего не может случиться, если, конечно, «вы не совершили никакого преступления и совесть у вас чиста»... Да еще дорожная спутница 57 года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе не потому, что они невинны — ведь, что ни говори, а дыма без огня не бывает... Причинность и целесообразность — основные категории нашей потребительской философии.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Я пришла домой с известием, что следователь предъявил О. М. стихи о Сталине и О. М. признал авторство и то, что человек десять из ближайшего окружения их слышали. Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору. Но представить себе О. М. в роли конспиратора совершенно невозможно — это был открытый человек, неспособный ни на какие хитроумные ходы. Того, что называется изворотливостью ума, у него не было и в помине. А кстати, опытные люди говорили мне, что какой-то минимум в условиях нашего следствия необходимо признавать, иначе начинается «нажим» и обессилевший заключенный наговаривает на себя чорт знает что.

Да и какие мы к чорту конспираторы! Политический деятель, подпольщик, революционер, заговорщик — это всегда человек особого склада. Нам подобная деятельность противопоказана. А жизнь ставила нас в условия чуть ли не карбонариев. Встречаясь, мы говорили шепотом и косились на стены — не под-

слушивают ли соседи, не поставили ли магнитофон. Когда я приехала после войны в Москву, оказалось, что у всех телефоны закрыты подушками: пронесся слух, что в них установлены звукозаписывающие аппараты, и все обыватели дрожали от страха перед черным металлическим свидетелем, подслушивающим их потаенные мысли. Никто друг другу не доверял, в каждом знакомом мы подозревали стукача. Иногда казалось, что вся страна заболела манией преследования. И до сих пор мы не выздоровели от этой болезни.

А ведь у нас были все основания для этого недуга: мы ходили как бы просвеченные рентгеновскими лучами: взаимная слежка — вот основной принцип, которым нами управляли. «Чего бояться, — сказал Сталин. — Надо работать»... Служащие несли свой мед директору, секретарю парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления — старосты, профорга и комсорга — могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на широкую ногу. В любом учреждении, особенно в вузах, служит множество людей, начинавших свою карьеру «внутри». Они прошли такую прекрасную выучку, что начальство готово продвигать их в любой области. Уйдя на «учебу», они получают всяческие поощрения по службе и нередко оставляются в аспирантуре. Кроме них связь поддерживается стукачами, и эти, смешавшиеся с толпой служащих, ничем от нее неотличимые, представляют еще большую опасность. Выслуживаясь, они способны на провокации, чего почти не случается с бывшими служащими органов. Такова была повседневная жизнь, быт, украшенный ночной исповедью соседа о том, как его вызывали «туда», чем ему грозили и что предлагали, и предупреждением друзей о том, кого из знакомых надо остерегаться. Все это происходило в массовом порядке, с людьми, за которыми индивидуальной слежки не устанавливалось. Каждая семья перебирала своих знакомых, ища среди них провокаторов, стукачей и предателей. После 37 года люди перестали встречаться друг с другом. И этим достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации они добились ослабления связей между людьми, разъединения общества, да еще втянули в свой круг множество людей, вызывая их от времени до времени, беспокоя, получая

от них подписки о «неразглашении». И все эти толпы «вызываемых» жили под вечным страхом разоблачения и, подобно кадровым служащим органов, были заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена.

Такие формы быта установились не сразу, но О. М. удостоился индивидуальной слежки одним из первых: его литературное положение определилось уже к 23 году, когда его имя было вычеркнуто из списков сотрудников всех журналов, а потому и кишели вокруг него стукачи уже в двадцатых годах... Мы различали несколько разновидностей в этом племени. Легче всего определялись деловитые молодые люди с военной выправкой, которые даже не симулировали интереса к автору, но сразу требовали у него «последних сочинений». О. М. обычно пробовал уклониться, — у него, мол, нет свободного экземпляра.. Молодые люди тотчас предлагали все переписать на машинке: «И для вас экземплярчик сделаем»... С одним из таких посетителей О. М. долго торговался, отказываясь выдать «Волка»... Это происходило в 32 году... Деловитый юноша настаивал, утверждая, что «Волк» уже широко известен. Не добившись рукописи, он пришел на следующий день и прочел «Волка» наизусть. Доказав таким образом «широкую известность» стихотворения, он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство: они всегда спешили и никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило «наблюдение за кругом», то есть за теми, кто нас посещает.

Второй вид стукачей — «ценители» — чаще всего члены той же профессии, сослуживцы, соседи.. В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцем. Эти являлись без телефонного звонка, не сговорившись, как снег на голову, так сказать, «на огонек»... Они сидели подолгу, вели профессиональные разговоры, занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, О. М. всегда требовал, чтобы я подала чаю: «Человек работает — нужно чаю»... Чтобы втереться в дом, они прибегали к мелким хитростям. С. — он же Б. — заявился к нам в первый раз с рассказами о востоке — по происхождению он, мол, из Средней Азии и сам учился в медресе. В доказательство своей «восточности» он притащил небольшую статуэтку ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, что Б., он же С., знаток востока и настоящий ценитель искусств. Как сочетался Будда с магометанством и медресе, мы так и не выяснили. Вскоре С. прорвало и он наскандалил, и вакансия при О. М., очевидно, освободилась, потому что незванно-негаданно пришел другой сосед и для первого знакомства притащил точно такого же Будду. На этот раз О. М. взбесился: «Опять Будда! Хватит! Пусть придумают что-нибудь другое», и выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил.

Третья и самая опасная разновидность называлась у нас «адъютанты». Это литературные мальчики — в академической среде аспиранты — с самым активным отношением к стихам, знающие наизусть все на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их завербовывали. Некоторые из них открыто признались О. М. — так бывало и с А. А., — что их «вызывают и спрашивают». После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг, ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть, как их вызывали. Так было с Л., о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде и нашел ее в Москве. «Вы не представляете себе, как вы просвечены», — сказал он. Обычно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба, но к несчастью единственное, что могли сделать честные люди, это — исчезнуть, иначе говоря, отказаться от звания «адъютанта». «Адъютанты» же это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, но помнили, что сами они тоже литераторы или поэты и пора уже напечататься и как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли, и действительно, близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой никакого пути в литературу не приоткрывали; зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь незначительнейшем, конечно, разговоре, который велся у нас вечером, и «адъютанту» помогут проникнуть на заветные страницы журналов. В какой-то критический момент литературный юноша сдавался, и у него начиналась двойная жизнь.

Существовали, наконец, и настоящие любители зла, находившие вкус в своем двойственном положении. Среди них есть даже знаменитости, как, например, Э. Вот это несомненно

крупная фигура в своей области. Работал он в другом кругу, и я о нем только слышала, но однажды, прочитав заголовок его статьи — «Моральный опыт советской эпохи», — поняла всю изощренность этого человека. Статья эта появилась в тот момент, когда ждали публичного разоблачения автора, и своим заголовком и темой он как бы сообщал читателям, что ему ничего не грозит, как настоящему знатоку моральных норм нашей эпохи. Разоблачения все-таки последовали, хотя и не скоро, но даже такой ничтожной санкции, как изгнание из ССП к нему применить не удалось. Он не потерял ничего, даже преданности своих аспирантов. Характерная черта Э. — отправив в ссылку своего друга Ш., он продолжал навещать его жену и давать ей советы... Женщина, уже знавшая о роли Э., боялась выдать свое беспокойство — разоблачать стукачей у нас не полагалось, за это можно было жестоко поплатиться. Когда Ш. вернулся после Двадцатого съезда, Э. встретил его корзиной цветов, поздравлениями и рукопожатиями...

Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет, в ссылки, в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял в ссылки, в лагеря, на тот свет, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать и работать, и поэтому совершенно была права Алиса Гуговна Усова, которая не пускала к О. М. своего мужа: «К ним нельзя — там всякая сволочь бывает», — говорила она. Ее идея: лучше не рисковать — кто знает, на кого нарвешься в пылу литературного спора. Осторожность все-таки не помогла Дмитрию Сергеевичу — он отправился в лагерь своим путем — с языковедами по «делу о словарях». Все дороги вели туда. Старая пословица о тюрьме и суме действовала безотказно, а слово «писать» приобрело добавочный смысл. Старый ученый (Ж.) сказал мне про группу преуспевающих кандидатов: «Все они пишут», а Шкловский утверждал, что с собаченкой Амкой надо осторожно — научилась писать у молодых, внимательных и вежливых адъютантов... Работая с Усовой в Ташкенте в университете, мы не искали стукачей, потому что «писали» все. И мы упражнялись в эзоповом языке. В присутствии аспирантов мы поднимали первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь, и посвященные, и аспиранты вкладывали в него нужный смысл...

Вполне естественно, что адъютанты и все прочие «писали»,

но странно, каким образом мы не разучились шутить и смеяться. В 38 году О. М. даже придумал машинку для предотвращения шуток, ибо шутки вещь опасная... Он беззвучно шевелил губами — «как Хлебников» — и жестами показывал, что машинка уже находится в горле. Но изобретение оказалось никуда негодным, и шутить он не прекращал.

СБОРЫ И ПРОВОДЫ

Как только я пришла домой, квартира заполнилась людьми. Мужья в зачумленный дом не пришли, но прислали жен — женщинам грозило все же меньше опасностей, чем мужчинам. Даже в 37 году большинство женщин пострадало за мужей, а не самостоятельно. Поэтому неудивительно, что мужчины соблюдали большую осторожность, чем женщины. Впрочем, «хранительницы очага» превосходили в своем «патриотизме» самых осторожных мужчин... Я прекрасно понимала, почему не пришли мужья, но изумилась, что набежало такое множество женщин. Высылаемых обычно избегали все... Анна Андреевна даже ахнула: «Сколько красоток!»

Я укладывала корзины, те самые, которые раздражали прислугу в Цекубу, как рассказал О. М. в «Четвертой Прозе». Вернее не укладывала, а беспорядочно кидала в них все, что попало: кастрюли, белье, книги. В тюрьму О. М. взял с собой Данте, но в камеру не затребовал — ему сказали, что побывавшая в камере книга на волю не выпускается: ее передают в библиотеку «внутри». Не зная точно, при каких обстоятельствах книга остается вечной узницей, я захватила с собой другое издание Данте. Надо было все припомнить, ничего не забыть — ведь переезд, да еще на поселение, ничуть не похож на нормальный отъезд с двумя чемоданами. Я хорошо это знаю, потому что всю жизнь переезжаю с места на место со всем своим жалким имуществом.

Мать моя вложила все деньги, вырученные в Киеве за ме-

бель. Но это были гроши — кучка бумажек. Женщины бросились во все стороны собирать на отъезд. Эти проводы происходили на семнадцатый год существования нашего строя. Семнадцать лет тщательного воспитания не помогли. Люди, собиравшие нам деньги, и те, кто им давал, нарушили этими своими поступками весь выработавшийся у нас кодекс отношений с теми, кого карает власть. В эпохи насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы и никаким воспитанием их не уничтожить. Если и даже искоренить их в одном поколении, а это у нас в значительной степени удалось, они все равно прорвутся в следующем. Мы в этом неоднократно убеждались. Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть...

Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услыхав о высылке, и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут бросилась к Бабелю, но не вернулась... Зато другие все время прибегали с добычей, и в результате собралась большая сумма, на которую мы проехали в Чердынь, оттуда в Воронеж, да еще прожили больше двух месяцев. За билеты мы, правда, почти ничего не платили — только приплачивали на обратном пути — в этом удобство ссыльных путешествий... В вагоне О. М. сразу заметил, что у меня завелись деньги, и спросил, откуда. Я объяснила. Он рассмеялся — громоздкий способ добывать на путешествия. Ведь он всю жизнь рвался куда-нибудь съездить и не мог из-за отсутствия денег. Набранная сумма была по тем временам очень велика. Мы никогда не отличались богатством, но, в общем, в нашей среде никто не мог похвастаться даже относительным благополучием. Все перебивались со дня на день. Кое-кому из писателей-«попутчиков» привалило некоторое благополучие уже в 37 году, но оно в сущности было иллюзорно и ощущалось только по сравнению с прочим населением, которое всегда еле сводит концы с концами...

К концу дня пришел Длигач с Диночкой. Я попросила у него денег. Он пошел доставать, а Диночку бросил у нас. Больше я его никогда не видела — он исчез навсегда. Денег я от него не ждала, мне просто хотелось проверить, струсится ли он. Мы всегда подозревали, что он «адъютант». Узнав про мое свида-

ние с О. М., «адъютант» должен был исчезнуть, боясь, что я узнала о его роли. Так и случилось. Но его исчезновение еще не может служить полным доказательством его вины: ведь он мог просто испугаться... Это не исключается.

На вокзал меня провожали Анна Андреевна и братья — Александр Эмильевич и Женя Хазин. По дороге на вокзал, как было условлено со следователем, я остановилась у подъезда дома на Лубянке, через который утром пришла на свидание. Дежурный впустил меня, и через минуту по лестнице спустился следователь с чемоданчиком О. М. в руках. «Едете?» — «Еду»... Прощаясь, я машинально протянула ему руку, попросту забыв, с кем имею дело. Ведь, повторяю, мы не народовольцы, не конспираторы, не политические люди. Совершенно неожиданно мы очутились в этой несвойственной нам роли, и я чуть не нарушила благородных традиций, пожав руку члену тайной полиции. Но следователь избавил меня от этого настоящего нарушения закона; рукопожатие не состоялось — таким людям, как я, то есть своим потенциальным подследственным, Христофорыч руки не подавал. Я получила хороший урок — первый урок политической сознательности в духе революционных традиций — жандармам руки не подают. Мне очень стыдно, что следователю пришлось мне напомнить о том, кто я и кто он. С тех пор я никогда об этом не забывала.

Мы вошли в зал вокзала. Я направилась к кассе, но меня перехватил невысокий блондин в мешковатом штатском костюме, и я узнала того, кто рылся в сундуке и разбросал по полу рукописи. Он вручил мне билет. Денег с меня не взяли. Носильщики, но не те, которых мы сначала подрядили, а какие-то новые, подхватили багаж. Мне сразу сказали, что я могу ни о чем не беспокоиться: все будет доставлено прямо в вагон. И я заметила, что первые носильщики даже не подошли ко мне поклянчить на чай, а просто испарились...

Ждать нам пришлось долго, и Анна Андреевна вынуждена была уйти — уже отходил ее поезд на Ленинград. Наконец снова явился блондин, и налегке, избавленные от всех вокзальных забот, мы вышли на платформу. Подали поезд. В окне мелькнуло лицо О. М. Я предъявила билет, и проводница велела пройти в самый конец вагона. Провожающих, то есть братьев, в вагон не пустили.

О. М. уже находился в вагоне, а с ним три солдата. Мы вое

вместе с конвойными занимали ровно шесть лежачих мест, включая два боковых. Распорядитель нашего отъезда, блондин, появлявшийся то в форме, то в штатском, организовал все так безукоризненно, словно демонстрировал чудеса из Тысячи одной калифо-советской ночи.

О. М. прижимался к стеклу. «Это чудо!» — сказал он и снова прильнул к стеклу. На платформе стояли братья — Женя и Шура. О. М. попытался открыть окно, но конвоир остановил его: «Не положено». Снова появился блондин и проверил, все ли в порядке. Последняя инструкция кондукторше: держать дверь на эту площадку запертой всю дорогу, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не отпирать, уборной с этой стороны не пользоваться. На промежуточных станциях выходить разрешается только одному конвоиру, двум другим неотлучно пребывать в вагоне. Словом: «Во всем придерживаться инструкции». Пожелав счастливого пути, блондин удалился, но я видела, что он стоял на платформе до самого отхода поезда. Наверное тоже по инструкции.

Вагон постепенно наполнялся. У входа в последнее купе стоял солдат. Он отгонял пассажиров, рвавшихся на свободные места — бесплацкартный вагон был набит до отказу. О. М. не отходил от окна. По обе стороны находились люди, которые стремились друг к другу, но стекло не пропускало звуков. Слух был бессилен, а смысл жестов неясен. Между нами и тем миром образовалась перегородка. Еще стеклянная, еще прозрачная, но уже непроницаемая. И поезд ушел на Свердловск.

ПО ТУ СТОРОНУ

В тот миг, когда я вошла в вагон и сквозь стекло увидела братьев, мир раскололся для меня на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, зазеркальем, и передо мной раскрылось будущее, которое не хотело склеиваться с прошлым. Это не литература, а робкая попытка описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, преступивших роковую черту. Этот сдвиг вы-

разился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади, так как появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею бесповоротной гибели. Одному может быть отпущен еще час, другому — неделя или даже год, но конец один. Конец всему — близким, друзьям, Европе, матери... Я говорю именно об Европе, потому что в «новом», куда я попала, не существовало всего того европейского комплекса мыслей, чувств и представлений, которыми я до сих пор жила. Другие понятия, другие меры, другие счеты...

Еще недавно я была полна тревоги за близких, за родное мне дело, за все на чем стояла. Сейчас исчезла тревога и пропал страх. Их заменило острейшее сознание обреченности и оно породило безразличие, физически ощутимое, осязаемое, весом почти в пуд. И тут оказалось, что времени больше нет, а есть только сроки до осуществления этого бесповоротного, которое подстерегает всех нас с нашей Европой, с нашей горсточкой последних мыслей и чувств.

Когда же придет бесповоротное? Где? Как это случится? Не все ли равно!... Сопротивление бесполезно. Я потеряла чувство смерти, потому что вошла в область небытия. Перед лицом обреченности даже страха не бывает. Страх — это просвет, это воля к жизни, это самоутверждение. Это глубоко европейское чувство. Оно воспитано самоуважением, сознанием собственной ценности, своих прав, нужд, потребностей и желаний. Человек держится за свое и боится его потерять. Страх и надежда взаимосвязаны. Потеряв надежду, мы теряем и страх — не за что бояться.

Бык, когда его ведут на бойню, еще надеется вырваться и растоптать грязных живодеров. Ведь другие быки не сумели ему внушить, что таких удач не бывает и скот, идущий на бойню, никогда не возвращается в стадо. А в человеческом обществе происходит непрерывный обмен опытом. Вот почему я никогда не слышала, чтобы человек, которого ведут на казнь, сопротивлялся, отбивался, защищался, ломал преграды и убегал. Люди даже выдумали особую отвагу для казнимого — запретил завязать себе глаза и умер без повязки. А я за быка, за его слепую ярость. За упрямое животное, которое не рассчитывает своих шансов на успех с благоразумием и тупостью людей и не знает грязного чувства безнадежности.

Потом я часто задумывалась, надо ли выть, когда тебя изби-

вают и топчут сапогами. Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и ответить палачам презрительным молчанием? И я решила, что выть надо. В этом жалком вое, который иногда неизвестно откуда доносится в глухие, почти звуконепроницаемые камеры, сконцентрированы последние остатки человеческого достоинства и веры в жизнь. Этим воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер. Воем он отстаивает свое право на жизнь, посылает весточку на волю, требует помощи и сопротивления. Если ничего другого не осталось, надо выть. Молчание — настоящее преступление против рода человеческого.

Но в тот вечер, под конвоем трех солдат, в темном вагоне, куда меня так комфортабельно доставили, я потеряла все, даже отчаяние. Есть момент, когда люди переходят через какую-то грань и застывают в удивлении: так вот, оказывается, где и с кем я живу! так вот на что способны те, с кем я живу! так вот, куда я попала! Удивление так парализует нас, что мы теряем даже способность выть. Не это ли удивление, предшественник полного ступора и следовательно пропажи всех мер и норм, всех наших ценностей, охватывало людей, когда они, попав «внутрь», вдруг узнавали, где и с кем живут и каково подлинное лицо современности. Одними физическими мучениями и страхом не объяснить того, что происходило там с людьми — что они подписывали, что делали, в чем признавались, кого губили вместе с собой. Все это было возможно только «за гранью», только в безумии, когда кажется, что время остановилось, мир кончится, все рухнуло и никогда не вернется. Крушение всех представлений — это тоже конец мира.

Но со мной-то, в сущности, что случилось? Ведь если подойти разумно, что ужасного в переезде в маленький городишко на Каме, где нам, как будто, придется прожить три года. Чем Чердынь хуже Малого Ярославца, Струнина, Калинина, Муннзка, Джамбула, Ташкента, Ульяновска, Читы, Чебоксар, Верен, Тарусы, Пскова, по которым меня, бездомную, носило после смерти О. М.? Было ли от чего сходить с ума и ждать конца мира?

Оказывается, да. Было. Сейчас, когда ко мне вернулось отчаяние и я обрела способность выть, я говорю это с полной уверенностью и твердостью. Было и есть. И мне кажется, что прекрасная организация нашего отъезда — без сучка и задоринки — с заездом на Лубянку за чемоданом, бесплатными носильщиками и вежливым блондином-провожатым в штатском, который взял под козырек, желая нам счастливого пути, — так никто не уезжал в ссылку, кроме нас, — страшнее и омерзительнее и настойчивее твердит о конце мира, чем нары, тюрьмы, кандалы и хамская брань жандармов, палачей и убийц. Все это произошло в высшей степени красиво и гладко, без единого грубого слова, и мы вдвоем, под конвоем трех деревенских парней — конвоиров с инструкцией — мчались, увлекаемые неведомой и непреодолимой силой, куда-то на восток, на поселение, в ссылку и в изоляцию, где, как мне изволили сказать, кого-то велено сохранить; а сказали мне это в чистом и большом кабинете, где, может быть, сейчас допрашивают китайца, у которого, вероятно, тоже есть жена.

ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежимостью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику. Многие из нас поверили в неизбежность, а другие в нецелесообразность происходящего. Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье. Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения. Тем, кто еще сомневался, мы смеялись в глаза и сами довершали дело газет, повторяя сакраментальные формулы и слухи об очередной расправе — вот чем кончается пассивное сопротивление! — и подбирая оправдания для существующего. Главным доводом

служило разоблачение всей истории во времени и пространстве: всюду одно и то же, всегда так и было, ничего другого, кроме насилия и произвола, человечество не знало и не знает. «Всех расстреливают, — сказал мне Л., молодой физик. — Меньше больше? Что ж, это прогресс»... «Поймите, Надя, — убеждала меня Л. Э., — там ведь тоже плохо».. Многие и сейчас не понимают качественной разницы между «плохо» и нашим «седьмым горизонтом».

В середине двадцатых годов, когда столб воздуха на плечах стал тяжелее — в роковые периоды он бывал тяжелее свинца — люди вдруг начали избегать общения друг с другом. Страхом стукачей и доносов это еще не объяснялось — к тому времени мы еще не успели по-настоящему испугаться. Просто наступило онемение, появились первые симптомы летаргии. О чем разговаривать, когда все уже сказано, объяснено, припечатано? Только дети продолжали нести свой вполне человеческий вздор, и взрослые — бухгалтеры и писатели — предпочитали их общество разговорам с равными. Но матери, подготовляя к жизни своих детей, сами обучали младенцев священному языку взрослых. «Мои мальчики больше всех любят Сталина, а потом уже меня», — объясняла Зинаида Николаевна, жена Пастернака. Другие так далеко не заходили, но своими сомнениями с детьми не делился никто: зачем обрекать их на гибель? А вдруг ребенок проболтается в школе и погубит всю семью? А зачем ему понимать лишнее? Пусть лучше живет, как все... И дети росли, пополняя число подвергшихся гипнозу. «Русский народ болен, — сказала мне Поля. — Его надо лечить». Болезнь стала особенно заметной сейчас, когда прошел кризис и начинают выявляться первые признаки выздоровления. Раньше больными считались мы — не утратившие сомнений.

Михаил Александрович Зенкевич рано впал в гипнотический сон или летаргию. Это не мешало ему служить, зарабатывать деньги, растить детей. Может, этот сон даже помог ему сохранить жизнь и выглядеть вполне нормальным и здоровым. Но если копнуть, оказывалось, что он давно перешел через грань и не сумел разбить оконного стекла. Зенкевич жил сознанием, что все, что некогда составляло весь смысл его существования, необратимо, кончено, осталось по ту сторону стекла. Это чувство могло бы превратиться в стихи, но шестой

акмеист пришел к твердому выводу, что стихов тоже не будет, раз нет Цеха поэтов и тех разговоров, что обольстили его в ранней юности. Он бродил по развалинам своего Рима, убеждая себя и других, что необходимо скорее сдаваться не только в физический, но и в интеллектуальный плен. «Неужели ты не понимаешь, что этого уже нет, что все теперь иначе!» — говорил он О. М..... Это относилось к вопросам поэзии, чести и этики, к очередному политическому сюрпризу или насилию — к процессам, арестам и к раскулачиванию... Все оправдывалось, потому что «теперь все иначе»... Иногда, впрочем, он оправдывался — выпил, мол, столько брому, что совсем отшибло память... Но на самом деле он не забыл ничего и был трогательно привязан к О. М., хотя и удивлялся его упорству и безумному стоянию на своем. Единственное, что Зенкевич хотел перетащить в свое новое посмертное существование — это кучка автографов. «Вот Гумилева уже нет, а у меня не осталось ни одного листочка», — жаловался он О. М., выпрашивая черновичек. О. М. злился и не давал: «Он уже готовится к моей смерти».

В начале пятидесятых годов — отвратительное было время! — я встретила Мишеньку во дворе Дома Герцена и он завел вечный разговор об автографах (мы не виделись с ним лет пятнадцать): «Где Осины бумаги? Вот не взял я у него ничего, и у меня ни одного автографа нет... Хоть бы вы мне дали»... Вспомнив, что О. М. не терпел этого канючения, я тоже ничего ему не дала, но он все же что-то раздобыл. От прошлого у него остались не книги, не звучащие стихи, а только листочки со стишками, записанные руками старых погибших товарищей, словно документальное свидетельство о былой литературной жизни. «Ведь и стихи теперь другие», — жаловался Миша.

Зенкевич одним из первых съездил на канал и, выполняя заказ, написал похвальный стишок преобразователям природы. За это О. М. пожаловал ему право называться Зенкевичем-Канальским, как некогда к фамилии Семенова прибавили почетное — Тяньшанский. В 37 году Лахути устроил О. М. командировку от ССП на канал. Доброжелательный перс надеялся, что О. М. что-нибудь сочинит и тем спасет себе жизнь. Вернувшись, О. М. аккуратно записал гладенький стишок и показал его мне. «Подарим Зенкевичу?» — спросил он. О. М. погиб, а стишок уцелел, не выполнив своей функции. Однажды в Таш-

кенте он попался мне на глаза и я посоветовалась с Анной Андреевной, что мне с ним делать: «Можно его в печку?» Было это на балахане, где мы вместе коротали эвакуационные дни. «Наденька, — сказала Анна Андреевна, — Осип дал вам полное право распоряжаться абсолютно всеми бумагами»... Это было чистое лицемерие. Мы ведь все против фальсификаций, уничтожения рукописей и всякой подтасовки литературного наследства: Анне Андреевне нелегко было санкционировать замышленный мной поступок — вот она и подарила мне именем О. М. неожиданное право, которого О. М. мне никогда не давал: уничтожать и хранить, что мне вздумается. Сделала она это, чтобы избавиться от канальских стишков, и от них тут же осталась горсточка пепла.

Если у кого-нибудь случайно сохранился бродячий список этого стишка, я прошу — даже заклинаю тем правом, которое мы с Анной Андреевной присвоили себе на балахане — преодолеть страсть к автографам и курьезам и бросить его в печку. Такой стишок мог бы пригодиться только иностранной комиссии ССП, чтобы показывать любопытствующим иностранцам: какое там литературное наследство у Мандельштама — посмотрите, стоит ли это печатать! Мы ведь не стесняемся искажать биографии, даты смерти — кто пустил слух, что О. М. был убит немцами в Воронеже? Кто датировал все лагерные смерти началом сороковых годов? Кто издает книги живых и мертвых поэтов, пристрастно пряча все лучшее? Кто держит годами в редакционных портфелях уже подготовленные к печати рукописи погибших и живых писателей и поэтов? Всего не перечислишь, ведь слишком много спрятано и закопано в разного вида запасниках, а еще больше уничтожено.

Стишок с описанием красот канала вызывал у меня бешенство еще и потому, что сам О. М. должен был отправиться строить его, и этого не случилось только из-за инструкции «изолировать, но сохранить». Тогда канал заменили высылкой в Чердынь — ведь на стройках этих каналов никого сохранить нельзя. Молодые и здоровые языковеды Дмитрий Сергеевич Усов и Ярхо, выйдя на волю, умерли почти сразу, так их разрушили несколько лет, проведенных на канале — а ведь они на физической работе почти не были. Попади О. М. на канал, он умер бы в 34, а не в 38 году — «чудо» принесло ему несколько лет жизни. Но я все же содрогаюсь от чудес и при этом не

считаю себя неблагодарной: чудеса — вещь восточная, западному сознанию они противопоказаны.

А вот к Мише Зенкевичу, добровольному римлянину, который на развалинах своего Колизея бережет несколько автографов убитых поэтов, я переменила отношение. Сейчас эта жизнь кажется мне трогательной и, несмотря на отсутствие катастроф — в тюрьме он не сидел и голодом его не морили, — почти трагической. Хрупкий от природы, Зенкевич раньше других подвергся психологической чуме, но она приняла у него не острую, как у меня в вагоне, а затяжную хроническую форму, от которой никто не выздоравливает. Легкость, с которой интеллигенты поддавались этой болезни, объясняется ли она только послереволюционными условиями? Не таятся ли первые микробы в дореволюционном смятении, метаниях и лжепророчествах?

Особый вид эта болезнь — летаргия, чума, гипнотический сон — принимала у тех, кто совершал страшные деяния во имя «новой эры». Все виды убийц, провокаторов, стукачей имели одну общую черту — они не представляли себе, что их жертвы когда-нибудь воскреснут и обретут язык. Им тоже казалось, что время застыло и остановилось, а это главный симптом описываемой болезни. Ведь нас убедили, что в нашей стране больше ничего никогда меняться не будет, а остальному миру надо только дойти до нашего состояния, то есть тоже вступить в новую эру, и тогда всякие перемены прекратятся навсегда. И люди, принявшие эту доктрину, честно поработали во славу новой морали, проистекавшей в конце концов из исторического детерминизма, доведенного до последней крайности. Всякого, кого они отправляли на тот свет или в лагеря, они считали навеки изъятым из жизни. Им не приходило в голову, что эти тени могут восстать и потребовать своих могильщиков к ответу. И поэтому в период реабилитаций они впали в настоящую панику: им показалось, будто время обратилось вспять и те, кого они окрестили «лагерной пылью», вдруг опять обрели имя и тело. Среди них воцарился страх. Мне пришлось в те дни наблюдать скромную стукачку, соседку по квартире Василисы Шкловской. Ее все время вызывали в прокуратуру, где она брала обратно свои стародавние показания и тем самым обеляла живых и мертвых. Возвращаясь домой, она прибегала к Василисе, за домом которой ей некогда приходилось наблю-

дать, и заплетающимся языком рассказывала, что она, видит Бог, никогда ни о ком, ни о Малкине, ни о других ничего дурного не говорила, и сейчас в прокуратуре она только и делает, что дает обо всех самые лучшие показания, чтобы покойников скорее реабилитировали... У этой женщины никогда ничего похожего на совесть не было, но тут она почему-то не выдержала, и ее разбил паралич. Возможно, что в какой-то момент она испугалась и поверила в серьезность пересмотров и в возможность привлечения клеветников и клевретов к уголовной ответственности. Этого, конечно, не случилось, но все же ей лучше, парализованной и впавшей в детство — время для нее опять остановилось.

А в Ташкенте один из крупнейших работников, которого после перемен отправили на пенсию, а потом изредка вызывали для очных ставок с бывшими подследственными, каким-то чудом выжившими и вернувшимися из лагерей, не выдержал испытания и повесился. Мне удалось прочесть черновик его предсмертного письма, адресованного в ЦК. Аргументация у него несложная: беззаветно преданный, он комсомольцем был направлен в органы и все время получал повышения и награды. За все годы никого, кроме своих сотрудников и подследственных, не видел, работал днем и ночью без передышки и только после отставки имел досуг, чтобы подумать и осмыслить происшедшее, и тут-то ему пришло в голову, что он, может, служил не народу, а «какому-то бонапартизму»... Вину с себя самоубийца старается переложить: во-первых, на тех, кто, будучи под следствием, подписывал на себя всякие небылицы и тем самым подводил следователей и прокуроров, а затем на инструкторов из центра, объяснявших приказ об «упрощенном допросе» и требовавших выполнения плана, и, наконец, на осведомителей с воли, которые добровольно несли в органы информацию и вынуждали их открывать следствия против множества людей... Классовое сознание не позволяло работникам органов проходить мимо этой информации... Последним толчком к самоубийству послужила только что прочитанная им книга «Последний день осужденного»...

Самоубийцу похоронили и дело замяли, что было необходимо, потому что он назвал по именам инструкторов из центра и информаторов. Дочь самоубийцы долго рвала и метала, мечтая разделаться с теми, кто погубил ее отца. Гнев ее был

обращен на тех, кто разворошил весь этот ад. «Надо же было подумать о людях, которые тогда работали! Они ведь это не сами выдумали, а только исполняли приказания», — говорила Лариса, — ей дали имя в честь Ларисы Рейснер. Лариса твердила, что она «этого так не оставит» и даже собиралась обо всем сообщить заграницу, чтобы там узнали, как здесь поступили с ее отцом. Я спрашивала, на что ж она собирается жаловаться. Для Ларисы это было совершенно ясно — нельзя так внезапно все изменять, потому что это травмирует людей. Нельзя травмировать людей — папу и всех его товарищей... «Кто вам посочувствует?» — спрашивала я, но она меня не понимала. Раз людям обещали, что больше ничего меняться не будет, нельзя допускать никаких перемен. «Пусть бы никого не арестовывали, но все должно было оставаться, как было». Пусть остановленное время продолжает стоять. В остановке времени есть устойчивость и покой. Он необходим деятелям нашей эпохи...

Лариса требовала, чтобы время опять остановилось, и ее просьбу в значительной мере уважили. Сыновья снятых сотрудников ее отца поехали в Москву учиться новым методам и до отъезда возложили цветы на гроб ее отца. Они займут старые места и кабинеты и будут всегда готовы к действию по инструкциям сверху. Сейчас весь вопрос в том, чем будут эти инструкции....

Нам с Ларисой друг друга не понять, но глядя на нее, я всегда думала, почему все пути приводили у нас к гибели. Кем нужно быть, чтобы спастись? Где та нора, в которую можно залезть, чтобы спастись? Лариса и ее друзья тоже рыли себе нору и тащили в нее все, что символизировало для них благополучие: серванты, фужеры, торшеры, чешский хрусталь и кузнецовский фарфор, вышитые халаты и японские ярмарочные веера. Они ездили в Москву покупать не только мебель, но и надгробные камни, потому что их нора тоже была недостаточно глубокой. Одни исчезали по сталинскому велению, другие кончали с собой.

ТЕЗКА

В вагоне я не сразу поняла, что с О. М. Он встретил меня с восторгом, и мое появление воспринял, как чудо. Да оно и было чудом. О. М. сказал, что все время готовился к расстрелу: «Ведь у нас это случается и по меньшим поводам»... Речи, как будто, вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи. Винавер, человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина: «Чего вы хотите? С ним поступили очень милостиво: у нас и не за такое расстреливают»... Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость: «Ее могут отобрать, как только уляжется шум»... «А так бывает?», — спросила я. Моя наивность поразила его: «Еще бы!»... И еще: «Только не напоминайте о себе — может, забудут»... Вот этот совет — тише воды, ниже травы — мы не выполнили. О. М., шумный человек, продолжал шуметь до самой гибели.

В вагоне О. М. сказал мне: милостивая высылка на три года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента, то есть буквально то, что я услышала потом от Винавера. И я этой концепции нисколько не удивилась: все мы к 34 году уже кое-что знали. О. М. утверждал, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав — трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу. И я только кивала головой, когда он шептал мне: «Не верь им!» Еще бы! Кто им поверит!

А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым О. М. заболел во внутренней тюрьме. Но на первых порах сумасшедшим показался мне не О. М., а старший конвойный Оська, тезка О. М. и адресата стихов, когда, отозвав меня в сторону и выпучив добрые бараньи глаза, он сказал: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают»... О том, что речь идет о стихах — по-народному они называ-

ются песнями — Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов и вредителей. Вот в буржуазных странах, говорил Оська, уцелеть невозможно: там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок...

Все мы, в разной степени, конечно, верили тому, чем нас пичкали; особенно доверчива молодежь — студенты, конвойные, писатели, солдаты... «Самые справедливые выборы, — сказал мне в 37 году демобилизованный солдат, — нам предлагают, а мы выбираем»... О. М., как писатель, тоже попался на удочку и оказался чересчур доверчивым: «Сначала так выбирают, потом постепенно приучатся и будут обыкновенные выборы», — сказал он, покидая избирательный участок и поражаясь нововведению — первым и последним выборам, в которых участвовал. Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Чего же требовать от молодежи — солдат и студентов?... А соседка, носившая мне молоко перед войной в Калинине, раз вздохнула: «Нам хоть когда подкинут селедки там, или сахару, или керосинчику... А как в капиталистических странах? Там верно хоть пропадай!» Студенты до сих пор верят, что всеобщее обучение возможно только при социализме, а «там» народ погряз в неграмотности и темноте... За столом у той же Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, возник горячий спор: она заявила, что в больших городах, вроде Лондона и Парижа, прописывать демобилизованных летчиков-инвалидов. Такой случай только что произошел в Ташкенте (1959), и Лариса утверждала, что летчика, особенно испытателя, прописать необходимо. Я попробовала объяснить, что «там» вообще никакой прописки нет, но мне никто не поверил: «там» ведь куда хуже, чем у нас, значит, с пропиской строгости совсем неимоверные... Да и кто станет жить без прописки? Враз попадешься!.. Если все мы верили своим воспитателям и даже воспитатели, запутавшись, начали верить самим себе, что же удивительного, что им поверил старший конвоир Оська?

В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим разомлевшим товарищам. Это их О. М. назвал «племенем пушкиноведов», с молодыми любителями белозубых стишков», которые «грамотеют» в шинелях и с наганами... «Вот как римские цари обижают стариков, — говорил товарищам Оська. —

Это ж за песни его так сослали»... Описание севера подействовало неотразимо: северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решил меня успокоить: нам не грозит такая жестокая ссылка, как римскому изгнаннику. Провожая меня в уборную — по инструкции! — Оська умудрился мне шепнуть, что наша цель Чердынь — там климат хороший — и первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен: ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут в тайне. И вообще такие вещи полагается знать только конвою... Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения... Но, оказывается, напрасно — я уже это знала. Но я утешила старшего — если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы вообразить Бог знает что — такую из всего делали тайну.

Это была не единственная поблажка, на которую решился Оська. На многочисленных пересадках он заставлял конвоиров таскать наши вещи, а когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каюту: «Пусть твой отдохнет»... Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе. Я спросила, зачем он нарушает инструкцию, но Оська только махнул рукой. До сих пор он провожал уголовников и «вредителей» — с ними надо держать ухо востро. «А твой что? Его и стеречь не стоит!» Но до еды, как я ни пробовала угощать конвоиров, никто не дотронулся — запрещено. Лишь сдав О. М. в Чердыни коменданту, конвоиры сказали: «Теперь мы свободные — угощай»...

В своей жизни я соприкоснулась еще с двумя людьми Оськиной профессии. Один только скрежетал зубами и твердил, что мы ничего не знаем, не понимаем, не подозреваем... Он мечтал о демобилизации, просто бредил ею, и я рада была узнать, что он вырвался на волю. «Даже и совхоз вроде рая», — сказал он при встрече... Другой — низколобое, звероподобное существо — упустил однажды преступника и потерял работу, которая сулила столько возможностей и явно пришлась ему по вкусу. Годами, в трезвом и пьяном виде, он проклинал «контру», «немца», «вредителя», «фашиста», «врага», сгубившего его карьеру. Жил он мечтой — встретить и казнить злодея. Он затаил обиду и против советской власти: зачем цацкаются с такими преступниками? Не в лагерь их посылать, а в расход, и он выразительно прищелкивал пальцами.

...Плохо бы нам пришлось, если б инструкцию о перевозке заключенного Мандельштама вручили не Оське, а этому человеку.

ШОКОЛАДКА

Первая пересадка была в Свердловске. Там многочасовое ожидание на вокзале, причем конвойные не отходили не только от О. М., но и от меня. Я хотела дать телеграмму — нельзя!... Купить хлеба — нельзя! Подойти к газетному ларьку — нельзя!... На промежуточных станциях мне тоже не давали выйти — не положено! О. М. сразу заметил это: «Значит, и ты попалась»... Я пробовала объяснить конвойным, что я не высылана, а еду добровольно, провожаю... «Нельзя. Инструкция»...

Свердловск это многочасовое — с утра до позднего вечера — сидение на деревянной вокзальной скамейке с двумя часовыми при оружии. При малейшем нашем движении — нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги, не разрешалось шевельнуться или переменить положение — часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты. Нас посадили почему-то прямо против входа, лицом к нему, и невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки, и те не удостаивали нас вниманием. Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться — не положено. До воды не дотянуться... Здесь Оська не смел нарушать инструкцию: Свердловск — станция серьезная...

Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск-Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделяло от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас; третий—у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упря-

[illegible] В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне [illegible] неосвещенного вагона. Ночи уже [illegible] перед нами мелькали уральские леса, станции и [illegible] в густом лесу, и О. М. не от- [illegible] Это была третья или четвертая бессонная ночь.

[illegible] вагонах и на пароходах [illegible] Кто их знает... Но, скорее всего, это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в течение многих десятилетий: раз начальство ссылает, значит — так и надо, а моя хата с краю... Равнодушие толпы ранило и мучило О. М.: «Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят»... Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно — пристрелить, убить, растерзать — и никто не вмешается... Зрители только повернутся спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища... Всю дорогу я пыталась перехватить хотя бы чей-нибудь взгляд, но мне этого не удалось...

Может, только Урал был таким твердокаменным? В 38 году [illegible] хозяйка «сидела дома», то есть, нигде не служила, и поэтому завкома не боялась.

Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагоне-

телятнике 38 года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, карцером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым [illegible] человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, [illegible] на север.

ПРЫЖОК

Я поняла, что О. М. болен в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги, на скамейке и напряженно [illegible] — спрашивал [illegible] не в слухе.

Всю дорогу О. М. напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что надо быть на чеку, чтобы не попасться врасплох, и успеть... Я поняла, что он не только ждет конечной расправы — в ней и я не [illegible], что она произойдет с минуты на минуту, сейчас, здесь, в пути... «В дороге? — спрашивала я. —

Ты верно про двадцать шесть комиссаров вспомнил»... «Отчего ж нет? — отвечал О. М. — Ты думаешь, что наши на это неспособны?» Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно. Но в своем безумии О. М. надеялся «предупредить смерть», бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с этой надеждой: самоубийство это тот ресурс, который мы держим про запас, и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем столько людей собиралось не даваться живым в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох....

Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко — в разные невыносимые периоды нашей жизни — предлагала О. М. вместе покончить с собой. У О. М. мои слова всегда вызывали резкий отпор.* Основной его довод: «откуда ты знаешь, что будет потом... жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться». И наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?» О. М., человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья, но и не делал никакой ставки на так называемое счастье. Для него таких категорий не существовало.

Взрослея, чаще всего он отшучивался: «Покончить с собой? Невозможно! Что скажет Авербах? Ведь это был бы положительный литературный факт!» И еще: «Не могу жить с профессиональной самоубийцей». Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в Чердынь, как способ ускользнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала: «Ну и хорошо, что расстреляют — избавят от самоубийства»... А он, уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся: «А ты опять за свое...» С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно, но О. М. говорил: «Погоди... Еще не сейчас... Посмотрим»... А в 37 году он даже советовался с Анной Андреевной, но она подвела: «Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей и даже дадут дачу какому-нибудь

* Рассказ Георгия Иванова о том, что О. М. в ранней юности пытался в Варшаве покончить с собой, по-моему, не имеет ни малейшего основания, как и многие другие новеллы этого мемуариста

Леонову. Зачем это вам нужно»... Если б он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телячьем вагоне во Владивосток—в лагерь, к ужасу и смерти, а меня — от посмертного существования. Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека — ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я осталась одна, все поддерживала фраза О. М.: «Почему ты думаешь, что должна быть счастливой», да еще слова протопопа Аввакума: «Сколько нам еще так идти, протопоп?» — спросила изнемогающая жена. «До самой могилы, попадья», — ответил муж, и она встала и пошла дальше.

Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек, ипохондрик. Они ведь забудут все и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верит нам. А ведь они — современники: нас разделяет только пространство, но не время. Еще недавно я прочла чье-то разумное рассуждение: «Говорят, что там боялись все... Не может быть, чтобы все боялись: одни боялись, другие нет»... Разумно и логично, но наша жизнь была далеко не так логична. И я вовсе не была «профессиональной самоубийцей», как меня дразнил О. М. Об этом думали многие. Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца».

Итак, в вагоне, под охраной 3-х солдат, О. М. впервые подумал о самоубийстве, и это было для него болезнью. Этот человек всегда замечал тончайшие детали происходящего и обладал обостренной наблюдательностью. «Внимание — записал он — доблесть лирического поэта. Рассеянность ... то в черновиках, ... уверки лирической лени». И вот по дороге в Чердынь эта хищная наблюдательность и изощренный слух обратились против него, подбрасывали горючее его бредили. В дикой вокзальной суете и в вагонах он непрерывно регистрировал всякие мелочи и, относя все к себе — не эгоцентризм ли является первым признаком душевных заболеваний? — делал из всего один вывод: роковой момент приближается.

В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был

переполнен рабочими. Один из них — бородатый, в буро-красной рубахе, с топором в руке — своим видом напугал О. М. «Казнь-то будет какая-то петровская», — шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каюте, полученной благодаря Оське, О. М. уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен — вроде соликамских мужиков. И сетовал, что ему дадут успокоиться, забыться, и «зацапают», когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через четыре года.

В безумии О. М. понимал, что его ждет, но выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действовало на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина этого самая примитивная — возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам?

Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в Чека и сдали вместе с документами коменданту. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую велено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типажем не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал, и за жестокость, то есть, как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил кое-какие старания по любопытно-злобным взглядам коменданта и по тому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские ссыльные, он никогда не «потворствовал» приезжающим под конвоем... В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене две скрипучие койки.

Я действительно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась каким-то тревожным, как бы прозрачным сном, сквозь который видела, как О. М., скрестив ноги и расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине, на шаткой койке.

Вдруг — я почувствовала это сквозь сон — все сместилось: он вдруг очутился у окна, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения — что-то шлепнулось — и крик... Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору, вниз по лестнице и на улицу. За мной бросились санитарки. Мы нашли О. М. на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх. Ругали главным образом меня за то, что я не доглядела.

Прибежала встрепанная и очень злая врачиха и быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо. Остальное все цело. Это был благополучный исход — он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, который по высоте равен по крайней мере трем современным.

Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов — Бог их знает, кто они были. О. М. лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачиха вправляла ему плечо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз. Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради останавливали, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачиха не заметила перелома плечевой кости (без смещения). Перелом обнаружился гораздо позже — в Воронеже, — где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала. О. М. долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой.

После ночного прыжка наступило успокоение. Так и сказано в стихах: «прыжок — и я в уме».

ЧЕРДЫНЬ

Небритый, заросший библейской бородой, две недели прожил О. М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы: помог, как он мне тогда же объяснил, соликамский опыт: мужики это мужики, и от них ничего худого ждать не надо. «Те» выглядят совершенно иначе... У мужиков гноились запущенные язвы, и их лечили такими же первобытными методами, как О. М. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятного в человеческом поведении — вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы — переселение в чудовищных условиях, непосильные тяжести, ушибы... Худенькая женщина с лицом шестидесятницы, ссыльная, работавшая в больнице кастеляншей, — она считала, что ей удивительно повезло с работой, — говорила, что готова пожертвовать жизнью ради этих мужиков, и по этой реплике О. М. определил, кто она.

Как называли там этих бородатых мужиков? Переселенцами? Перемещенными? Не помню, но раскулаченными их называть запрещалось. Мы не любим называть вещи собственными именами. Бородатые люди с гноящимися язвами — они давно лежат в могилах. Мы никогда и нигде о них не упоминаем. Боимся ли мы коснуться этих язв?

В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранились товарищество и взаимопомощь. На воле с этим давно покончили, но Чердынь жила традициями, и кастелянша приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы — их потом не достанешь — и занялась огородом: иначе не прокормиться. Участок для огорода ссыльным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всюду, в Чердыни был жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам. Мы

заходили с кастеляншей к коротконогому человечку, который сумел недурно устроиться — отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими занавесками он жил вместе с женой, и оба ходили каждые три дня отмечаться к коменданту. Это приходилось делать и О. М., хоть он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая «видом на жительство» служить не могла, и на ней комендант каждые три дня ставил свою печать. Чердынских ссыльных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать О. М. в район. В Чердыни, уездном центре, старались никого не оставлять — «они считают, что нас здесь и так слишком много»... «А он имеет право?» — спросила я, объяснив, что назначение О. М. просто «Чердынь», а не район... «Вы у него в руках. Куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города»... В начале весны здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. «А там были совсем больные товарищи», — сказала кастелянша. В обстановке каторги и ссылки слово «товарищ» имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть.

Муж кастелянши постоянно спорил с коротконогим марксистом, живущим за плюшевой занавеской. Это были остатки разбитых партий, их периферия, а споры начались еще в царском подполье. Жены занимались больше хозяйством и работой, чем спорами, и явно скучали по детям. Обе пары оставили детей у родственников. «Как-то им там живется!» — вздыхали матери, но к себе брать детей не решались: «Мы ведь обреченные, пусть хоть они живут...» Собственное будущее представлялось им совершенно ясно: при случае их тут же прикончат или сгноят в лагерях. «Может, смягчится»,— сказали мы как-то марксисту. «Что вы!—ответил он.— Только сейчас начинает разгораться». И я не поверила. Совершенно естественно, думала я, что они так мрачно смотрят на будущее; в их положении оптимизма не наберешься. Но ведь не может же вечно так продолжаться, как сейчас... За мою долгую жизнь мне много раз казалось, что мы дошли до предела и скоро наступит то, что я называла смягчение... Расставаться с иллюзиями никому не хочется.

Чердынские ссыльные успокаивали меня насчет здоровья

О. М.: «Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего, поправляются». «Почему в таком виде?» — спрашивала я. Они не знали, как объяснить. «А раньше тоже было так?» Они ведь прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело. Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Беспокоиться однако не надо: «это» проходит бесследно. [illegible] длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное — «внутренняя» дисциплина: нельзя заглядывать в будущее — ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться Чердынью, как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия.

Они умоляли меня примириться с судьбой и не [illegible] последних денег на телеграммы. Все ссыльные, пораженные той фантастикой, которая с ними случилась «внутри», начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получил еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный [illegible] их таскали по ссылкам и лагерям уже больше десяти лет, сначала врозь, а потом мужьям и женам удалось соединиться. Я вспомнила старика [illegible], провинциального врача. Я встретила его в самом начале тридцатых годов в Москве. Он приехал «хлопотать» и ничего не добился. «Никого не осталось, — сказал он мне. — Они сослали всех, даже [illegible], даже [illegible]». Он перечислял мне сыновей и подростков внуков. «Так никогда не бывало»... Старик знал, что в старое время, когда старшего сына отправляли в ссылку, а это случалось весьма часто, к нему тут же привозили внуков. Арест сына не затрагивал никого из членов семьи [illegible] все оставались [illegible] и жили, где кому вздумается. Теперь старик пытался отхлопотать хоть кого-нибудь из несовершеннолетних, но [illegible] ничего не вышло.

Я рассказала чердынским ссыльным про формулу «изолировать, но сохранить». Что она сулит, эта формула [illegible] комендант не посмеет выбросить О. М. в район [illegible] тяже не [illegible] Может, удастся добиться об[illegible] лечения [illegible] Они сомневались... В их среде многие были лично знакомы с теми, кто оказался облеченным властью, включая [illegible]лина. Им приходилось сталкиваться с ними и в царском подполье, и в ссылках. Теперь же, когда их ссылали, они часто слышали заверения, что их только «изолируют», но постараются «создать им условия», чтобы они могли жить и работать.

Обещания, однако, никогда не выполнялись, а все заявления и письма, которыми они забрасывали правительство, канули в бездну. Изоляция служила не «сохранение», а самое обыкновенное уничтожение [illegible] без свидетелей [illegible] в «удобную минуту». [illegible], на что можно надеяться, это на [illegible] собственную выдержку и [illegible]. Отбросить надежды, жить [illegible] не теряя человеческого достоинства. Сохранить его [illegible] Этому учит опыт и [illegible] Так как [illegible], которые трезвый анализ положения. [illegible] А нам казалось, что они [illegible] приобрели опыт раньше нас [illegible] у них судьба, [illegible] в своем пессимизме [illegible] Три года что они [illegible] все в чересчур темном свете. [illegible] все ссылка в Чердынь [illegible] это конец? Все наладится, все смягчится, жизнь возьмет свое...

Человек [illegible] за малейший проблеск надежды. [illegible] не хочет никто, посмотреть прямо [illegible] Трезвый анализ и выводы требуют [illegible] жизни очень трудно. [illegible] человеческого [illegible] Есть [illegible] людей, [illegible], кто считает себя зрячим, [illegible] Вера [illegible] не только смотрят, но и [illegible] чтобы сохранить и [illegible] и надежду. [illegible]

[illegible] сохра-[illegible] отказались от вся-[illegible] добровольно обрекли себя на [illegible] Несомненно, что это род пассивного сопротивления, но по сравнению с ним то, что известно под этим названием и применялось в Индии, является активнейшей политической борьбой... В известном смысле они при-[illegible] пред-[illegible] а они с негодовавших [illegible], это выбора у них не было. Единственное, что им оставалось, это вой, который все равно никто бы не услышал.

Мне удалось совершенно случайно узнать про судьбу чер-[illegible] Она попала [illegible] уда ленинградке про [illegible] О. М. [illegible] а он продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спастись бегством. Приход убийц он назначил на какой-[illegible] страхе и смя[illegible] О. [illegible]

О. М. признался, что ждет расправы в шесть вечера, и кастелянша посоветовала мне потихоньку перевести часы. Мы это с ней сделали, и О. М. не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. «Смотри, — сказала я. — Ты говорил о шести, а теперь уже четверть восьмого»... Как это ни странно, обман удался, и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились.

Кастелянша очень точно запомнила этот случай и рассказала о нем соседке по лагерному бараку, литераторше из Ленинграда Е. М. Тагер. Промаявшись около двадцати лет по лагерям, Тагер получила после Двадцатого съезда реабилитацию и вернулась в родной город. Ей дали квартиру в том же доме, что Анне Андреевне, и там мы с ней встретились. И я, тоже случайно уцелевшая и сохранившая память, опознала в той, что рассказывала про случай с часами, чердынскую кастеляншу. Случайность цеплялась за случайность для того, чтобы я могла записать на этом листочке — дойдет ли он когда-нибудь к людям? — о том, что худшие ожидания чердынских ссыльных оказались правильными. Моя безымянная чердынская сестра умерла на Колыме от острого истощения. Но я никак не могу узнать про участь ее детей, от которых она отказалась, чтобы «хоть они жили»... Миновала ли их та судьба, которая обычно доставалась детям ссыльных и каторжан? Не пришлось ли им тоже расплачиваться тюрьмами и лагерями за своих родителей, пожелавших сохранить человеческое достоинство? И, наконец, сохранили ли дети то человеческое достоинство, за которое так дорого заплатили их родители?

Этого я не знаю и никогда не узнаю.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Мы ходили по Чердыни, разговаривали с людьми, ночевали в больнице, и я уже не боялась открытого окна. Только рука на перевязи напоминала мне о первом утре — или это была белая ночь? — и о том, как у меня в руках остался пустой пиджак. Когда в 38 году пришли чекисты и снова увели О. М., у меня опять в руках остался пустой пиджак — в спешке он забыл его взять.

За несколько дней в Чердыни О. М. очень успокоился, острое состояние прошло, но болезнь все же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы, но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в Чердыни, после случая с часами, он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться, все равно ничего не успеешь сделать, даже покончить с собою не так просто — «иначе никто не дался бы им в лапы живым»...

Возбуждение прошло, но слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насильственное и совершенно чуждое. Уже в Чердыни О. М. говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне: не его словарь. «Этого я не мог даже мысленно произнести», — таков был его довод в пользу реальности этих голосов. В каком-то смысле способность к анализу мешала ему бороться с галлюцинациями. Он не мог поверить в их внутреннее происхождение, считая, что галлюцинация должна каким-то образом отражать внутренний мир больного.

«Может, вытесненное?» — допытывалась я. Он твердо настаивал, что «вытесненное» у него совсем другое, а это постороннее. «Страхи — и то совсем не те». О. М. так сильно раскрывался в стихах, что в нем оставалось по крайней мере для меня очень мало темных мест — я говорю именно о «темных местах», потому что по-своему он был сдержанным человеком

и существовали темы, которых он почти не касался. Например, он не раскрывал ход стиховых ассоциаций, стихов вообще не комментировал, скупо высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине... Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством, и именно в этом смысле я говорю о сдержанности. Но назвать это «задержками» нельзя — это не был человек задержанных мыслей, чувств и ощущений, скорее наоборот... Да стоит ли вообще думать о «задержках», когда болезнь вызывается слишком сильной реакцией на действительность?

«Чей же это язык? Чьи слова ты слышишь?» Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы на ночные допросы. Они иногда, перемигиваясь, щелкали пальцами — символический жест, означающий «в расход», и обменивались отдельными устрашающими репликами. Ведь все их поведение тоже служило для застрашивания заключенных: они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. О. М. часто припоминал еще голос человека, выпускавшего его из «железных ворот ГПУ». О. М. называл его комендантом, но, может, это был просто дежурный их охраны. Самого выпускавшего он не видел, потому что находился в «вороне», но слышал, как некто проверяет документы прежде, чем выпустить из ворот машину, и голос вместе со всем обрядом произвел на него большое впечатление. Но главное — это внушительные речи следователя с его «преступлением и наказанием»...

«Голоса, — сказал он как-то мне, — это как будто «сборная цитата» из всего, что я слышал»... «Сборная цитата» — выражение Андрея Белого: каждого автора, говорил Белый, он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некой обобщенной «сборной цитаты», представляющей как бы квинтэссенцию его мыслей и слов.

Чтобы проверить, как О. М. ориентируется в действительности, я спрашивала, не слышит ли он голосов конвойных, Оськи, например, или мужиков, с которыми мы находились в больнице. О. М. возмутился: конвойные — простые деревенские парни, несущие страшную службу — «как кур во щи попались», а раскулаченных он принимал именно за то, чем они

были. «Обыкновенные люди этого говорить и думать не могут»... «Обыкновенные люди» и те, с кем он столкнулся «внутри», представлялись ему как бы двумя полюсами. Не раз и в Чердыни, и позже О. М. говорил: «Ты себе не представляешь, как они там подобрались»... При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те «внутри» — совсем особые: «чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание — обыкновенный человек этого не выдержит». В Чердыни он относил к людям «внутренней профессии» одного только коменданта. Это совпадало с оценкой ссыльных. Они предостерегали — с комендантом вести себя поосторожнее и поменьше попадаться ему на глаза: «Бог знает, что ему взбредет в голову». Это был человек гражданской войны: «Он всегда прислушивается к своему классовому чутью, — с ужасом сказал мне коротконогий марксист, — а это к добру не приводит, ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет». Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину за самоуправство. Инстинктивный ужас О. М. перед этим человеком был вполне обоснован.

О. М. мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступление, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, упрекающие его в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей, как подсудимых на будущем процессе, и взывал к совести того, кто их погубил. Как это ни странно, но слово «совесть», совершенно выпавшее у нас из обихода — оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала «классовым чутьем», а потом «пользой государства», — сохранилось и работало «внутри». Там постоянно угрожали подследственным «муками совести». Борис Сергеевич Кузин рассказывал, что, когда его «таскали», требуя, чтобы он стал стукачем, его запугивали арестом, помехами в работе, слухами, которые грозились распустить среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложения органов... Это слово, по-

явившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало, что их источник в ночных допросах. И «процесса» вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина О. М. тоже не выдумал и не почерпнул в темных сферах своего сознания — этой темы при мне касался следователь, объясняя, что не «поднимает дела» только по приказу свыше, а за этим последовал риторический вопрос: как же объяснить такое поведение людей, как не заговором?.. Наша реальность превосходит самое смелое и самое больное воображение.

Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью? И я, и О. М. думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызывали чувственную окраску — он не только думал, но и представлял себе, как все может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована и ее ведут сейчас на допрос. «Почему ты так думаешь?» — «Мне так кажется»... Гуляя по Чердыни, он искал труп Анны Андреевны в оврагах... Конечно, это безумие... А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спала ночей и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют — хорошо, если недонесение, но ведь можно пришить что угодно... Следовательно, обещавшему «не поднимать дела», верить было бы настоящим безумием, и даже подлостью. Вот Адалис, например: как я отшатнулась от нее, узнав, как ее вызывали по делу одного из ее мужей — она поверила следователю и тут же отреклась от ни в чем неповинного человека...

Была ли я больна, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания — пока что психологические и во всяком случае такие, что не оставляют никаких следов на теле — всех своих знакомых? Нет, болезнью тут и не пахло — всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя, кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки: «там за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, тень мою ведут на допрос»...

О. М. был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но

нужна ли подобная сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни?

Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказывалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськино «не положено»... Я приставала, она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: «Чего вы от меня хотите? Все они «оттуда» приезжают в таком состоянии»...

У меня сохранилось устарелое представление, что ссылать человека в бреду нельзя — беззаконие. И врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть, — сказал один из них. — Что она может? Ровным счетом «ничего». — «А что она за человек?» — спросила я. — «Не хуже других», — ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач. Ей не повезло — она попала в местность, куда посылали «оттуда», и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и «действовать по инструкции». Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжения начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их, а мне дала добрый совет: не добиваться, чтобы О. М. послали в Пермь на экспертизу и не отдавать его ни в какое лечебное заведение: «Это у них проходит, а там его загубят. Вы знаете, как у нас в таких местах»... Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как «это» называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных, какими условиями «внутри» обусловлена массовость заболевания. Повторяю, О. М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний; а люди знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче и их психика сохранялась несравненно лучше.

Через много лет в поезде, идущем на Восток, я попала в одно купе с молоденькой девушкой, врачом, которой тоже не повезло: она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное — 54 год — и девушка разговорилась. Куда идти?... Как спастись?... Ведь больше нельзя терпеть... «Главное, ничего нельзя сделать... Что врач?... Пишем, что прикажут, делаем, что прикажут»... К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести, а некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях, свидетельствах об инвалидности. А впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем «по инструкции», и нечего на это закрывать глаза.

ПРОФЕССИЯ И БОЛЕЗНЬ

Мне кажется, что для поэта слуховые галлюцинации являются чем-то вроде профессионального заболевания.

Стихи начинаются так: об этом есть у многих поэтов, и в «Поэме без героя», и у О. М. в ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О. М. пытался избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти... Он мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купанья. Но ничто ее не заглушало — ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате.

Анна Андреевна рассказывала, что когда пришла «Поэма», она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться — даже бросилась стирать, но ничего не помогло.

В какой-то момент через музыкальную фразу вдруг проступали слова и тогда начинали шевелиться губы. Вероятно, в работе композитора и поэта есть что-то общее, и появление слов

— критический момент, разделяющий эти два вида сочинительства.

Иногда погудка приходила к О. М. во сне, но проснувшись, он не помнил приснившихся ему стихов.

У меня создалось ощущение, что стихи существуют до того, как они сочинены. (О. М. никогда не говорил, что стихи «написаны». Он сначала «сочинял», потом записывал). Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова.

Последний этап работы — изъятие из стихов случайных слов, которых нет в том гармоническом целом, что существует до их возникновения. Эти случайно прокравшиеся слова были поставлены наспех, чтобы заполнить пробел, когда проявлялось целое. Они застряли, и их удаление тоже тяжелый труд. На последнем этапе происходит мучительное вслушивание в самого себя в поисках того объективного и абсолютно точного единства, которое называется стихотворением. В стихах «Сохрани мою речь», последним пришел эпитет «совестный» (деготь труда). О. М. жаловался, что здесь нужно определение точное и скупое, как у Анны Андреевны: «Она одна умеет это делать»... Он как бы ждал ее помощи.

В работе над стихами я замечала не один, а два «выпрямительных вздоха» — один, когда появляются в строке или в строфе первые слова, второй, когда последнее точное слово изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания в самого себя, тот самый, который подготовляет почву к расстройству внутреннего слуха, к болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает от своего автора, перестает жужжать и мучить его. Одержимый получает освобождение. Бедная корова Ио удрала от пчелы.

Если стихотворение не отстает, говорил О. М., значит, в нем что-то не в порядке или «еще что-то спрятано», то есть, осталась плодоносная почка, от которой тянется новый росток; иначе говоря, работа не завершена.

Когда внутренний голос умолкал, О. М. рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. Меня бывало недостаточно: я так близко видела эти метания, что О. М. казалось, будто я тоже слышала всю погудку. Иногда он даже упрекал меня, что я

чего-то недослышала. В последний воронежский период (стихи из Второй и Третьей тетрадей) мы шли к Наташе Штемпель или зазывали к себе Федю Маранца, обезьяноподобного агронома, прелестнейшего и чистейшего человека, готовившегося в скрипачи, но случайно в юности испортившего себе руку. В Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слышащие музыку. Со стихами он столкнулся впервые, но его музыкальное чутье делало его лучшим слушателем, чем многих специалистов.

Первое чтение как бы завершает процесс работы над стихами и первый слушатель ощущается как его участник. Первыми слушателями О. М. с тридцатого года были Борис Сергеевич Кузин, биолог, которому О. М. посвятил стихотворение «К немецкой речи», Александр Маргулис — это он, в сущности, распространил стихи первых двух тетрадей. Запомнив стихи с голоса или получив список, Маргулис читал их друзьям и знакомым, а имел он их несметное количество. О. М. сочинял бесконечные «маргулеты», стишки про Маргулиса, которые должны были начинаться со слов «старик Маргулис» и обязательно получить одобрение самого Маргулиса, и уверял, что у нищего старика Маргулиса (ему было тогда не больше тридцати лет) дома сидит еще более нищий старик, которого он тайком кормит. Сам Маргулис был настоящим человеком-оркестром и высвистывал самые сложные симфонии. Жаль, что потеряны самые лучшие «маргулеты» о том, как «старик» исполняет на московских бульварах Бетховена. И женился Маргулис на пианистке Изе Ханцын, прекрасной исполнительнице Скрябина. Маргулис в жизни любил музыку, стихи и приключенческие романы. Мне рассказывали, что умирая под дальневосточным небом, он рассказывал уголовникам всякие небылицы и приключения мушкетеров, а они его за это подкармливали.

Первым слушателем часто оказывался и Лева Гумилев — он жил у нас зимой 33/34 года. Начало Первой Воронежской тетради О. М. читал Рудакову, высланному в Воронеж вместе с ленинградскими дворянами, но вскоре ему удалось вернуться в Ленинград.

Случилось так, что у всех первых слушателей О. М. была трагическая судьба. Кроме Наташи, всем пришлось пройти через тюрьмы и ссылки. Федя, например, больше года сидел во

время ежовщины и вытерпел все, но ничего не подписал и попал поэтому в число счастливцев, выпущенных после падения Ежова. Вышел он из этого испытания больным и растерзанным человеком, а во время войны его снова сослали просто за то, что ему случилось родиться в Вене, откуда его увезли домой в Киев трех недель отроду.

Логически рассуждая, можно подумать, что если все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, то между их делами должна быть какая-то связь. На самом же деле никакой связи не было. Кузина «таскали» еще до нашего с ним знакомства в связи с делами биологов. Попался он в первый раз из-за каких-то своих шуточных стихов, которые тщательно от нас скрывал. Его вызывали на какие-то частные квартиры, где в отдельной, специально для этого закрепленной комнате сидел следователь и вербовал стукачей. Сел же он в первый раз еще в 32 году, а потом был взят вторично в один день с биологом Вермелем, — оба они числились неоламаркистами и были уже изгнаны из Тимирязевки.

Биолог Кузин, агроном Федя Маранц, сын расстрелянного генерала Рудаков и сын расстрелянного поэта Лева даже знакомы друг с другом не были. Единственное общее между ними — любовь к стихам. Очевидно, это чувство требует той степени интеллигентности, которая обрекала у нас людей на гибель или в лучшем случае на ссылки. Жить разрешалось только переводчикам.

Процесс работы над переводом прямо противоположен сочинению подлинных стихов. Я не говорю, конечно, о чуде слияния двух поэтов, как бывало с Жуковским или с А. К. Толстым, когда перевод вносил новую струю в русскую поэзию или переводные стихи становились полноценным фактом русской литературы, как любимая нами «Коринфская невеста». Такие удачи бывают только с настоящими поэтами, да и то очень редко, а просто перевод — это холодный и разумный версификационный акт, в котором имитируются некоторые элементы стихописания. Как это ни странно, но при переводе никакого готового целого до его воплощения не существует. Переводчик заводит себя, как мотор, длительными, механическими усилиями вызывая мелодию, которую ему нужно использовать. Он лишен того, что Ходасевич очень точно назвал «тайнослышанием». Перевод это занятие противопоказанное подлинному поэту,

созданное для того, чтобы предотвратить даже зарождение стихов.

В «Разговоре о Данте» О. М. говорит о «переводчиках готового смысла», выражая свое отношение и к переводческой работе и к тем, кто пользуется формой стихов, чтобы излагать свои мысли. Их О. М. всегда отделял от подлинных стихотворцев. Одно время у нас перестали читать стихи: «Стихи такая вещь, — сказала Анна Андреевна, — кто раз проглотит суррогат, навсегда как отравленный». К стихам вернулись и сейчас их читают, как никогда, но только потому, что научились отличать их от всех продуктов переводческого ремесла.

Стихи — как слово. Сознательно выдуманное слово лишено жизнеспособности. Это доказано всеми неудачами словотворчества — наивной индивидуалистической игры с божественным даром человека — речью. К фонетическому комплексу, называемому словом, прикрепляют произвольное значение, и получается блатной язык или та словесная шелуха, которой пользуются в корыстных целях жрецы, заклинатели, правители и прочие шарлатаны. И над словом, и над стихами совершают это надругательство, чтобы пользоваться ими, как хрусталиком гипнотизера. Обман рано или поздно будет разоблачен, но человеку всегда грозит опасность попасть под обаяние и власть новых обманщиков, другой стороной повернувших свой хрусталик.

«ВНУТРИ»

Что происходило во внутренней тюрьме во время следствия? О. М. много говорил об этом со мной в Воронеже и старался отделить галлюцинации и бредовые представления от фактов. Острой наблюдательности он не терял ни на минуту. Я убедилась в этом, когда на свидании он сразу задал мне вопрос о том, что за пальто на мне, и сделал из моего ответа, что пальто мамино, правильный вывод: «значит, ты не была арестована»...

Но болен он был, и далеко не все наблюдения и выводы оказались правильными. Мы тщательно отбирали с ним крупицы реальности, и это давалось нам не легко.

У нас был один неплохой критерий подлинности того, что он запомнил — во время свидания следователь успел коснуться многих вопросов. Он преследовал при этом явную цель: внушить мне свою точку зрения на все дело в целом и на различные аспекты следствия. Я получала, так сказать, авторитетные разъяснения, как следует трактовать происшедшее. Существовало много женщин, подобных Адалис, которые подобные разъяснения принимали с благодарностью. Большинство делало это из чувства самосохранения, но кое-кто от всей души. Итак, во время свидания я была как бы пластинкой, на которой и следователь, и О. М. торопливо записывали свою версию происходившего, чтобы я сообщила о ней на воле. Следователь сознательно старался припугнуть меня, а через меня и тех, с кем я буду разговаривать. Но он прогадал, как и другие деятели нашей эпохи, которым в голову не приходило, что их жертвы что-нибудь запомнят и посмеют подойти к событиям не с официальной, а с собственной меркой. Террор и самовластие всегда близоруки.

О. М., благодаря своей возбудимости, оказался, вероятно, легкой добычей, и особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в «двухместной одиночке». Следователь прокомментировал одиночку следующим образом: «одиночное заключение у нас запрещено из гуманных соображений». Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках. Зато, когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказа. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей. Люди, выходившие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом, о котором в 34 году, до ареста О. М., мы еще не знали...

Сосед О. М. по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал О. М., что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, «консультировал»

О. М., то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, О. М. попадал в лапы к своему «соседу», который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно, и на его приставания О. М. спрашивал: «Отчего у вас чистые ногти?» Этот заключенный имел глупость сказать, что он «старожил» и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже О. М. якобы с допроса, и О. М. заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему это сказал.

Следователь, парируя сообщение О. М., что он содержался в одиночке, заявил о гуманном запрещении одиночек и прибавил, что О. М. был в камере с другим заключенным, но так «обижал своего соседа», что того пришлось перевести. «Какая заботливость!» — успел вставить О. М., и перепалка на эту тему кончилась.

О. М. на первом же допросе признал авторство инкриминируемых ему стихов — значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подследственных, чтобы жизнь им стала не мила. До 37 года у нас щеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными — избиениями. Не слышала я после 37 года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди удостоенные одиночки на Лубянке после 37 года, живыми оттуда не выходили.

О. М. подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по многу часов. Большая часть ночи уходила не на допрос, а на ожидание у дверей кабинета следователя под конвоем. Однажды, когда допроса не было, О. М. все-таки разбудили и повели к какой-то женщине, и она, продержав его много часов у себя перед дверью, изволила спросить, нет ли у него жалоб. Бессмыслица жалоб так называемому прокурорскому надзору всем ясна, и О. М. этим своим правом не воспользовался. К прокуроршe его таскали, вероятно, чтобы соблюсти формальность и сохранить для него бессонный режим и в ту ночь, когда следователь отсыпался. Эти ночные птицы вели дикий образ жи-

ни, но все же поспать им удавалось, хотя и не в те часы, когда спят обыкновенные люди. А пытка бессонницей и направленный на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь...

На свидании я заметила воспаленные веки О. М. и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь: читал, мол, слишком много, но тут же выяснилось, что книг О. М. в камеру не давали. С больными веками пришлось возиться все годы — вылечить их так и не удалось. О. М. уверял меня, что воспаление произошло не только от ярких ламп, но что ему будто-бы пускали в глаза какую-то едкую жидкость, когда он подбегал в камере к «глазку». Всякое беспокойство ведь претворялось у него в движение, и оставшись один в камере, он метался по ней... Мне говорили, что «глазок» защищен двумя толстыми стеклами, поэтому пустить жидкость через него никак нельзя. Возможно, что эта едкая жидкость принадлежит к ложным воспоминаниям, но достаточно ли одной яркой лампы, чтобы причинить такое стойкое заболевание век?

О. М. кормили соленым, но пить не давали — это делалось сплошь и рядом с сидевшими на Лубянке. Когда он требовал воды у того же часового, подходя к «глазку», его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубаху. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом: он записал, как она выглядит и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным.

На свидании я заметила, что обе руки у О. М. забинтованы в запястьях. «Что это у тебя с руками?» — спросила я. О. М. отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что О. М. пронес в камеру запрещенные предметы, а это карается по статуту тем-то... Оказалось, что О. М. перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие «Жилетт». Дело в том, что Кузин, выпущенный в 33 году после двухмесячной отсидки (его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией), рассказал О. М., что в таких переделках больше всего не хватает ножа или хоть лезвия. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями: их можно запрятать в подошве. Услыхав это, О. М. уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек.

Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине двадцатых годов Лозинский показал нам приготовленный на случай ареста мешок с вещами. Инженеры и люди других «подударных профессий» делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления — совершенно естественно, что люди думают о будущем, молодцы... Таковы были наши будни, и заблаговременно упрятанное в сапоге лезвие дало О. М. возможность вскрыть себе вены: изойти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни...

Работа, разрушающая психику, велась на Лубянке по всей линии, в ней была система, а так как наши органы тоже бюрократическое заведение и ничего без инструкций не делают, то существовали, вероятно, и соответствующие инструкции. Нельзя ничего объяснять инстинктами злобного персонала, хотя людей, конечно, подбирали подходящих, но завтра такой же персонал может оказаться добрым — тоже по инструкции... Среди нас на воле ходили слухи, что Ягода завел тайные лаборатории, насадил там специалистов и всячески экспериментирует: пластинки, наркозы, внушение. Проверить эти слухи нельзя — быть может, это наше больное воображение или сознательно пущенные среди нас басни, чтобы держать всех в руках...

О. М. слышал у себя в камере доносившийся издалека женский голос, который он принял за мой. Это были жалобы, стоны и торопливые рассказы, но настолько неясные, что слов он не мог разобрать. Тогда он решил, что меня действительно арестовали, как ему намекал следователь на допросах. Обсуждая с ним это, мы колебались, можно ли приписать этот голос слуховой галлюцинации. Почему он не разбирал слов? Ведь при слуховой галлюцинации слова слышались ему даже чересчур ясно, а множество людей, прошедших в те годы через внутреннюю тюрьму тоже слышали голоса и крики своих жен, которые потом оказывались на свободе. У всех, что ли, были галлюцинации? А если так, то чем это достигалось? Поговаривали, будто есть у них в арсенале пластинки с голосами типовой жены, матери, дочери, которые используются для сокрушения духа арестованного... После того, как утонченные пытки и психологические методы сменились примитивнейшими, никто больше не жаловался, что слышал голос своей жены. О более грубых приемах я знаю: показывали, например, в щелку избитого человека, окровавленного, в страшном виде, и говорили, что это сын или муж арестованной. Зато, про издали доносящиеся голоса уже не говорил никто... Были ли такие пластинки? Мне этого знать не дано и узнать не у кого. Поскольку у О. М. вообще были после выхода из тюрьмы галлюцинации, я склоняюсь к мысли, что и этот голос принадлежал к тем внутренним голосам, которые мучили его в Чердыни. А про лабораторию наркозов слухи ходят и сейчас.

Все эти методы возможны только там, где с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром: ничего, кроме расписки в книге передач, он об оставленных на воле людях не знает, но ведь и передачи разрешаются далеко не всем. Первый способ воздействия на заключенного — это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связывающей его с миром. Вот почему в нашей жизни лучше было не иметь привязанностей: насколько крепче чувствует себя человек, которому не приходится ловить на допросах мнимые обмолвки и намеки следователя, чтобы узнать о судьбе близкого человека. У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону. Несмотря на предрешенность приговора, кое-какую роль умная самозащита все же играла. Одному моему приятелю удалось поразительно перехитрить следователя, правда, провинциального. Он после долгой борьбы согласился у себя в камере записать все басни, которые ему приписывали. Ему выдали бумагу, и он понаписал все, что с него требовал следователь, но своей подписи под показаниями не поставил, а следователь на радостях этого не заметил. Приятель мой родился, конечно, под счастливой звездой, потому что в это время сняли Ежова. Дело не успело дойти до коллегии, приговора не вынесли, и он добился пересмотра ввиду того, что отсутствие подписи делало его показания недействительными. Он принадлежит к тем немногим, кто после падения Ежова вышел на волю. Родиться под счастливой звездой еще недостаточно — рекомендуется еще не терять голову, а легче всего это сделать одиноким людям...

ХРИСТОФОРЫЧ

Следователь О. М., пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный — ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. Почему он так пыжится? — спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке, но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он, как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие христофорычи, зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека, не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан.

Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться, иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 37 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал О. М., что для поэта полезно ощущение страха — «вы же сами мне говорили» — оно способствует возникновению стихов, и О. М. «получит полную меру этого стимулирующего чувства»... Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время — не «получили», но «получите». В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков?

У меня с О. М. появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так: «У этого Христофоровича все перевернуто и навыворот». Чекисты действительно были передовым отрядом «новых людей» и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было.

Основной прием, которым действовал следователь, запугивая О. М., оказался все же абсолютно примитивным: назвав чье-нибудь имя — мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича — он сообщал, что получил от нас такие-то показания.. О. М. начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо, а следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что «они уже у нас», чтобы через минуту отречься от своих слов: «я вам этого не говорил». Неизвестность в таких делах всегда разрушительна для подследственного, и она возможна только при наших условиях заключения. Христофорович, играя в кошки-мышки с О. М. и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны... А потом, сидя у себя в камере, разбирайся, правда это или ложь...

Следователь, «специалист по литературе», усиленно щеголял своей осведомленностью: всех он, мол, знает и в курсе «всех ваших дел». Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. одного — «двоеженцем», другого — «исключенный», одну из бывавших у нас женщин — «театральной»... Эти три прозвища он употребил при мне на свидании, но О. М. говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое: ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Характерно, что ташкентский самоубийца, по словам его дочери, тоже «знал всех и для всех придумывал клички»... О. М. на клички не обращал внимания — он понимал, чего этим хочет достичь следователь.

О. М. утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщина и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества

характерны типовые «разговорчики». Говорят, что научные силы Лубянки создавали целые простыни таких классовых разговорчиков, и на них-то следователь и пытался поймать О. М. «Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже». Считалось, что О. М., как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их лоно. Фамилия гипотетического собеседника называлась первая попавшаяся, но обязательно очень распространенная, вроде Иванова или Петрова, а в случае надобности — Гинзбурга или Рабиновича. Подследственному кролику полагалось вздрогнуть и начать мучительно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичей, с которыми он мог поделиться своей заветной заграничной мечтой. Такая мечта в нашей юриспруденции, если не полное преступление, то во всяком случае отягощающее обстоятельство, а иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого, а с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться. К такому же типу схематических вопросов относится: «Такому-то вы жаловались, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас». Ясно, что на такие крючки О. М. не поймался. Работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем?... был бы человек, дело найдется...

Следствие Христофорович вел, как подготовку к «процессу», о чем он упомянул при свидании — «мы решили не поднимать дела» и тому подобное... По нашим обычаям материала на «дело» хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия — объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. О. М. огорошил его неожиданным ответом: больше всего, сказал он, ему ненавистен фашизм...

Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что О. М. не собирался исповедываться перед следователем, но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно и он махнул рукой на все... Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем О. М. усматривает фашизм в нашей жизни — эту фразу он повторил и при мне на свидании, но — удивительное дело! — удовольствовался уклончивыми отве-

тами и уточнять ничего не стал. О. М. убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила, но в 38 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может, О. М. заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягода со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 34 году, когда велось следствие о стихах О. М., уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте — вот она власть готовых концепций! — мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы — уже знавшие по процессам двадцатых годов, чего можно ожидать от Вышинского!... Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофоровича, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель, и О. М., может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательное свойство эпохи — все эти новые люди, убивавшие и погибшие, признавали только свое право на мысль и суждение.

Любой из них расхохотался бы, если б узнал, что человек в сползающих брюках и без единой театральной интонации, тот самый человек, которого к ним приводят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи О. М., что он изволил запомнить их наизусть — ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыни, — но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу — прошлую, настоящую и будущую — если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди

заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушать народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать — каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки, но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи О. М. были настоящим преступлением — узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей: право на суждение определяется и будет определяться служебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил чем плох роман Пастернака: доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом.

Самый факт написания стихов Христофорыч называл «акцией», а стихи — «документом». На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного «документа» ему не приходилось видеть никогда. О. М. не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в одиннадцать, включая меня, двух братьев — моего и своего — и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, О. М. перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу, чтобы у кого-нибудь не появилось искушения искать среди них предателя. Следователь выяснил, как каждый из слушателей реагировал на стихи. О. М. утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других. Кроме этих одиннадцати, стихи о Сталине слышали еще человек семь-восемь, но следователь не назвал их имен и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский.

Протоколы О. М. подписывал, не перечитывая, за что я ругала его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне.

«Вероятно, доверял вам», — злобно сказала я... И действительно, я и сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было довериться: дело по нашим условиям было совершенно реальным, материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла.

В начале следствия, как заметил О. М., следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихов как террористический акт и угрожать расстрелом. Вначале же он грозился расстрелом не только автору, но и «всем сообщникам», то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией «сохранить». Я не видела следователя в первой фазе — угрожающей — и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия и, вероятно, не только у нас.

Следователь выяснил также отношение О. М. к советской власти, и О. М. сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме Чека. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезмерное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с О. М. вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и «сотрудничают с ними» на допросах... И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написала этот фельетон, или по инструкции свыше, во всяком случае забывать его не следует.

В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 34 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко — как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О. М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько

одинаковых дверей — их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного, в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего христофорыча.

Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали — он все за них хватался, — отвечал невпопад — ни одного четкого и ясного ответа, — порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное... Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного, но то, что сделал Павленко, превосходит всё. Никакой Булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но во всяком случае не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей двадцатого века? С песнями валиться во рвы и общие могилы?... Смело задыхаться в газовых камерах?... Улыбаясь путешествовать в телячьих вагонах?... Вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве?... Или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования?...

А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил О. М.: с революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.

КТО ВИНОВАТ

Первый вопрос, заданный следователем: «Как вы думаете, почему вас арестовали?» После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. О. М. последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуются: любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры», и тут же их записал. «Квартиру» О. М. сообщил без восьми строчек — «наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей... Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозное баюшки-баю колхозному баю пою», и в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. О. М. признал авторство. Следователь потребовал, чтобы О. М. прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант: «мы живем под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца». О. М. объяснил, что таков был первый вариант. После этого О. М пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку.

О. М. видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи — полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны.

Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти шестнадцать строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения: замены слов, пропуски... Если бы О. М. обнаружил такие искажения,

он мог бы наверное сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у О. М. не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару... Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать?...

Равнодушие О. М. объяснялось и другим: он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него будет для этого время. Мы жили в мире, где всех «таскали туда», требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях. Таскали женщин, красивых и некрасивых, предназначая совсем иные функции для красоток и дурнушек и соблазняя их не одинаковыми, а разными наградами. Таскали людей с биографическими и психическими изъянами — одного пугали тем, что он сын чиновника, банкира или офицера, а другому сулили ласку и покровительство... Таскали тех, кто боялся потерять службу или хотел сделать карьеру, и тех, кто ничего не хотел и не боялся, и тех, кто был готов на все... Таская, преследовали не одну только цель добывания информации. Ничто не связывает так, как общее преступление: чем больше запачканных, замешанных, запутанных, чем больше предателей, стукачей и доносчиков, тем больше сторонников у режима, мечтающих, чтобы он длился тысячелетиями. И когда всем известно, что «таскают», само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают, каждый забивается в свой угол и молчит, а в этом — неоценимое преимущество для властей.

Они взывали к сыновним чувствам Кузина: «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем»... Он отвечал, что желает смерти своей матери, и собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что «мы вас завербовали и вы не сможете смотреть в лицо людям»...

Б., художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием не прийти не смел никто, хотя вызовы были не официальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности»... Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в двадцатые годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы... Чего только не делали...

Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая «подумать». Из вызовов тайны не делали: они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки, они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало — ведь подрастали новые поколения.

У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами Старшие страдали оттого, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующие поколения даже не понимали, чем такая расписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом. «Если б я что-нибудь узнал, я бы сам к вам пришел, но я и узнать ничего не могу — кроме службы никуда не хожу»... Все эти рассказы идут от тех, кто отказался «сотрудничать». Сотрудничеством у нас называлось все на свете. Но какой процент отказывался? Этого учесть нельзя Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора Кроме людей, принуждавшихся к «сотрудничеству», были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием Перед Двадцатым съездом я сама слышала, как инспектор Министерства Просвещения, приехавший в Чувашский Пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще больше читаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится...

На почве вызовов у людей развились две болезни: одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов О. М. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас: вдруг я подумаю, что он выманивает список

для Лубянки! Ш., когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 34 году, когда О. М. уже находился в Воронеже, ко мне явился М., насупленный и мрачный: «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась.

Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривали: «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать». А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зенкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь, но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили, и поэтому мы не такие, как все.

Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке — подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

АДЪЮТАНТ

«Стансы» из «Воронежских тетрадей» появились так: некто Длигач напечатал в одном из толстых журналов стихи, в которых обещал распознать классового врага по одному только звуку его лиры. В этих стихах упоминалось «Слово о Полку».

С Длигачем мы познакомились в Киеве в середине 20-х годов, когда кучка молодых журналистов так задурила голову идиоту редактору местной газеты, что он согласился напечатать несколько статеек О. М. В центре это уже было невозможно.

Жена Длигача, прозрачная беляночка, из тех, что всегда трогали О. М., кончила ту же гимназию, что я. Жили они неподалеку от моих родителей и, приезжая в Киев, мы часто встречались с ними. Через несколько лет Длигач очутился в Москве, в редакции «Московского Комсомольца» с О. М. Работа у него не ладилась, московские лихачи затирали провинциала. Однажды Длигач прибежал к нам сияющий — наконец-то ему повезло: он нашел оброненное письмо своего врага, одного из руководителей газеты. Это было типичное письмо деревенского парня, ушедшего в город на заработки. Родным, знакомым, друзьям, сверстникам и соседям кланяется. Мамаше сообщает, что начальство его, слава Богу, любит и поощряет. Без милости и без работы он не останется. А там, гляди, устроится попрочнее, заслужит награду, ему комнатку дадут и возьмет он к себе кого-нибудь из братишек, чтобы и его в люди вывести.

Письмо было вполне человеческим и в нем перечислялись личные интересы ответственного комсомольского газетчика, а на это он права не имел. Мало того, мальчишка упоминал Бога — это комсомольским вождям не разрешалось. Даже такие отработанные сочетания как «слава Богу» считались данью религии. Парень явно жил двойной жизнью и говорил на двух разных языках. В какой момент переходят они с языка учрежденческого и высоко идеологического на язык домашний? Самый крупный из наших драматургов все мечтал написать пьесу о двуязычьи и об этом критическом моменте. Но он принадлежал к старшему поколению и поэтому замысла своего не осуществил. А руки у него чесались и он все спрашивал: «Когда это бывает? На улице или уже дома?»... Через много лет к этой теме подошел другой писатель, гораздо моложе, рассказав о заседании сельсовета. У него мужики переходили на казенную речь по звонку председателя, открывающего собрание.

Длигач готовился во всю использовать находку — письмо двуязычного идеолога комсомольской газеты, чтобы разоблачить своего врага перед высшим начальством. Он пришел к нам похвастаться своей удачей и показал письмо О. М. Тот выхватил его и бросил в печку.

Поведение Длигача типично для той эпохи — конца двадцатых и начала тридцатых годов. В борьбе за чистоту идеологии начальство всячески поощряло «мужественных разоблачителей», которые, «не взирая на лица», обнаруживали «пережитки» и

остатки старой психологии у своих сослуживцев. Репутации лопались, как мыльные пузыри, а разоблачители карабкались вверх по служебной лестнице. Каждый из деятелей, поднимавшихся в те годы, хоть разок да использовал этот прием — то есть разоблачение своего начальника. Иначе как займешь его место? Письмо могло сослужить Длигачу большую службу, но к нашему удивлению до него дошли доводы О. М., и он покинул нас печальный, но не рассерженный, хотя его надежды на лучшее будущее сгорели в печке. А может все-таки он рассердился, потому что после этого инцидента мы не видели его несколько лет.

Длигач снова появился уже на Фурмановом переулке зимой 33–34 года. Привела его Диночка, оставленная нам в наследство Яхонтовым, кромечная актриска, маленькая, нелепая, но очень милая женщина. Вспомнили письмо: Длигач благодарил О. М. за то, что он спас его от низости. Он быстро втерся в доверие, старая комсомольская история перестала поминаться — чего только не творили мальчишки в те времена, нельзя же преследовать их всю жизнь за один поступок...

В 33 году Длигач вертелся и возле Безыменского, устраивая через него какие-то свои газетные делишки. Он то и дело предлагал О. М. посоветоваться относительно разных дел с Безыменским: О. М. кипел еще историей с Саргиджаном и Толстым... Почти перед самым арестом Длигач уговаривал О. М. пойти к какой-то прокурорше, приятельнице Безыменского, чтобы рассказать ей, что послужило поводом к пощечине Толстому. Не знаю, что означало это шебуршение, но мне известно, что О. М. прочел Длигачу стихи о Сталине.

Наутро после ареста, очень рано, нам позвонил Безыменский. Я объяснила — конечно, иносказательно, но этот язык был понятен всем — что случилось ночью. Безыменский присвистнул и повесил трубку. Ни до этого, ни после он никогда нам не звонил. Что ему рассказывал Длигач про О. М.? Может, он прослышал что-нибудь об аресте и позвонил, чтобы проверить? Но от кого мог он узнать об этом? Кто об этом знал? Ведь подписал ордер Ягода, а времени после увоза О. М. прошло слишком мало — едва ли несколько часов, чтобы успел распространиться слух. Почему он позвонил?

Последний раз я видела Длигача у нас в передней на Фурмановом переулке в день, когда я вернулась со свидания в кабинете

следователя. Длигач ушел добывать деньги, которые я с него потребовала, и больше не вернулся. Когда Диночка собралась к нам в Воронеж, Длигач устроил ей страшную сцену, требуя, чтобы она отказалась от своей затеи. Диночка возмутилась, и они расстались. Не помня себя от удивления, Диночка рассказывала нам в Воронеже про неожиданную истерику своего возлюбленного и про разрыв их отношений, длившихся, кажется, несколько лет. После войны до меня дошло, что Длигач повесился. Это был испуг во время кампании против «космополитов». Храбростью Длигач не отличался.

О. М. не искал предателя. Он говорил, что виноват во всем сам — в наши дни нельзя искушать людей. Недаром Бродский — тот, который сидел в кресле при аресте О. М. — просил как-то О. М. не читать ему опасных стихов, так как он будет вынужден о них донести... «Не Длигач, так другой», — с поразительным равнодушием говорил О. М. Это я прожужжала ему уши относительно Длигача. Мне очень хотелось все свалить на эту блоху, потому что все другие варианты были действительно непереносимыми. Гораздо легче оклеветать ничтожного Длигача, чем заподозрить какого-нибудь настоящего человека, которого мы считали другом. И все же я не уверена, что доносчиком был он.

Во время следствия имя Длигача не упоминалось. Быть может, берегли агента, но возможно и другое: стукачи, перечислявшие, кто нас посещает, не встретились с Длигачем, потому что он обычно заходил днем с Диночкой, а она вечером бывала занята в театре и вообще дичилась наших знакомых и предпочитала заставать нас одних. Стукачи же всегда информировали органы о всех посетителях — прожектор направлялся не только на одного человека, а на весь его круг. И в нашем случае Христофорович знал почти всех, кто у нас бывал.

Способен ли был Д. с голоса запомнить шестнадцать строчек? Я никогда не слыхала, чтобы он повторял услышанные с голоса стихи. Стихотворение о Сталине О. М. прочел при нем только один раз и, вопреки своему обычаю, в присутствии другого лица, художника Г. Имя этого художника на следствии не всплывало — следователь его не называл. А самого существенного мы восстановить не смогли: в каком варианте слышал Длигач это стихотворение — с «мужикоборцем» или без. Скорее всего — без. Д. бывал у нас редко, он зашел к нам незадолго до ареста, когда первый вариант был уже совсем от-

ставлен. А единственный человек, которому О. М. разрешил записать стихи, имел первый вариант, но судя по всей жизни, этот человек вне подозрения. Может, кто-нибудь похитил у него эти стихи? Предположение не лишено эффектности, но, по-моему, пути передвижения из каждого дома в органы были гораздо более примитивными.

Поведение Длигача после ареста О. М. могло объясняться трусостью или знаменитой болезнью — страхом быть принятым за стукача. По своей биографии он больше всех подходил к этой роли, но в том-то и ужас, что этим занимались люди, от которых никак нельзя было этого ожидать. Сколько в этой профессии насчитывалось вполне приличных дам и юношей из хороших семей — им ведь всякий доверится! — или мыслящих, болеющих за науку и искусство людей, проникающих в самую душу тонкими, умными, изящными разговорами. И к этой роли они подходили несравненно лучше, чем сиволапый Длигач! А в конце концов, Бог с ним. Он лишь жалкая букашка, которой довелось жить в страшное время. Разве человек действительно отвечает за себя? Даже поступки, даже характер его — все находится в лапах у эпохи. Она сжимает человечка двумя пальцами и выжимает из него ту каплю добра или зла, которая ей потребна.

Еще одна проблема: когда стали известны органам стихи о Сталине? Они были написаны осенью 33 года, арест произошел в мае 34 года. Может, после пощечины Толстому власти активизировали слежку, порасспросили агентов и только тогда узнали про стихи? Или они пролежали целых полгода без движения? Последнее кажется немыслимым. А Длигач появился у нас довольно поздно — среди зимы — и втерся в доверие к весне.

И последний вопрос: виновата ли я, что не повыгоняла всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О. М., как делало большинство моих современниц, хороших жен и матерей? Мою вину умаляет только то, что О. М. все равно бы вырвался из-под присмотра и прочел недопустимые стихи — а с нашей точки зрения все стихи недопустимы — первому встречному. Режим самообуздания и самоареста был не для него.

О ПРИРОДЕ ЧУДА

Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела О. М. что-то происходит: «Какая-то особая атмосфера — суета, перешептывания»... Оказалось: дело внезапно пересмотрено, новый приговор — «минус двенадцать». Все это в неслыханных темпах — пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде: когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость.

Чем сильнее централизация, тем эффектнее чудо. Мы радовались чудесам и принимали их с чистосердечием восточной, а может, даже ассирийской черни. Они стали частью нашего быта. Кто только не писал писем в высшие инстанции на самые металлические имена? А ведь такое письмо является, так сказать, прошением о производстве чуда. Грандиозные груды писем, если они сохранятся — настоящий клад для историка: в них запечатлелась жизнь нашей эпохи в гораздо большей степени, чем во всех других видах письменности, потому что они говорят об обидах, оскорблениях, ударах, ямах и капканах. Но чтобы их разобрать и выловить из-под словесного сора мелкие крупицы реальности, все же понадобится сизифов труд. Ведь и в этих письмах мы соблюдали особый стиль и утонченную советскую вежливость и говорили о своих несчастиях на языке газетных передовиц. А если только взглянуть на эти кипы писем «наверх», можно безошибочно констатировать, что в чудесах ощущалась насущная потребность, иначе говоря, жить без чудес было невозможно. Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо лишь мгновенная вспышка, не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хромоногого? Глиняная лепешка, горсточка пыли... Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах.

История с О. М. открыла целую серию передававшихся из

уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной.... А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя...

Е. Х. сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами: «Улита едет... Пока до нас доползет, снег выпадет»... И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье: «Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Здесь зима знатная».

Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней, но еще до его прихода на работу нам рассказали о ней две девушки — телеграфистка и регистраторша, с которыми О. М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали «хозяина». Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам: «А может это ваши родственники бахнули?... Я почем знаю!» Два-три дня он не выпускал О. М. — и это стоило нам не мало волнений — пока, наконец, не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками ссыльного, сданного ему под расписку. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу — на этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. «Безотлагательно!» — сказал он и мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда был родом. Отец Леонова работал там тюремным врачем. «Кто знает, может еще понадобится тюремный врач», — сказал О. М. и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность — дал казенную подводу, чтобы перевезти вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи — вероятно, он даже счел нас чем-то вроде «своих», потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло «сверху»...

Зато с кастеляншей все вышло наоборот — она потеряла к нам всякое доверие. Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили? — прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усомнилась, что у О. М. должны быть какие-то страшные заслуги, иначе «они» не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Опыт у кастелянши был глубже, чем у нас, а в нашей стране у людей развился странный, но вполне понятный эгоцентризм — они соглашались доверять только собственному опыту. Ссыльный О. М. был для нее «свой» — через три года она уже узнала, что далеко не всякий ссыльный может быть зачислен в категорию «своих» и что при ссыльных тоже надо держать язык за зубами; неожиданно помилованный — для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем — он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссыльные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специально засланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на кастеляншу не приходится — я бы так же чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия — первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители.

И для меня кастелянша была «чужой», и я не понимала многого, что она говорит. У нас такие исковерканные правовые представления, мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, что между «познавшим» и «еще не познавшим» в сущности не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимала, но еще недостаточно. Кастелянша утверждала, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии и, когда ее забрали, являлась частным лицом: «И они это знали!» А я, дикарка или одичавшая от всего, что мне вливали в уши, не понимала ее доводов: если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, почему ж она обижается, что ее держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается... Так я тогда думала. «Наши нормы», как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы не действующих, но все же потенциально активных противников. Государствен-

ной пропаганде я поддавалась очень туго, но все же и мне успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения нельзя было не сослать О. М.: «Должно же государство защищаться? Что ж будет иначе — ты пойми»... Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, что не напечатанные и не прочитанные на собрании стихи равносильны мысли, а за мысли ссылать нельзя. Только собственное несчастие раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу.

Мы некогда испугались хаоса и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаломученные людские потоки. Этот страх самое, пожалуй, стойкое из наших чувств — мы не оправились от него и поныне и он передается по наследству. Каждому — и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющееся: «нас первых повесят на столбе», я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут.

Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не было никаких неожиданностей, а все текло гладко и планомерно, — вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не можем, значит нужно благодарить за тот, что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае: нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы... Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали — молчанием или одобрением — сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей — какой-нибудь кастелянши, поэта или болтуна.

Так мы жили, культивируя свою неполноценность, пока на собственной шкуре не убеждались в непрочности своего бла-

гополучия. Только на собственной шкуре, потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными и ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса.

К МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во время переселения народов или эвакуации... Пристань в Перми. На мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу в вырытых в песке ямках тлели угли: здесь варили детям похлебку. Взрослые жевали корки. Их везли мешками про запас — хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачиванье столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках где лучше, и еще вздыхали по своим заколоченным избам.

Раскулаченных в полном смысле слова здесь почти не было. Те давно уже были высланы и доставлены по месту назначения. А эти — периферийные волны — снялись с места в момент испуга и заколобродили по всей стране — куда угодно, только прочь из родной деревни... Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов: гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачивание, эвакуация. Вплоть до войны вокзалы были еще забиты снявшимися с места крестьянами. После войны опять потянулись люди, но уже не в таких количествах, в поисках хлеба и работы. Всякая семья, где сохранился мужчина, рвалась туда, где, по слухам, был хлеб и спрос на рабочие руки. Иногда переселялись организованно, то есть предварительно завербовавшись.

Узнав на опыте, что хрен редьки не слаще, бросались обратно или искали нового прибежища. Всякое насильственное переселение — классов и национальностей — вызывало волны добровольных беженцев. Дети и старики мерли, как мухи.

Насильственные переселения — это нечто абсолютно новое, принесенное нам двадцатым веком. А может, египетскими или ассирийскими завоевателями? Я видела поезда с бородачами с Украины и с Кубани, а потом запертые теплушки «зэков», отправляемых на Дальний Восток. А потом поезда с немцами Поволжья, татарами, поляками, эстонцами... И снова теплушки с зэками. Они шли всегда — иногда гуще, иногда реже. Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 35 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшимися на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе — такие беспомощные и в районе проживут... На вокзале нас встретила обычная картина — ступить некуда, все забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи — внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», — сказала Анна Андреевна. — «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» — сказала, поджимая губы, Таня Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Эмильевича, младшего брата О. М.

Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди «блуждают и телом и духом». Это — молодость народа, творческий период его истории, отзывающийся на много столетий и двигающий его культуру. И мы тоже «все как будто странники» и не только «как будто», а на самом деле. Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещают мыслители? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все-же я не могу сказать — нет. Всем народом, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется, очень существенно.

Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пере-

садка в Перми далась нам не легко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу нас не пустили, потому что у О. М. не было паспорта: его отняли при аресте. Паспорт — это привилегия горожанина; деревня у нас беспаспортная, так что чуйкам в гостиницу не попасть, так же, как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никогда нет мест и для обыкновенных граждан.

Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей — ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей. Это Москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но Пермь еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь: продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду.

Пропорционально усталости у О. М. нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия — с конвоем и без — затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окошечку МГБ в городе — мы еще бродили по улицам — «поговорить о деле». Дежурный отгонял его: «Уходи прочь... Целыми днями к нам такие лезут»... О. М. вдруг опомнился: «Как манит это проклятое окошко», — сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетерианским, но «магнит» действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, «дела» и расстрелы?... Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливцы были.

Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссыльными, а, по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через рокочущие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами — народ не любил привилегий, а ведь толпа на пермской пристани

не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба часто бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки — одни не получали ничего, другие мало, а третьи с излишком. «У нас голод, — объяснил нам в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении, Евгений Яковлевич. — Но сейчас все по-новому. Всех разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает»... А один молодой физик — это было после войны — поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный в распределителе тестя и похваливал: «Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет»... Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали получки от низших категорий. По иронии судьбы нам полагалось на этот раз получать билеты в самой «чистой» из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас к тому же был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. «Начальничек», то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе — ничего с этим не поделаешь... Зато пароходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала — эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди: такие «главные», что даже на чай не дают...

Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну — ехали, как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни О. М. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться — трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал и к тому же совершенно спокойно. Между прочим, он ослепил меня целым фейерверком сопоставлений «чудотворных строителей» и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорит на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О. М. фениксом, который, скорее, возрождается из кучи пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти

не возвращались; во всяком случае он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась — на пароходе был только решающий перелом. До поздней осени оставалась повышенная чувствительность, утомляемость — он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал, даже в книги Данте почти не заглядывал. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность — заболела я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой — люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть, точной цифры я не помню... Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы болеем. После сыпняка я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки, и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараки еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике: всем, мол, такие вещи нужны... «Как так всем! — воскликнул сановник. — Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не сковырнутся набекрень мозги от борьбы с уравниловкой?...

Хоть нам с О. М. полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую «передышку».

НЕ УБИЙ

Из всех видов уничтожения, которыми располагает государство, О. М. больше всего ненавидел смертную казнь или «высшую меру», как мы тактично ее называли. Не случайно в бреду он боялся именно расстрела. Спокойно относившийся к ссылкам, высылкам и другим способам превращения людей в лагерную пыль — «мы ведь с тобой этого не боимся» — он содрогался при одной мысли о казни. Нам довелось читать сообщения о расстрелах многих людей. В городах иногда даже расклеивались специальные объявления. О расстреле Блюмкина (или Конрада?) мы прочли в Армении — на всех столбах и стенах расклеили эту весть. О. М. и Борис Сергеевич вернулись в гостиницу потрясенные, убитые, больные... Этого оба они вынести не могли. Вероятно, смертная казнь не только символизировала для них всякое насилие, она еще чересчур конкретно и зримо представлялась их воображению. Для рационалистического женского ума это менее ощутимо, и поэтому массовые переселения, лагеря, тюрьмы, каторга и прочее глумление над человеком мне еще более ненавистны, чем мгновенное убийство. Но для О. М. это было не так, и первое его столкновение с террором, тогда еще «слишком новым», произошло из-за его отношения к смертной казни. История стычки О. М. с Блюмкиным известна из неточного, с чужих слов и приукрашенного рассказа Георгия Иванова. Есть об этом упоминание и у Эренбурга, который присутствовал при одном из нападений Блюмкина на О. М., при встречах в публичных местах Блюмкин неизменно потрясал револьвером... И мне пришлось быть свидетельницей подобной сцены.

Это было в Киеве в девятнадцатом году. Мы стояли с О. М. на балконе второго этажа гостиницы «Континенталь» и вдруг увидели кавалькаду, мчавшуюся по широкой Николаевской улице. Она состояла из всадника в черной бурке и конной охраны. Приближаясь, всадник в бурке поднял голову и, заметив нас, резко повернулся в седле и тотчас в нашу сторону вытянулась рука с наставленным револьвером. О. М. было отпрянул, но тут же, перегнувшись через перила, приветственно помахал всаднику рукой. Кавалькада поровнялась с нами, но рука, угрожающая револьвером, уже спряталась под бурку. Все это продолжалось секунду. Когда-то при мне на Кавказе произошло убийство: вагоновожатый, не останавливая трамвая, пристрелил стоявшего на главной улице чистильщика сапог. Это была кровная месть. Вся сцена с Блюмкиным развивалась точно так, но завершающего выстрела не последовало — кровная месть не была доведена до развязки. Всадники промчались мимо, свернули и скрылись в Липках, где находилась Чека.

Всадник в бурке, это Блюмкин — человек, «застреливший императорского посла» — Мирбаха. Он направлялся, вероятно, в Чека, к месту своей службы. Ему поручили, как мы слышали, чрезвычайно важную и конспиративную работу по борьбе со шпионажем. Бурка и кавалькада — скорее всего дань личным вкусам этого таинственного человека. Не понимаю только, как вязались такие эффекты с предписанной ему конспирацией.

Мне приходилось встречаться с Блюмкиным еще до моего знакомства с О. М. Мы когда-то жили вместе с его женой в крохотной украинской деревушке, где среди кучки молодых художников и журналистов скрывалось несколько человек, преследуемых Петлюрой. После прихода красных жена Блюмкина неожиданно явилась ко мне и вручила охранную грамоту на квартиру и имущество на мое имя. «Что это вы?» — удивилась я. — «Надо охранять интеллигенцию», — последовал ответ. Так женщины из рабочих дружин, переодетые монахинями, разносили иконы по еврейским квартирам 18 октября 1905 года. Они надеялись, что эта маскировка обманет погромщиков. Охранную грамоту, как явную фальшивку да еще на имя девчонки — мне было тогда восемнадцать лет, отец не предъявлял ни при одном из многочисленных обысков и реквизиций. Вот от этой женщины, спасавшей интеллигенцию такими наивными способами, и от ее друзей я наслышалась об убийце Мирбаха, и несколько раз встречала его самого, мелькавшего, исчезавшего, конспиративного...

Сходство балконной сцены с кровавой местью оказалось не случайным: Блюмкин повадился отомстить О. М. и уже не раз кидался на него с револьвером, но до стрельбы никогда не доходило. О. М. считал, что все это пустые угрозы и пристрастие

Блюмкина к мелодраматическим эффектам: «Что ему стоит меня застрелить? Захотел бы, давно бы сделал»... Но всякий раз О. М. невольно шарахался, когда Блюмкин выхватывал револьвер... Кавказская игра кончилась в 26 году, когда О. М., уезжая от меня из Крыма, случайно очутился с Блюмкиным в одном купе. Блюмкин, увидав «врага», демонстративно отстегнул кобуру, спрятал револьвер в чемодан и протянул руку. Всю дорогу они мирно разговаривали. Прошло немного времени, и мы прочли о расстреле Блюмкина. Распря с ним началась с вопроса о расстреле. Георгий Иванов в угоду неприхотливым читателям так расцветил эту историю, что она потеряла всякий смысл, но почтенные люди продолжают цитировать его рассказ, не обращая внимания на логические изъяны. Наша оторванность друг от друга тому причиной.

Незадолго до конфликта Блюмкин предложил О. М. сотрудничать в новом, еще только организующемся учреждении, которому он предсказывал великую будущность. По мнению Блюмкина, это учреждение должно было определить эпоху и стать средоточием власти. О. М. в испуге отказался от сотрудничества, хотя тогда еще никто не знал, в чем будет специфика нового учреждения. Для О. М. достаточно было услышать, что учреждение будет могущественным, чтобы поскорее отстраниться. Он всегда как-то по-мальчишески удирал от всякого соприкосновения с властью. По приезде в Москву, например, в восемнадцатом году — он приехал с правительственными поездами — ему пришлось несколько дней прожить в Кремле у Горбунова. Однажды утром в общей столовой, куда он вышел завтракать, лакей, прежде дворцовый, а потом обслуживавший революционное правительство и не утративший почтительно-лакейских манер, сообщил О. М., что сейчас сам Троцкий «выйдут кушать кофий». О. М. схватил в охапку пальто и убежал, пожертвовав единственной возможностью поесть в голодном городе. Объяснить этот импульс к бегству он не мог никак: «Да ну его... Чтоб не завтракать с ним»... Аналогичный случай произошел у него и с Чичериным, когда его вызвали, чтобы поговорить о работе в Наркоминделе. К нему вышел Чичерин и предложил составить пробный текст правительственной телеграммы по-французски, а затем оставил его одного. О. М. воспользовался этим и ушел, даже не пробуя составить телеграмму. «Почему удрал?» — спрашивала я. В ответ такое же

отмахиванье — если бы с ним разговаривал какой-нибудь мелкий чиновник, он бы остался и поступил в Наркоминдел, но от людей, облеченных властью, лучше подальше... Быть может, это инстинктивное, почти неосознанное отталкиванье от власти спасло О. М. от многих ложных и губительных путей, открывавшихся перед ним в ту пору, когда даже зрелые люди ни в чем разобраться не могли. Как бы сложилась его судьба, если б он поступил в Наркоминдел или в «новое учреждение», куда его так настойчиво приглашал Блюмкин?

Функции этого «нового учреждения» О. М. впервые понял во время стычки с Блюмкиным. Место действия — московское Кафе поэтов, и это — единственное, что правильно запомнил Георгий Иванов. Но Блюмкин приходил туда не страшным чекистом, выбирающим очередную жертву, как пишут на Западе, а желанным гостем. Он ведь был близок к власти, а в литературных кругах это очень ценится. Ссора О. М. с Блюмкиным произошла за несколько дней до убийства Мирбаха. По самой дате видно, что с понятием «чекист» тогда еще почти ничего не связывалось. Чека была только что организована, а до ее организации террор и расстрелы осуществлялись другими организациями: военным, кажется, трибуналом. В разговоре с Блюмкиным О. М., может, впервые точно понял, в чем состоят функции «нового учреждения», куда за несколько дней до этого его приглашал тот же Блюмкин.

Блюмкин, по словам О. М., расхвастался: жизнь и смерть в его руках и он собирается расстрелять «интеллигентишку», который сидит арестованный «новым учреждением». Глумление над «хилыми интеллигентами» и беспардонное отношение к расстрелам было, так сказать, модным явлением в те годы, а Блюмкин не только следовал моде, но и являлся одним из ее зачинателей и пропагандистов. Речь шла о каком-то искусствоведе, венгерском или польском графе, человеке О. М. незнакомом. Рассказывая мне в Киеве эту историю, О. М. не помнил ни фамилии, ни национальности человека, за которого вступился. Точно так он не удосужился запомнить фамилии пяти стариков, которых спас от расстрела в 28 году. Сейчас личность графа легко восстановить по опубликованным материалам Чека: Дзержинский в рапорте по поводу убийства Мирбаха вспоминал, что он уже что-то слышал о Блюмкине... Хвастовство Блюмкина, что он возьмет да пустит в расход

интеллигентишку искусствоведа, довело другого хилого интеллигента, Мандельштама, до бешенства, и он сказал, что не допустит расправы. Блюмкин заявил, что не допустит вмешательства О. М. в «свои дела» и пристрелит его, если тот только посмеет «сунуться»... При этой первой стычке Блюмкин, кажется, уже угрожал О. М. револьвером. Он делал это с удивительной легкостью даже в домашней жизни, как мне говорили...

Согласно зарубежному изложению, О. М. изловчился, вырвал у Блюмкина ордер и порвал его... О каком ордере могла идти речь? Ведь искусствовед уже сидел на Лубянке, значит, ордер на арест был давно приколот к делу, а не находился в руках у Блюмкина... И смысла такой поступок не имел бы никакого — ведь всякую бумажку можно легко восстановить. Зная темперамент О. М., я вполне допускаю, что он что-то выхватил и порвал, но он бы никогда этим не ограничился. Это на него не похоже. Это бы значило, что, испугавшись угроз Блюмкина, он отступился, устроив для самоудовлетворения небольшой скандал. В таком случае эту историю стоило бы вспоминать только как иллюстрацию упадка нравов. Но дело это имело продолжение.

Прямо из кафе О. М. отправился к Ларисе Рейснер и так повел наступление, что Раскольников позвонил Дзержинскому и сговорился, что тот примет Ларису и О. М. В напечатанном рапорте говорится, что на прием с Мандельштамом явился сам Раскольников, но это неверно. С О. М. поехала жена (Лариса Рейснер), а не муж (Раскольников). Думаю, что не было такой силы в мире, которая заставила бы Раскольникова поехать по такому делу в Чека, да еще с О. М. — его он не любил. Все, связанное с литературными пристрастиями Ларисы, всегда раздражало Раскольникова.

Все остальное в рапорте довольно точно: Дзержинский выслушал О. М., затребовал дело, принял поручительство О. М. и приказал выпустить искусствоведа. Было ли выполнено это приказание, я не знаю. О. М. думал, что было, но через несколько лет в подобной же ситуации О. М. узнал, что после распоряжения, данного при нем Дзержинским, арестованный выпущен не был. В восемнадцатом же году О. М. не пришло в голову проверять, выполнено ли обещание сановника. От кого-то он, впрочем, слышал, что граф был выпущен и уехал

на родину. Да и последующее поведение Блюмкина свидетельствовало об этом...

Дзержинский заинтересовался и самим Блюмкиным и стал о нем расспрашивать Ларису. Она ничего толком о Блюмкине не знала, но О. М. потом жаловался мне на ее болтливость и бестактность. Этим она славилась... Во всяком случае болтовня Ларисы Блюмкину не повредила и не привлекла к нему никакого внимания, а жалоба О. М. на террористические замашки этого человека в отношении заключенных осталась, как и следовало ожидать, гласом вопиющего в пустыне. Если бы тогда Блюмкиным заинтересовались, знаменитое убийство германского посла могло бы сорваться, но этого не случилось: Блюмкин осуществил свои планы без малейшей помехи. Дзержинский вспомнил про посещение О. М. только после убийства Мирбаха и использовал его в рапорте, очевидно, только чтобы показать свою осведомленность. Он даже забыл, кто у него был с О. М. После убийства Мирбаха Блюмкин был на время отстранен от работы в Чека, но вскоре вернулся и оставался там до своей гибели.

Почему Блюмкин все же не отомстил, как грозился, О. М., вмешавшемуся в «его дела» и даже одержавшему победу? По мнению О. М., Блюмкин был страшным, но далеко не примитивным человеком. О. М. утверждал, что Блюмкин и не собирался его убивать: ведь нападений было несколько, но он всегда позволял присутствующим разоружать себя, а в Киеве сам спрятал револьвер... Выхватывая револьвер, беснуясь и крича, как одержимый, Блюмкин отдавал дань своему темпераменту и любви к внешним эффектам: он был по природе террористом неудержимо-буйного стиля, выработавшегося у нас в стране еще до революции.

Второй вопрос — как совместить отвратительное хвастовство убийствами и покушение «интеллигентишки», предназначенного в жертву, с деятельностью жены, нелепо, но активно спасавшей интеллигенцию? Возможно, конечно, что моя знакомая из украинской деревни была только одной из «случайных жен» Блюмкина, как часто бывало в той среде, и отнюдь не единомышленницей... Не [illegible] и формации Блюмкина никогда нельзя быть уверенным, что [illegible] соответствует сущности, и кое-кто готов допустить, что в его деятельности был второй скрытый план и своей гнусной болтовней о расстрелах «хилых

интеллигентишек» он стремился вызвать недоверие к «новому учреждению», где работал, как представитель левых эсеров. В таком случае реакция О. М. была бы именно тем, чего он добивался, и именно потому кровавая месть не состоялась... Но в этом сможет разобраться только историк, который будет изучать это странное время и этого диковинного человека.

Мне же кажется, что второго плана не было, а мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались мальчишеской жестокостью и непоследовательностью. Почему именно молодых легче всего превратить в убийц? Почему молодость с таким преступным легкомыслием относится к человеческой жизни? Это особенно заметно в роковые эпохи, когда льется кровь и убийство становится бытовым явлением. Нас науськивали, как собак на людей, и свора с бессмысленным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская психика распространялась, как зараза. Я на себе испытала легкий приступ этой болезни, но на меня нашелся умелый врач. В Киеве, в мастерской Экстер, какой-то заезжий гость, не то Рашаль, не то Черняк, прочел частушки Маяковского о том, как топят в Мойке офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная тогда девчонка, сумела смиренно его выслушать и на всю жизнь запомнить урок. Это произошло до моей встречи с О. М., и ему уже не пришлось лечить меня от приступов антропофагии и объяснять мне, почему он вступился за графа.

Именно этого у нас почти никто не понимает, и многие до сих пор спрашивают меня, почему О. М. это сделал, то есть вступился за незнакомого человека в дни, когда расстреливали направо и налево. У нас понимают, если вступаются за «своего» — родственника, знакомого, шофера, секретаршу... Даже в сталинские дни такие хлопоты не прекращались. Но там, где нет личной заинтересованности, сочатьcя не следует. Люди, живущие при диктатуре, быстро проникаются сознанием собственной беспомощности и находят в нем утешение и оправдание своей пассивности. «разве мой голос остановит расстрелы? .. не от меня это зависит.. кто меня послушает?»... Так говорили лучшие из нас, и привычка сортировать свои силы привела к тому, что любой Давид, который лезет с голыми руками на Голиафа, вызывал только недоумение и пожатие

плеч. В таком положении очутился и Пастернак, когда в опаснейшее время отказался дать свою подпись под писательским письмом, одобряющим очередной расстрел «врагов народа»... Вот почему голиафы с такой легкостью уничтожали последних давидов.

Мы все пошли на мировую: молчали, надеясь, что убьют не нас, а соседа. Мы даже не знаем, кто среди нас убивал, а кто просто спасался молчанием.

ЖЕНЩИНА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«Надо создать тип женщины русской революции, — говорила Лариса Рейснер в тот единственный раз, когда мы были у нее после ее возвращения из Афганистана, — французская революция свой тип создала. Надо и нам». Это вовсе не значит, что Лариса собиралась писать роман о женщинах русской революции. Ей хотелось создать прототип, и себя она предназначила для этой роли. Для этого она переходила через фронты, ездила в Афганистан и в Германию. С семнадцатого года она нашла свой путь в жизни — этому помогли традиции семьи: профессор Рейснер еще в Томске сблизился с большевиками и Лариса оказалась в среде победителей.

Во время нашей встречи Лариса обрушила на О. М. кучу рассказов, и в них сквозила та же легкость, с какой Блюмкин хватался за револьвер и его же пристрастие к внешним эффектам. На постройку «женского типа» Лариса употребила сходный с Блюмкиным материал. С теми, кто вздыхал в подушку, сетуя на свою беспомощность, ей было не по пути — в ее среде процветал культ силы. Спокон века, право использовать силу мотивируется пользой народа — надо успокоить народ, надо накормить народ, надо оградить его от всех бед... Подобной аргументацией Лариса пренебрегала и даже слово «народ» из своего словаря исключила. В этом ей тоже чудились старые интеллигентские предрассудки. Все острие ее гнева и разоблачительного пафоса было направлено против интеллигенции. Бердяев напрасно думает, что интеллигенцию уничтожил народ, ради которого она когда-то пошла по жертвенному пути. Интелли-

генция сама уничтожила себя, выжигая в себе, как Лариса, все, что не совмещалось с культом силы.

При встрече с О. М. Лариса сразу вспомнила, как она изменила себе и поехала с ним к Дзержинскому: «Зачем вам понадобилось спасать этого графа? Все они шпионы»... Она не без кокетства пожаловалась мне на О. М.: он так на нее набросился, что она, не успев опомниться, «влипла в эту историю»... А в самом деле, почему она согласилась, наперекор всей своей позиции, ехать просить за неизвестного «интеллигентишку»? О. М. считал, что Ларисе захотелось продемонстрировать свое влияние и похвастаться близостью к власти. А по-моему она просто выполнила то, что считала прихотью О. М., которого была готова как угодно баловать за стихи. Преодолеть любовь к стихам Лариса не могла, хотя это преодоление входило в ее программу: разве оно соответствовало образу «женщины русской революции», созданному в ее воображении? В первые годы революции среди тех, что победил, было много любителей поэзии. Как совмещали они эту любовь с готтентотской моралью — «если я убью — хорошо, если меня убьют — плохо»?

Стихи Лариса не только любила, но еще втайне верила в их значение, и поэтому единственным темным пятном на ризах революции был расстрел Гумилева. Когда это случилось, она жила в Афганистане, и ей казалось, что будь она в те дни в Москве, она сумела бы во время дать добрый совет и остановить казнь. При встрече с нами она все время возвращалась к этой теме, и мы присутствовали при зарождении легенды о телеграмме Ленина с приказом не приводить приговора в исполнение. В тот вечер Лариса поднесла нам эту легенду в следующем виде: мать Ларисы, узнав о том, что собираются сделать в Ленинграде, отправилась в Кремль и уговорила Ленина дать телеграмму. Сейчас роль информатора приписывают Горькому — он, мол, снесся с Лениным... И то, и другое не соответствует действительности. В отсутствие Ларисы мы несколько раз заходили к ее родителям, и мать при нас сокрушалась, что не придала значения аресту Гумилева и не попробовала обратиться к Ленину — может бы что вышло... Что же касается Горького, то к нему действительно обращались... К нему ходил Оцуп. Горький активно не любил Гумилева, но хлопотать взялся. Своего обещания он не выполнил: приговор вынесли неожиданно быстро и тут же объявили об его исполнении, а Горький еще даже

не раскачался что-либо сделать..... Когда до нас стали доходить трогательные истории о телеграмме, О. М. не раз вспоминал о зарождении этой легенды в комнате у Ларисы: до ее приезда подобных слухов не циркулировало и все знали, что Ленину не было никакого дела до поэта, о котором он никогда не слышал. Но почему в нашей стране, где пролито столько крови, именно эта легенда оказалась такой живучей? Мне все время встречаются люди, которые клянутся, что эта телеграмма была даже напечатана в таком-то томе сочинений или лежит целехонька в архиве. Легенда дошла даже до писателя в узеньких брючках, того самого, что носит в кармане коробочку леденцов. Он даже обещал принести мне том, где он сам своими глазами прочел эту телеграмму, но обещания своего так и не выполнил. Миф, изобретенный Ларисой в угоду собственной слабости, будет еще долго бытовать в нашей стране.

С образом женщины русской революции Ларисе повезло меньше, чем с мифом о телеграмме. Это объясняется, пожалуй, тем, что она скорее принадлежала к стану победителей, чем борцов. О. М. рассказывал, что Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно — особняк, слуги, великолепно сервированный стол... Этим они отличались от большевиков старшего поколения, долго сохранявших скромные привычки. Своему образу жизни Лариса с мужем нашли соответствующее оправдание: мы строим новое государство, мы нужны, наша деятельность — созидательная, а потому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти. Лариса опередила свое время и с самого начала научилась бороться с еще не названной уравниловкой.

Со слов О. М. я запомнила следующий рассказ о Ларисе: в самом начале революции понадобилось арестовать каких-то военных, кажется, адмиралов, военспецов, как их тогда называли. Раскольниковы вызвались помочь в этом деле: они приглашали адмиралов к себе; те явились откуда-то с фронта или из другого города. Прекрасная хозяйка угощала и занимала гостей, и чекисты их накрыли за завтраком без единого выстрела. Операция эта действительно была опасной, но она прошла гладко благодаря ловкости Ларисы, заманившей людей в западню.

Лариса была способна на многое, но я почему-то уверена,

что будь она в Москве, когда забрали Гумилева, она бы вырвала его из тюрьмы, и если б она была жива и у власти в период уничтожения О. М., она бы сделала все, чтобы его спасти. Впрочем, ни в чем уверенным быть нельзя — жизнь изменяет людей.

У О. М. были приятельские отношения с Ларисой. Она хотела забрать его в Афганистан, но Раскольников воспротивился. Мы были у нее, когда она уже бросила Раскольникова, но на этом наши отношения оборвались — О. М. стал явно чуждаться этой женщины революции. Узнав об ее смерти, он вздохнул, а в 37 году как-то заметил, что Ларисе повезло: она во-время умерла. В те годы уничтожали массами людей ее круга.

Раскольников был чужим человеком во всех отношениях. Однажды он засыпал О. М. телеграммами: тогда он занял место отставленного Воронского и редактировал «Красную Новь». Странно подумать, но писатели, которых печатал Воронский, так называемые «попутчики», бойкотировали «Красную Новь» с ее новым редактором, бесцеремонно севшим в кресло внезапно снятого создателя журнала. Раскольников так нуждался в материале, что обратился даже к О. М. По поводу этих телеграмм О. М. сказал: «Мне все равно, кто редактор: ни Воронский, ни Раскольников меня печатать не будут»... Попутчики вскоре забыли своего первого покровителя и больше на смены редакторов не реагировали, а О. М. так бы и остался со своим «Шумом Времени» на руках, если б в еще не закрытом частном издательстве «Время» не работал Георгий Блок.

Все, кого Лариса знала, когда была профессорской дочкой, издававшей нелепый журнальчик и ходившей в гости к поэтам с первыми пробами нелепых стихов, и потом, когда пыталась стать «женщиной русской революции», погибли, не прожив своей жизни. Она была красива тяжелой и эффектной германской красотой. В Кремлевской больнице, где она умирала, при ней дежурила ее мать, покончившая самоубийством сразу же после смерти дочери. Мы так не привыкли к естественной смерти от болезни, что мне не верится: неужели обыкновенный тиф мог унести эту полную жизни красавицу? Противоречивая, необузданная, она заплатила ранней смертью за все свои грехи. Мне иногда кажется, что она могла выдумать историю про адмиралов, чтобы украсить убийством свою «женщину русской революции». Ведь люди, строившие новый мир, яростно доказывали, что все законы, вроде «не убий» — сплошное лицемерие и ложь. А ведь это Лариса зашла в самый разгар голода к Анне Андреевне и ахнула от ужаса, увидав, в какой та живет нищете. Через несколько дней она появилась снова, таща тюк с одеждой и мешок с продуктами, которые вырвала по ордерам. Не надо забывать, что добыть ордер было не менее трудно, чем вызволить узника из тюрьмы.

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Чудо — вещь двухступенчатая: первая ступень заключается в том, чтобы вручить письмо или прошение адресату, находящемуся вне пределов досягаемости; иначе письмо пойдет обычным ведомственным путем, при котором никаких шансов на осуществление чуда нет. Писем миллионы, чудеса можно пересчитать по пальцам. Уравниловки здесь нет и в помине. Без первой ступени обойтись нельзя.

Телеграммы к власть имущим пропали бы без толку, как
предсказывала кастелянша, если б я не отправляла копий Ни-
колаю Ивановичу Бухарину... Моя чердынская советчица не
учла именно этой детали, а по существу она была совершенно
права. Николай Иванович отличался такой же импульсив-
ностью, как О. М. Он не спросил себя: «А какое мне собственно
дело до этого графа?» и не стал соразмерять свои силы: «А
ну-ка, вспомним, удаются ли мне такие дела»... Вместо этого
он сел за стол и написал Сталину. Поступок Бухарина совер-
шенно выпадает из общепринятых у нас норм поведения: лю-
дей, способных на такие импульсивные действия, к этому вре-
мени в нашей стране уже не оставалось: их успели перевоспи-
тать или уничтожить.

В 30 году в крошечном сухумском доме отдыха для вельмож,
куда мы попали по недосмотру Лакобы, со мной разговорилась
жена Ежова: «К нам ходит Пильняк, — сказала она. — А к кому
ходите вы?» Я с негодованием передала этот разговор О. М.,

но он успокоил меня: «Все «ходят». Видно, иначе нельзя. И мы «ходим». К Николаю Ивановичу».

Мы «ходили» к Николаю Ивановичу с 22 года, когда О. М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения Эмильевича. Всеми просветами в своей жизни О. М. обязан Бухарину. Книга стихов 28 года никогда бы не вышла без активного вмешательства Николая Ивановича, который привлек на свою сторону еще и Кирова. Путешествие в Армению, квартира, пайки, договоры на последующие издания, не осуществленные, но хотя бы оплаченные, что очень существенно, так как О. М. брали измором, не допуская ни к какой работе, — все это дело рук Бухарина. Его последний дар — переезд из Чердыни в Воронеж.

В тридцатые годы Николай Иванович уже жаловался, что у него нет «приводных ремней». Он терял влияние и был, в сущности, в глубокой изоляции. Но от помощи О. М. он никогда не открещивался и только ломал голову, к кому обратиться и через кого действовать. А в зените славы — конец двадцатых годов — когда этот человек, едва достигший сорока лет, находился в самом центре мирового коммунистического движения и к серому дому, куда приезжали представители всех рас и национальностей, подкатывал в черном автомобиле в сопровождении трех или четырех таких же черных машин, где ехала охрана, он говорил вещи, сквозь которые уже просвечивало будущее. О. М. случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, единственного человека, который поддавался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни, О. М. прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения» с надписью: в этой книге каждая строка говорит против того, что вы собираетесь сделать... Я не ставлю эту фразу в кавычки, потому что запомнила ее не текстуально, а только смысл. Приговор отменили, и Николай Иванович сообщил об этом телеграммой в Ялту, куда О. М., исчерпав все свои доводы, поехал ко мне. Вначале Бухарин еще пробовал отбиваться от натиска О. М. и как-то раз сказал: «Мы, большевики, относимся к этому просто: каждый из нас знает, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится»... А для иллюстрации рассказал про группу сочинских комсомольцев, которых только что «пустили

в расход» за разложение... О. М. вспоминал эти слова во время процесса Бухарина.

С какой стороны ждал удара этот не зарекавшийся большевик? Боялся воскрешения поверженных врагов или чуял грозу от своих? Мы могли только гадать: на прямой вопрос рыжебородый человечек ответил бы шуткой.

В 28 году в кабинете, куда сходились нити грандиозных сдвигов двадцатого века, два обреченных человека высказались о смертной казни. Оба шли к гибели, но разными путями. О. М. еще верил, что «присяга чудная четвертому сословью» обязывает к примирению с советской действительностью — «все, кроме смертной казни!» Он был подготовлен к приятию новшеств герценовским учением о "prioritas dignitatis", которое было сильнейшим подкопом под идеи народоправства. «Что такое механическое большинство!» — говорил О. М., пытаясь оправдать отказ от демократических форм правления... А ведь замысел воспитать народ тоже герценовский, хотя Герцен и смягчил его формулировкой: «путем законов и учреждений». Не здесь ли коренится изначальная ошибка нашего времени и каждого из нас? Зачем народу, чтобы его воспитывали? Какая дьявольская нужна гордыня, чтобы навязать себя в воспитатели! Только в России стремление к образованию народа подменили лозунгом об его воспитании. И сам О. М., очнувшись объектом воспитания, одним из первых восстал против его сущности и методов.

У Николая Ивановича был совсем иной путь. Он ясно видел, что новый мир, в построении которого он так активно участвовал, до ужаса не похож на то, что было задумано. Жизнь шла не так, как полагалось по схемам, но схемы были объявлены неприкосновенными и предначертания запрещалось сравнивать со становящимся. Теоретический детерминизм породил, как и следовало ожидать, неслыханных практических деятелей, которые смело наложили табу на всякое изучение действительности: зачем подрывать основы и вызывать лишние сомнения, если история все равно примчит нас к предсказанной цели? Когда жрецы связаны круговой порукой, отступникам нечего ждать пощады. Николай Иванович ни от чего не отступал, но уже предчувствовал неизбежность ямы, куда его приведут сомнения и горькая потребность хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь назвать собственным именем.

О. М. как-то пожаловался ему, что в одном учреждении (ЗИФ`е) не чувствуется «здорового советского духа». «А какой дух в других учреждениях? — спросил Николай Иванович. — Как из хорошей помойной ямы! Смердит»... «Вы не знаете, как у нас умеют травить», — в другой раз сказал ему О. М. «Это мы-то не знаем!» — ахнул Николай Иванович и вместе со своим секретарем и другом П. расхохотался.

Основное правило эпохи — не замечать реальности. Деятелям полагалось оперировать только категорией желательного и, взобравшись на башню из слоновой кости — это они сидели в ней, а не мы! — благосклонно взирать оттуда на копошение человеческих масс. Человек, знавший, что из кирпичей будущего не построишь настоящего, заранее мирился с неизбежным концом и не зарекался от расстрела. А что ему собственно оставалось делать? Все мы были готовы к такому концу. О. М., прощаясь с Анной Андреевной зимой 37/8 года, сказал: «Я готов к смерти». Эту фразу в раличных вариантах я слышала от десятков людей. «Я готов ко всему», — сказал мне Эренбург, прощаясь в передней. Это была эпоха дела врачей и борьбы с космополитизмом, и его черед надвигался. Эпоха следовала за эпохой, а мы всегда были готовы ко всему.

Благодаря Бухарину О. М. воочию увидел первые проявления «нового», которое возникало на наших глазах, и узнал раньше многих, откуда ждать угрозы. В 22 году О. М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения. Тогда-то он в первый раз обратился к Бухарину. Мы пришли к нему в Метрополь. Николай Иванович немедленно позвонил Дзержинскому и попросил принять О. М. Свидание состоялось на следующее утро. О. М. вторично вошел в учреждение, которому Блюмкин предсказал такую великую будущность, и мог сравнить период революционного террора и эпоху зарождавшейся государственности нового типа. Дзержинский еще не отступился от старого стиля. Он принял О. М. запросто и предложил взять брата на поруки. Это предложение, правда, было подсказано Бухариным. Сняв телефонную трубку, Дзержинский тут же дал соответствующее распоряжение следователю. На следующее утро О. М. отправился к следователю и вышел оттуда полный впечатлений. Следователь был в форме, при оружии, с двумя телохранителями. «Распоряжение получено, — сообщил он, — но брата мы вам на поруки не отдадим». Причина отказа: «Нам неудобно

будет вас арестовать, если ваш брат совершит новое преступление»... Из этого явствовало, что какое-то преступление уже было совершено. «Новое преступление, — сказал, вернувшись домой О. М., — из чего они его сделали?» Доверия у нас не было никакого, и мы испугались, что Евгению Эмильевичу собирались что-то «пришить». Нам пришло еще в голову, что свое телефонное распоряжение Дзержинский отдал таким тоном, который не обязывал следователя ровно ни к чему.

Форма отказа еще звучала вполне любезно — вас, мол, не арестуем, — но общий тон, вся эта помпа с вооруженной охраной, таинственность и запугивание — «совершит новое преступление» — все это звучало уже по-новому. Силы, вызванные к жизни старшим поколением, выходили из предначертанных им границ. Так созревало наше будущее, отнюдь не похожее на террор первых дней революции. Даже фразеология вырабатывалась новая — государственная. Как ни страшен террор первых дней, его нельзя сравнить с планомерным массовым уничтожением, которому мощное государство «нового типа» подвергает своих подданных согласно законам, инструкциям, распоряжениям и разъяснениям, исходящим от коллегий, секретариатов, особых совещаний и просто «сверху».

Узнав от О. М. о приеме у следователя, Бухарин взбесился. Реакция была настолько бурной, что мы поразились. А через два дня он приехал к нам сообщить, что никакого преступления — ни старого, ни нового — нет, и Евгений Эмильевич будет выпущен через два дня. Эти добавочные дни понадобились для завершения и оформления дела о несовершенном преступлении.

Как объяснить реакцию Бухарина? Ведь и он был сторонником террора — с чего бы тут кипятиться? Взяли мальчишку для острастки студентов, даже расстрел ему не грозил — самое рядовое дело. Что же случилось с Николаем Ивановичем? Не почуял ли и он «новое», нарождавшееся и угрожавшее всем нам? Не вспомнил ли он гетевскую метлу, таскавшую воду по приказу ученика чародея? Не успел ли он уже сообразить, что ему и его соратникам уже не удастся остановить разбуженных ими сил, как не мог остановить метлу бедный ученик чародея? Нет, скорее всего, Николай Иванович просто возмутился, что какой-то паршивый следователь сунул нос не в свое дело и не выполнил распоряжения старших по иерархической лестнице. Еще не наладили машину, подумал он, и она работает с пе-

ребятами. Ведь он всегда был человеком темпераментным, с быстрыми и сильными реакциями, только по разному выражал свое негодование в разные эпохи. Вплоть до 28-го года он восклицал: «идиоты!» и хватал телефонную трубку, а с тридцатого хмурился и говорил: «Надо подумать, к кому обратиться»... Путешествие в Армению он устраивал через Молотова и пенсию тоже. Она была дана за «заслуги в русской литературе при невозможности использовать» данного писателя в советской. Эта формулировка чем-то соответствовала действительности, и мы подозревали, что она принадлежит Бухарину. А вот Анне Андреевне не нашли ничего лучшего, чем выдать пенсию по старости, хотя ей было около тридцати пяти лет. Тридцатипятилетняя «старуха» получила семьдесят рублей — государство обеспечило ей и спички и папиросы.

В начале тридцатых годов Бухарин в поисках «приводных ремней» все рвался к «Максимычу», чтоб рассказать ему про положение Мандельштама — не печатают и не допускают ни к какой работе. О. М. тщетно убеждал его, что от обращения к Горькому никакого прока не будет. Мы даже рассказали ему старую историю со штанами: О. М. вернулся через Грузию из врангелевского Крыма, дважды его арестовывали и он добрался до Ленинграда еле живой, без теплой одежды... В те годы одежду не продавали — ее можно было получить только по ордеру. Ордера на одежду писателям санкционировал Горький. Когда к нему обратились с просьбой выдать Мандельштаму брюки и свитер, Горький вычеркнул брюки и сказал: «Обойдется»... До этого случая он никого не оставил без брюк, и многие писатели, ставшие потом попутчиками, вспоминают об отеческой заботе Горького. Брюки — мелочь, но эта мелочь свидетельствовала о враждебности Горького к чуждому для него течению в литературе: все те же «хилые интеллигентишки», которых следует сохранять, только если у них есть основательная сумма научных знаний. Подобно многим людям тождественной биографии, Горький ценил знания и оценивал их количественно — чем больше, тем лучше... Бухарин не поверил О. М. и решил предпринять рекогносцировку. Вскоре он нам сказал: «А к Максимычу обращаться не надо»... Сколько я ни приставала, мне не удалось узнать почему...

При обыске 34 года у нас отобрали все записочки Бухарина. Чуть-чуть витиеватые, украшенные латинской цитатой: просит

прощения, не может принять сейчас, воленс-ноленс приходится встречаться в часы, назначенные секретарем... Не сочтите за бюрократизм — иначе не успеешь всего сделать... Удобно ли завтра в девять утра?... Пропуск будет приготовлен... Если неудобно, может, сами предложите какой-нибудь час...

Я бы много отдала, чтобы еще раз договориться с Коротковой, белочкой-секретаршей из «Четвертой прозы», о часе, а потом придти к Николаю Ивановичу и поговорить о том, чего мы не успели сказать друг другу. Может, он снова вызвал бы по междугородному телефону Кирова и спросил — что у вас делается в Ленинграде — почему вы не печатаете Мандельштама?... Издание уже давно стоит в плане, а вы откладываете его с года на год... А со смерти прошло уже двадцать пять лет...

Судьба не таинственная внешняя сила, а математически выводимое производное из внутреннего заряда человека и основной тенденции эпохи, хотя в наше время немало мученических биографий вырезалось по чудовищно-стандартной выкройке. Но эти двое — носители внутреннего заряда — сами определили свое отношение со временем.

РОДИНА ЩЕГЛА

Паспорт отобрали при аресте. Когда мы приехали в Воронеж, единственным документом О. М. оказалась сопроводительная бумажка чердынского ГПУ, по которой нам выдавали билеты в воинских кассах. Ее О. М. сдал в специальное окошко зашарканной пропускной ГПУ и получил новое удостоверение — по нему допускалась только временная прописка на несколько недель. Он разгуливал с этим удостоверением, пока выяснилось, следует ли оставить ссыльного в областном центре или можно сплавить в район. Кроме того, наши опекуны не знали, какому виду высылки он подлежит. В этом деле есть множество градаций; мне известны две основные разновидности: с прикреплением и без. В случае прикрепления надо

регулярно ходить отмечаться в какое-то окошко этой самой приемной. В Чердыни О. М. полагалось являться на регистрацию каждые три дня. При отсутствии прикрепления существуют варианты, при которых разрешаются или запрещаются поездки по области. К осени О. М. вызвали в органы и разрешили получить воронежский паспорт. Вид высылки оказался самым легким — с паспортом! Тут-то мы узнали, что обладание паспортом тоже высокая привилегия — не всякий заслуживает ее.

Получение паспорта — огромное событие в жизни ссыльного, оно дает иллюзию гражданских прав. Первый год жизни в Воронеже ознаменовался непрерывными хождениями в милицию для получения бумаженки, называвшейся «временным паспортом». Семь или восемь месяцев подряд выдавался документ или бумаженка, действительная на один месяц. За неделю до истечения срока О. М. начинал собирать справки, необходимые для обмена: из домоуправления о том, что О. М. не бродяга, а прописан честь честью в таком-то доме, из ГПУ и, наконец, с места работы. С ГПУ отношения были вполне ясны, а вот последняя справка оказалась камнем преткновения: где ее взять? Первое время приходилось выклянчивать ее в местном отделении Союза Писателей. Эта процедура никогда не проходила без осложнений. Деятели Союза охотно настукали бы какую угодно справку, но делать этого они не смели, а некоторые из них, может, действительно с трепетом относились к своему праву ставить печать Союза на листок бумаги: вдруг поставишь печать плохому писателю! И хозяева местного отделения куда-то обращались, чтобы получить санкцию на выдачу бумажки о том, что О. М. действительно занимается литературой. Начиналось все с шушуканья, мрачных взглядов, беготни... Получив санкцию, воронежские писатели улыбались: им тоже было приятно, что все сошло благополучно... Время было еще невинное, вегетарианское...

За каждой справкой, как минимум, приходилось ходить по два раза: сначала попросить, а потом получить. Часто выдача справки откладывалась: «еще не готова»... Справки сдавались начальнику паспортного стола в милиции. К нему всегда стояла большая очередь. Через два-три дня О. М. опять бежал в ту же очередь, к тому же начальнику для получения временного паспорта, а на следующий день он шел прописывать новый документ и становился в очередь к окошку у прописывающей милицейской барышни. Оказалось, что у милицейской барышни есть душа: она почему-то взяла О. М. под свое покровительство и, не обращая внимания на ропот домоуправленских работников, томившихся в очереди с толстыми домовыми книгами под мышкой — в них вносятся все прибывающие и уезжающие — она подзывала О. М. к окошку и забирала у него паспорт, чтобы на следующее утро, опять избавив его от стояния в очереди, вручить ему эту драгоценную бумажку, но уже со штампом о прописке.

К лету 1935 года нас облагодетельствовали, выдав О. М. трехмесячный паспорт и разрешив трехмесячную прописку. Это очень облегчило жизнь, тем более, что очереди после чистки Ленинграда резко увеличились: счастливцы, попавшие в Воронеж, проходили через все трудоемкие паспортные процедуры. Во время общего обмена паспортов О. М. вдруг удостоился настоящей трехлетней паспортной книжки.

Беспаспортные народы никогда не догадываются, сколько развлечений можно извлечь из этой волшебной книжки! В дни, когда паспорт О. М. был еще драгоценной новинкой, даром милостивой судьбы, в Воронеж приехал на гастроли Яхонтов. Это именно с ним О. М. в Москве упражнялся в чтении пайковой книжки из отличного писательского распределителя «пайковые книжки читаю, пеньковые речи ловлю». Теперь они перешли на паспортную и, надо сказать, она зазвучала мрачнее. В пайковой — хором и поодиночке — они прочитывали талоны: молоко, молоко, молоко..., сыр, мясо... У Яхонтова, когда он читал паспортную, появлялись многозначительные и угрожающие интонации: основание, по которому... выдан... кем выдан... особые отметки... прописка, прописка, прописка... От пайковой книжки протянулась ниточка к той литературе, которую нам тоже выдавали в журналах и газетах, и, открывая «Новый Мир» или «Красную Новь», О. М. говорит: «сегодня выдается Гладков, Зенкевич или Фадеев»... В этом двойном значении она и попала в стихи. И паспортной нашлось место в стихах: «И в кулак зажимая истертый год рожденья с гурьбой и гуртом, я шепчу обескровленным ртом: я рожден в ночь со второго на третье января в девяносто одном ненадежном году и столетья окружают меня огнем»...

Вторая забава — тоже по типу «кукиш в кармане» -- про-

исходила на подмостках. Яхонтов выступал с монтажем: «Поэты путешествуют» и читал кусочки из «Путешествия в Эрзрум» и Маяковского, из которых явствовало, что поэты могут ездить заграницу только при Советской власти. Аудитория оставалась вполне равнодушной: никто тогда даже не подозревал, что люди могут ездить заграницу: «зажрались» — лениво говорили слушатели, расходясь с непонятного вечера. И Яхонтову, чтобы взбодрить себя, приходилось прибегать к трюкам и забавам. Он вставлял в свой монтаж отрывок из «Советского паспорта» и, вытащив свой из кармана, потрясал им, глядя прямо на О. М. А тот вытаскивал — любимый и новый — и они обменивались понимающими взглядами... Начальство не одобрило бы подобных шуточек, но оно у нас прямолинейное, а в инструкциях ничего подобного предусмотрено не было.

Кроме того, по паспорту можно гадать. Поскольку всякий общий обмен паспортов являлся также и чисткой, проводившейся под сурдинку, я не решалась поехать для обмена в Москву и произвела эту операцию в Воронеже. Этим самым я лишилась гражданства в великом городе и снова обрела его лишь через двадцать восемь лет. Но в сущности шансов на получение московского паспорта у меня не было: где бы я раздобыла справку о работе? Как бы я объяснила, где хозяин площади, на которой я живу? А в каких отношениях я с ним состою и кто за кого отвечает? Получив два свеженьких воронежских паспорта, мы заметили, что у нас одинаковые серии, то есть буквы перед номером. Считалось, что эти буквы — тайный полицейский шифр, определяющий категорию, к которой принадлежит владелец — свободный, высланный, имеющий судимость... «Вот теперь ты окончательно попалась» — сказал О. М., разглядывая номера и серии. Оптимистически настроенные друзья утешали нас, что не я попалась, а милиция забыла, что О. М. ссыльный и не поставила ему соответствующие пометки. У нас была такая твердая уверенность, что все граждане перенумерованы и проштемпелеваны согласно своим категориям, что никому даже в голову не пришла мысль усомниться в значении этих букв и цифр. Только через несколько лет после смерти О. М. окончательно выяснилось, что серии не означают ничего, кроме порядковых номеров да еще того, что мои напуганные сограждане превосходят в своем воображении даже ГПУ и милицию.

Потеря мною московского паспорта мало нас огорчила. «Если я вернусь, — говорил О. М. — то и тебя пропишут. А пока я не вернулся, тебя все равно не пустят». Действительно, в 38 меня выставили из столицы, потом мне удавалось прописываться на месяц-другой по научным командировкам. Наконец, Сурков предложил мне вернуться: «хватит сидеть в изгнании». Бросив работу, я приехала получать выделенную мне Союзом Писателей комнату. С полгода меня продержали в Москве, а потом Сурков мне заявил, что ни обещанной комнаты, ни прописки у меня не будет: «они говорят, что вы уехали добровольно», а у него нет времени, чтобы «поговорить о вас с товарищами»... И, наконец, сейчас, в 64 году, вдруг мне разрешили прописку. Немало, правда, народу писало письма, просило и хлопотало... А может это случилось потому, что сейчас какой-то безумный журнал собирается напечатать несколько стихотворений О. М.?

Все-таки это означает, что он вернулся в Москву. Тридцать два года ни одной строчки его стихов не появилось в печати, двадцать пять лет прошло после его смерти и тридцать лет после первого ареста.

А получение настоящего паспорта было действительно большим облегчением. Паспортная канитель не только отнимала массу времени, пока О. М. жил по «временным удостоверениям», но еще и сопровождалась непрерывной тревогой и гаданием на кофейной гуще: выдадут — не выдадут. И в приемной ГПУ и в милиции только и слышались одни и те же разговоры: одни жаловались человеку в окошечке, что им отказали в прописке, другие просили, чтобы им разрешили. Окошечный человек не разговаривал, а только протягивал руку за заявлением и сообщал об отказе. Получившие отказ направлялись в район, где заработать было невозможно, а условия жизни непереносимы. И вместе со всей толпой, бегая за справками по канцеляриям и милициям, мы дрожали, что на этот раз не пройдет, и нам снова придется отправиться неизвестно куда и зачем. «И в кулак зажимая истертый год рожденья с гурьбой и гуртом»... Читая эти стихи Михоэльсу, О. М. выхватил паспорт и зажал его в кулак...

ВРАЧИ И БОЛЕЗНИ

Мы приехали в Воронеж, и нас почему-то пустили в гостиницу. Те, кто бдят над нами, разрешили, очевидно, на конечных пунктах беспаспортным останавливаться в гостиницах. Номера нам не дали, но отвели койки в мужской и женской комнате. Жили мы на разных этажах, и я все бегала по лестнице, потому что беспокоилась, как чувствует себя О. М. Но с каждым днем становилось все труднее подниматься по лестнице. Через несколько дней у меня подскочила температура, и я сообразила, что заболеваю сыпным тифом, подхваченным где-то в пути. Начало сыпного тифа, по-моему, нельзя спутать ни с чем — ни с каким гриппом во всяком случае... Но это означало многонедельное лежание в больнице, в бараках, а передо мной все маячила сцена, как О. М. бросается из окна. Скрыв от него свою температуру, а она у меня изрядно поднялась и все время лезла вверх, я умоляла его пойти к психиатру. «Если тебе так хочется», — сказал он, и мы пошли. О. М. сам подробно описал все течение своей болезни, и мне не пришлось ничего прибавлять. Он был в эти дни уже совершенно объективен и точен. Врачу он пожаловался, что в минуты усталости у него бывают галлюцинации. Чаще всего это случается в момент засыпания. Сейчас, сказал О. М., он понимает природу «голосов» и научился останавливать их усилием воли, но в гостиничной жизни есть много раздражающих моментов, которые мешают борьбе с болезнью: шум, днем нельзя отдохнуть... А самое неприятное — это запирающиеся двери, хотя он прекрасно знает, что двери запираются не снаружи, а изнутри.

Тюрьма прочно жила в нашем сознании. Василиса Шкловская терпеть не может закрытых дверей — не потому ли, что в молодости ей пришлось основательно посидеть, и она в собственном опыте узнала, что такое быть запертой? [illegible], не испытавшие тюремных камер, тоже не могли избавиться от тюремных ассоциаций. Когда года через полтора [illegible] в гостинице остановился Яхонтов, он сразу заметил, как там лязгают ключи в замках. «Ого!» — сказал он, когда, выйдя из его номера, мы запирали дверь. — «Звук не тот», — успокоил его О. М. Они отлично поняли друг друга. Вот почему в стихах О. М. так горячо утверждается право «дышать и открывать двери», которого О. М. боялся лишиться.

Психиатр разговаривал с ним осторожно — ведь в каждом человеке все мы подозревали стукачей, а среди потерпевших их было множество, потому что люди, пережившие психическую травму, часто теряли сопротивляемость. Но, выслушав рассказ О. М., он все же сказал, что среди «психостенических субъектов», побывавших в тюрьме, очень часто наблюдаются подобные «комплексы»...

Я рассказала врачу про свою болезнь — тут и О. М. понял, в чем дело, и страшно испугался, — и спросила, не следует ли на время моей болезни устроить О. М. в клинику. Врач решительно заявил, что можно совершенно спокойно оставить О. М. на воле — следов травматического психоза уже не видно. Среди людей, сосланных на поселение в Воронеж, сказал врач, ему часто приходилось наблюдать состояния, подобные тому, что описал О. М. Это случается после нескольких недель, а иногда даже дней ареста. Заболевания всегда кончаются благополучно и не оставляют никаких следов.

На этот раз не я, а О. М. спросил, почему сейчас заболевают после нескольких дней внутренней тюрьмы, хотя раньше просиживали по многу лет в крепости и выходили здоровыми. Врач только развел руками.

А действительно ли выходили здоровыми? Быть может, всякая тюрьма вызывает психические болезни, не говоря уж о травмах? Или это специфика только наших тюрем? А может, наша психика расшатана еще до ареста — предчувствиями, страхами и размышлениями на «тюремные темы»? У нас в стране этим никто не интересуется, а за рубежом этого всего не знают, потому что мы умеем хранить свои маленькие секретики от внешнего мира.

Я слышала, что недавно кто-то опубликовал свои лагерные воспоминания и автор поразил[illegible] количеством душевнобольных среди заключенных. [illegible] иностранец. Живя в Советском Союзе, он был поставлен в особые условия и нашей жизни не знал, вернее имел о ней самое поверхностное представление. Он делает вывод, что у нас не лечат некоторых болезней, вроде психо-

стении, и больные за нарушение служебной дисциплины и прочие прегрешения, вызванные болезнью, попадают в лагеря Процент психически неустойчивых людей у нас и в самом деле огромный. Сейчас, среди правонарушителей, осужденных за хулиганство и мелкие грабежи, многие, я думаю, тяжелые психостеники или даже психопаты. Они отсиживают по несколько лет за то, что взломав замки, похитили из лавки несколько литров водки, и выйдя на свободу, тотчас опять попадают в тюрьму и лагерь уже на добрый десяток лет за такое же повторное преступление. При Сталине на них обращали гораздо меньше внимания, в лагеря они попадали гораздо реже, чем сейчас, но зато массами спроваживали туда своих ближних... А вопрос, почему интеллигенты и вообще нервные и чувствительные люди так сильно реагируют на арест и часто заболевают таинственным, быстро проходящим и не оставляющим следов травматическим психозом, остается открытым... Где заболели те, кого видел этот иностранный мемуарист — в тюрьме или на воле? Кто они были — мальчишки, укравшие на выпивку, или мирные граждане? Психопаты они или больны этим самым травматическим психозом? Все эти вопросы остаются открытыми — не только для иностранцев, но и для нас; в этом не разобраться, пока мы во весь голос не заговорим о нашем прошлом, настоящем и будущем.

О. М. еще раз ходил к психиатру уже после того, как я вышла из больницы, на этот раз к крупному специалисту, приехавшему из Москвы обследовать сумасшедший дом. О. М. пошел к нему по собственной инициативе, чтобы рассказать историю своей болезни и спросить, не является ли она следствием каких-нибудь органических дефектов. Он сказал, что и раньше замечал у себя навязчивые идеи, например, в периоды конфликтов с писательскими организациями он ни о чем другом и думать не мог. К тому же — и это истинная правда — он слишком чувствителен ко всяким травмам... Эти свойства, кстати, я наблюдала у обоих братьев О. М., людей совершенно другого склада, чем он, но также подверженных травмам и превращающих в навязчивые идеи каждое тяжелое для них биографическое событие...

Московский психиатр сделал неожиданную вещь: он пригласил О. М. пройтись с ним по палатам. Вернувшись после обхода, он спросил, находит ли О. М. что-нибудь общее между

собой и клиентами клиники. Под какую рубрику он отнес бы себя: старческое слабоумие, шизофрения, циркулярный психоз, истерия?... Врач и пациент расстались друзьями.

На следующий день я все же потихоньку от О. М. еще раз забежала к психиатру: я боялась, что страшное зрелище, которое нам накануне показали, может сказаться новой травмой. Врач успокоил меня. Он сказал, что сознательно продемонстрировал О. М. своих пациентов — знание дела только поможет ему избавиться от тяжелых воспоминаний о травматической болезни. Что же касается до нервной возбудимости и неумения сопротивляться травмам, психиатр никакой особой патологии в этом не увидел: травмы были достаточно серьезны и можно только пожелать, чтобы их было меньше в нашей жизни... «А субъект он легко возбудимый и чрезмерно чувствительный»... Так оно и было.

Меня поражало, с какой легкостью О. М. подсмеивается над своей болезнью и как быстро он сумел отрезать кусок жизни с бредом и галлюцинациями. «Наденька, — сказал он мне, месяца через два с половиной после приезда в Воронеж, обидевшись на халтурный обед, — я не могу есть такую дрянь — ведь я теперь не сумасшедший»... А в стихах («Стансы») он назвал болезнь «семивершковой кутерьмой», а попытку к самоубийству — прыжком («прыжок, и я в уме»).

Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у О. М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах... Надо сказать, что это чувство пережили многие из моих современников и среди них весьма достойные люди, вроде Пастернака. Мой брат Евгений Яковлевич говорил, что решающую роль в обуздании интеллигенции сыграл не страх и не подкуп, хотя и того и другого было достаточно, а слово «революция», от которого ни за что не хочется отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни.

К счастью, припадки того, что сейчас у нас называется патриотизмом, происходили с О. М. не часто. Очнувшись, он сам называл их безумием. Но все же интересно, что у людей, работавших в искусстве, полное отрицание существующего приводило к молчанию; полное признание губительно отзывалось на работе, делало ее ничтожной, и плодотворны были только сомнения, которые, к сожалению, преследовались властями.

К примирению с действительностью толкало и самое обыкновенное жизнелюбие. К мученичеству у О. М. не было никакого влечения, но за право на жизнь приходилось платить слишком большой ценой. Когда О. М. решился сделать первый взнос, оказалось, что уже слишком поздно.

Что же касается до меня, то я попала в сыпнотифозный барак. Главврач, остановившись у моей койки, сказал какому-то инспектору, что я тяжелая больная и «числюсь за органами». Я думала, что этот разговор мне померещился в бреду, но тот же главврач, оказавшийся добрым знакомым, братом агронома Феди, подтвердил мне после моего выздоровления, что эти слова действительно были произнесены и что я «числюсь за органами». Впоследствии, во время моих скитаний по Союзу, мне неоднократно сообщали, как явные, так и тайные работники органов, то есть отделы кадров и стукачи, что я «числюсь за Москвой». Что это значит, я не знаю. Чтобы понять, надо изучить структуру органов, за которыми я почему-то «числюсь». Мне кажется, гораздо приятнее не числиться ни за кем, но ума не приложу, как это сделать. Любопытно, все мы «числились», или только избранные?

Палатный врач, добрая женщина, рассказала мне, что ее муж, агроном, досиживает свой лагерный срок. Он «уехал» с многими другими сельскими интеллигентами по обвинению в отравлении колодцев. Это не выдумка, не досужее воображение, а факт. Выздоровев, я начала ездить в Москву, и она давала мне посылки, чтобы я отправляла их в лагерь. В те годы продуктовые посылки принимались только в Москве, а сейчас их посылают только из районных городов. Эмма Григорьевна Герштейн много лет ездила в какие-то фантастические городишки, таская тяжелые посылки, которые Анна Андреевна собирала для Левы.

Когда «отравитель колодцев» вернулся, отсидев свой срок, нас пригласили на вечеринку. Мы пили сладкое вино в его

честь, а он пел мягким баритоном романсы и ликовал. В 37 году он стал «повторником»...

Со мной много возилась сиделка Нюра. Ее муж работал на мельнице. Однажды он вынес горсть муки для голодной семьи. Его осудили по декрету на пять лет. Сиделки жадно поедали остатки с тарелок сыпнотифозных и дизентерийных больных. Они рассказывали про свои беды и нищету.

Я вышла из больницы бритая, и О. М. прозвал меня каторжанкой.

ОБИЖЕННЫЙ ХОЗЯИН

Из сыпнотифозного барака О. М. перевез меня не в гостиницу, а в «свою» комнату. Он успел снять нам временное помещение — застекленную терраску в разваливающемся особняке лучшего повара в городе. Дом сохранили в частном владении за заслуги хозяина, который служил шефом в столовой самого что ни на есть закрытого типа. По этому поводу О. М. сказал мне, что наконец-то мы сможем разузнать, что этот таинственный «закрытый тип»... Дело в том, что летом 33 года мы ездили в Крым. И в Севастополе, и в Феодосии нас не пускали ни в одну столовую, говоря, что она «закрытого типа». В Старом Крыму оказалась даже парикмахерская «закрытого типа», и О. М. шутил, что это новый «Каннифершталл». От повара мы ничего не узнали о «закрытом Канниферштанде» — ему было не до шуток. Этот больной, усталый старик, лишенный всякого аппетита, ютился в одной из комнат своего особняка, а в оставшихся комнатах расселились жильцы, уже давно п[illegible]. Как собственник, повар должен был производить ремонт за свой счет, и на лето он сдавал терраску, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. Он только и мечтал, чтобы дом снесли или объявили жактом, но от подобных развалин всякий разумный Совет откажется с ходу. Последний домовладелец тосковал и разорялся, но все еще на-

деялся стать жактовским жильцом домишки, который пойдет на снос.

Воронеж тридцать четвертого года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Они торчали у коммерческих хлебных магазинов и протягивали руку. Эти, очевидно, уже успели съесть все сухие корки, захваченные в мешках из родной деревни. В доме у повара жил одичавший от голода старик Митрофан. Старик мечтал устроиться хотя бы в ночные сторожа, но его никуда не брали. Все неудачи он приписывал своему имени: «Раз я Митрофаний, думают, что я церковник, и гонят в шею». В центре города стоял полуразрушенный собор святого Митрофания, и старик, вероятно, был прав. Когда мы переехали в зимнюю комнату, Митрофаний повесился. С нашим отъездом у него кончился последний заработок: он помогал нам искать комнату и приводил старух, занимавшихся своеобразным сводничеством — они знакомили владельцев углов, коек и комнат с потенциальными жильцами. Искать приходилось в покосившихся домишках, оставшихся в частном владении, и у тех, кто сдавал жактовскую площадь. Дело это было незаконное — спекуляция жилплощадью. Хозяева и жильцы заранее ненавидели друг друга. Жильцам хотелось поскорее рассориться с хозяевами и перестать платить в двадцатикратном по сравнению с жактовскими ценами размере. А хозяева, залатав на полученные деньги крышу или сменив венцы, вдруг соображали, за какую чечевичную похлебку они продали свое первородство, и пугались, что жильцы навеки останутся на их шее, то есть завладеют площадью. Этим обычно сдача комнат и кончалась: прописавшись и прожив положенные несколько месяцев, жилец сговаривался с домоуправлением — здесь обычно не обходилось без «смазки» — и получал собственную «жировку», то есть право на площадь. Так происходило в жактовских домах, а в частных он просто отказывался выехать, и выселить его судом не удавалось, только платить он переставал. Именно таким образом большинство людей получило оседлость и площадь. Это было, так сказать, естественное перераспределение жилья. Шло оно гораздо интенсивнее, чем изъятие излишков и выдача ордеров, и сопровождалось драмами, скандалами и грудами доносов, с помощью которых и жильцы, и хозяева стремились

избавиться друг от друга. Сейчас отношения упорядочились и конфликтам положен конец, потому что комнаты сдаются без прописки: жилец, находящийся на птичьем беспрописочном положении ни на что претендовать не может. Единственная лазейка для склоки — соседский донос о непрописанном жильце, но начальство стало смотреть на это сквозь пальцы — время переменилось.

В Воронеже хозяева охотно пускали на свою площадь ссыльных. Над ссыльными всегда висела угроза, что их вышлют в более глухое место, и, в случае конфликта, хозяин мог приложить к этому руку. Вот почему мы получали множество предложений, и О. М. целыми днями бегал смотреть комнаты по всяким трущобам, но нам долго не удавалось вселиться, потому что всюду требовали за год вперед. На летней терраске уже замерзала вода, когда я съездила в Москву и получила перевод. Он достался мне удивительно легко: Луппол слышал про «чудо» и был уверен, что без особого риска может обеспечить О. М. работой. Сделал он это с большой охотой. Полученный за перевод аванс мы отдали хозяину домика на окраине города, который удовлетворился оплатой за полгода вперед. Каждая поездка в город, а ездить приходилось много — справки, обмен паспорта, поиски работы для О. М., — была настоящим мучением — бесконечные ожидания на трамвайных остановках, толпы, гроздьями висящие на площадках вагонов, давка... До войны городской транспорт всюду, даже в Москве был в чудовищном состоянии. В ту зиму мы познали всю ярость степных ветров — люди, перенесшие крушение, особенно чувствительны к холоду. Мы убедились в этом в периоды очередных бесхлебиц и голода, а они регулярно повторяются через каждые несколько лет, войн и ссылок.

Вскоре выяснилось, что агроном, хозяин дома, где мы поселились, пустил нас, чтобы завести интересные знакомства; «Думал, придут к вам писатели — Кретова, Задонский — румбу вместе танцевать будем», — жаловался обиженный хозяин в русских сапогах. Разочаровавшись, он «принял свои меры» — врывался, когда к нам приходили приятели, тоже ссыльные и тоже беспаспортные, Калецкий и Рудаков, и требовал для проверки паспорта. «У вас тут собрания, а я, как хозяин, отвечаю»... Мы выставляли хозяина из комнаты, и он печально вздыхал и, поймав меня одну, жаловался: «Хоть бы кто по-

приличнее к вам зашел»... Данные вперед деньги вернуть он не мог, и нам пришлось их отживать. О. М. посмеивался: ссыльные всегда страдали от своих хозяев — такова традиция. Раньше они бегали в полицию, теперь в ГПУ, а наш агроном только грозится и как будто «не пишет» и «не ходит» никуда. А это надо ценить...

Следующая комната — мы занимали ее с апреля 35 года по февраль 36 года — находилась в центре, в бывшей меблирашке, где ютился всякий сброд. Несколько раз в доме бывали ночные облавы — искали самогонщиков. Молоденькая соседка, проститутка, обожала О. М. за то, что он кланялся ей на улице, и вечно прибегала к нам с ведром — вымыть пол, но денег ни за что не брала: «Я вам по дружбе»... Заходила пожаловаться на жизнь старуха еврейка, растившая трех маленьких внуков. Наш хозяин взялся сжить ее со свету и писал, куда следует, доносы, обвиняя ее в проституции. Старуха оправдывалась возрастом — кому она такая нужна? — и размером комнаты, где внуки спали вповалку.

Наше счастье, что доносчики писали, что попало, нисколько не заботясь о правдоподобии, а вплоть до 37 года оно все-таки требовалось, пока в прессе не появились статьи, рекомендующие сообщать властям о разговорах, которые ведут соседи. Донос больше всего, в сущности, отражает уровень доносчика, иллюстрируя, на какие взлеты способно его воображение. Второй воронежский хозяин занимал низшую ступень на этой лестнице. Однажды нас вызвали в приемную МГБ и показали один из его доносов на нас, предложив написать объяснение. Там было сказано, что ночью нас посетил какой-то подозрительный тип и из нашей комнаты послышалась стрельба. Первая часть доноса еще могла бы сойти, но вторая все погубила. Ночной посетитель, Яхонтов, афиши о выступлении которого были развешаны по всему городу, подтвердил, что просидел у нас до утра. На этом дело и кончилось.

Самый факт вызова по поводу доноса показывал, что его не собираются использовать. Такое случилось со мной и после 37 года, правда, когда Ежова уже сняли и террор пошел на убыль. Однажды меня вызвали в отделение ГПУ при милиции в Москве, где после смерти О. М. я добилась временной прописки в своей квартире, и потребовали объяснений. На этот раз донос оказался довольно квалифицированным: в моей комнате происхо-

дят собрания, на которых ведутся контрреволюционные разговоры. Единственным человеком, посетившим меня, был Пастернак. Он прибежал ко мне, узнав о смерти О. М. Кроме него никто не решался зайти, что я и объяснила уполномоченному. Дело кончилось ничем, то есть мне просто предложили выехать из Москвы до окончания срока временной прописки. На этот раз квартирной хозяйкой была я, а выживал меня временный жилец, вселенный к нам Союзом Писателей под поручительство Ставского. Он называл себя писателем, а иногда сообщал, что по чинам равен генералу. Фамилия его Костырев. Когда после Двадцатого съезда мне собирались дать в Москве жилплощадь, меня вызвали в Союз Писателей и спросили, каким образом я потеряла квартиру. Я рассказала про Костырева. Работник Союза Ильин долго искал это имя в писательских списках, но так и не нашел. Но кем бы ни был Костырев, писателем или генералом, роли это не играет: добывая себе квартиру он действовал по трафарету, а «писали» у нас в самых различных слоях общества. Думаю, что Костырев пытался спланировать из органов в литературу, но это ему не удалось. Время, когда он вселился к нам, представляло собой переходный момент двойной службы и двойных заданий.

Воронежский квартирный хозяин, которому по ночам мерещилась стрельба, свою письменную деятельность зазорной не считал. Вероятно, он чувствовал себя полезным членом общества, охранителем порядка. В чем заключалась его служба, понять было не легко. О ней он молчал, и мы предпочитали не спрашивать. Называл он себя «агентом» и постоянно выезжал в район «по делам коллективизации». Во всяком случае, он был мельчайшей сошкой, но и такие подбирались достаточно тщательно.

Жена «агента», молоденькая, почти девочка, которую он «взял за себя», чтобы избавить от тяжкой участи раскулаченной семьи, сдала комнату без его ведома во время одной из его длительных отлучек «по делам коллективизации». Сама она переехала в проходную кухню, а деньги отправила родителям. Муж получил на свою шею жильцов и никакой выгоды. Жена, хоть и «спасенная» этим рыцарем, крепко держала его в руках. Судя по их разговорам, она кое-что про него знала, что даже в те жестокие времена не сошло бы с рук. В глаза и за глаза она называла его традиционным именем — Ирод, а когда она

осыпала его отборной бранью, он робко поджимал хвост. Но с жильцами он все же примириться не мог и старался напакостить, как умел. Он заходил к нам в комнату, держа за хвост живую мышь — дом просто кишел всякой нечистью. Вежливый, по военному подтянутый, он приветствовал нас с порога, а затем говорил: «Разрешите поджарить» — и шел прямо к электрической плитке с открытой спиралью. Плитку он презирал, считая ее интеллигентской прихотью, одной из буржуазных замашек, с которыми честный советский гражданин должен бороться, как с кулачьем. Рудаков или Калецкий, вечно у нас торчавшие, вступались за мышь, и хозяин, изрядный трус, встретив сопротивление, позорно отступал. Из соседней комнаты доносились его шуточки об интеллигентских нервах: а я их еще не так припугну — кота зажарю... Замечательно, что он не пил и все свои трюки выполнял в абсолютно трезвом виде. Мышь была его коронным номером.

Когда О. М. уезжал в Тамбов в санаторий, агент выбросил наши вещи из комнаты — их подобрала и сохранила проститутка... Вернувшись, О. М. не знал, куда деваться, и отсиживался в редакции газеты, находившейся в соседнем доме. Оттуда позвонили в неизвестное учреждение, где служил наш хозяин, он же мышеборец и агент. К вечеру он неожиданно явился в редакцию и сказал: «Возвращайтесь, мне велели не скандалить», и мы поняли, как хорошо жить у сотрудников учреждений с военной дисциплиной. С тех пор агент был тише воды, ниже травы... Когда мы нашли новую комнату и выезжали, он сам погрузил наши вещи на извозчика и чуть не крестился от радости: кому бы пришло в голову, что победивший жилец не останется навеки?

Говорят, что от следующего жильца он избавился в 37 году, но долго пользоваться жилплощадью ему не удалось — его перевели на «внутреннюю работу» в лагерь.

Всего за три года в Воронеже мы сменили пять комнат, считая терраску. После агента мы переехали в роскошный новый дом ИТР к вдовушке, сдавшей сразу две комнаты — нам и молодому журналисту Дунаевскому. Добрый малый устроил нам этот чудесный переезд, но хозяйка тоже оказалась неудачной: журналист и не думал на ней жениться, а она нас пустила только, чтобы «устроить свою судьбу». Ей захотелось снова попытать счастья, и нам пришлось съезжать, чтобы уступить место

потенциальному жениху. Последняя комната в крошечном, вросшем в землю домишке у театральной портнихи оказалась раем, сном из безвозвратно ушедшего прошлого, наградой за все мытарства. Хотя О. М. спокойно относился ко всем неурядицам с хозяевами, у портнихи он все же ожил.

Портниха была самой обыкновенной женщиной, приветливой и добродушной. Она жила с матерью, которую называла бабушкой, и сыном Вадиком — мальчишкой, как все мальчишки. Муж, сапожник, умер несколько лет назад, и актеры, чинившие у него обувь, пристроили жену в театр, чтобы она могла прокормить семью. На сына ей выхлопотали пенсию — сапожник был коммунистом. Жили они, как полагается, на картошке, да еще бабушка держала в сарае с десяток кур. Двести рублей за комнату составляли в их доходе статью огромной важности. Обычно у нее жили актеры, и она среди них прославилась своим добродушием. Вот почему они нас к ней пристроили, и нам у нее дышалось легко.

Когда-то было много добрых людей. Мало того, даже злые притворялись добрыми, потому что так полагалось. Отсюда и лицемерие и фальшь — великие пороки прошлого, разоблаченные критическим реализмом в конце девятнадцатого века. Результат этих разоблачений оказался неожиданным: добряки вывелись. Ведь доброта не только врожденное качество — ее нужно культивировать, а это делают, когда на нее есть спрос. Для нас доброта была старомодным, исчезнувшим качеством, а добряк чем-то вроде мамонта. Все, чему нас учила эпоха, раскулачиванию, классовой борьбе, разоблачениям, срыванию покровов и поискам подоплеки под каждым поступком, — все это воспитывало какие угодно качества, только не доброту.

Доброту, как и добродушие приходилось искать в захолустных местах, глухих к зову времени. Только пассивные люди сохраняли эти качества, завещанные предками. Вывернутый наизнанку гуманизм сказывался на всех и каждом.

У портнихи мы жили тихо, спокойно, по-человечески и совсем забыли, что у нас нет жилплощади. Проезжая на извозчике, в машине или трамвае по огромным городам Советского Союза, я часто с удивлением считала окна мелькавших домов: почему ни одного из этих окон я не могу назвать своим? Мне снились нелепые сны: коридоры, огромные, словно крытые потолком улицы, с дверями по обе стороны. Сейчас двери откро-

ются, и я буду выбирать себе комнату. Иногда оказывалось, что за дверями живут мои уже умершие родственники. Я сердилась: оказывается, вы здесь — все вместе, зачем же я скитаюсь? Какой Фрейд посмеет объяснить эти сны вытесненным комплексом? загнанным внутрь половым чувством? эдиповской мурой и прочими добродушными зверствами?

Кто-то сказал, что советские граждане не нуждаются в строительстве собственных домов: ведь они имеют право требовать, чтобы государство дало им бесплатную квартиру... Но у кого требовать? Даже во сне я не знала, как к этому приступиться и просыпалась прежде, чем наступала блаженная минута, когда, наконец, выписывается ордер на право вселения, прописки и жировки. В Воронеже я еще питалась иллюзиями, что у меня есть квартира, с трудом добытая, единственная в своем роде. Сейчас у меня уже нет иллюзий и я знаю законы, по которым я не имею права ни на что. А сколько нас таких? Не думайте, пожалуйста, что я исключение. Имя нам легион.

Будущие поколения не поймут, что такое «площадь» в нашей жизни. Из-за жилплощади и ради нее совершалось не мало преступлений. Люди привязаны к своей площади — они и помыслить не могут, чтобы ее оставить. Кто способен бросить ненаглядную, родную, драгоценную жактовскую комнату в двенадцать с половиной метров? Таких безумцев у нас нет, и площадь переходит по наследству, как родовые замки, особняки, имения. Мужья и жены, ненавидящие друг друга, тещи и зятья, взрослые сыновья и дочери, бывшие домработницы, зацепившиеся за комнатку при кухне, все они навеки связаны со своей «площадью» и расстаться с ней не могут. В вопросах развода и брака первым встает вопрос о жилплощади. Я слышала про рыцарей, уходящих из дому и оставляющих жене площадь, я слышала про невест с хорошей квартирой и про женихов, ищущих такую невесту... Умные женщины покупали ватник и нанимались в переряженном виде в уборщицы студенческих общежитий, где им отводили конурку. И там они застревали, годами терпели проклятия комендантов и угрозу выбросить их на улицу. В этих общежитиях живут и преподаватели, которых тоже поносят коменданты. Я могла бы зацепиться в одном из этих общежитий и, сидя запершись, до поздней ночи слушать песни и пляски веселых студенток, на которых часто не хватает койки, так что они спят вдвоем в обнимку с подругой.

С площадью связана и прописка — потеряешь прописку в своем городе и вовеки в него не вернешься. Для большинства людей собственная квартира оказывалась настоящей западней. Тучи уже сгущались над головой, вокруг одного за другим забирали друзей и сослуживцев. Мы это называли «снаряды ложатся ближе»... А собственники жировки продолжали сидеть на месте и ждать, пока за ними явятся; ожидая, они еще тешили себя надеждой, что их эта чаша почему-то минет. Так охраняли они свою конуру, так называемую квартиру, а если она была отдельная и в новом доме, то из нее для вящего сходства с западней был только один выход — черного хода в новых домах нет. Я знала только одну разумную женщину, которая во время ленинградского выселения дворян сложила вещи и удрала в провинцию, сохранив чистый паспорт и тем самым избавив себя от множества бед.

А меня от ареста спасла бездомность. Один раз мне удалось добиться жилплощади. Это было в 33 году, когда под натиском Бухарина нам дали голубятню на пятом этаже писательской надстройки. Через полгода О. М. забрали, но квартиру сохранили за нами. Под нажимом писателей наш комендант Матэ Залка даже ездил в МГБ просить разрешения выбросить с площади ссыльного старуху — мою мать — и использовать квартиру для настоящего советского писателя. Но чудо продолжалось, и ему отказали, попросив передать писателям, жаждущим площади, что не надо быть большими роялистами, чем сам король. Сохранение квартиры внушало нам надежду, что О. М. собираются вернуть в Москву, но когда понадобилось, ее отобрали, выкинув, кстати, и меня, хотя я не числилась ссыльной. Останься я в московской квартире рядом с писателем-генералом, мои кости давно бы сгнили в общей лагерной яме. После второго ареста О. М., когда я сбежала без жилья и прописки, за мной пришли в нашу последнюю калининскую комнату, но меня там уже не было. Ведь не могла же я сохранить за собой эту комнату — она была в частном доме и стоила слишком дорого... Западни для меня не нашлось, и меня, бездомную, забыли, поэтому я выжила и сохранила стихи О. М.

А что если бы у доброй воронежской портнихи нашелся после нас, то есть летом 37 года, жилец, который перестал бы ей платить и получил отдельную жировку на занимаемую им комнату? Неужели и она догадалась бы поступить, как все и

пойти с доносом в органы: у моего жильца, мол, происходят незаконные собрания и ведутся контрреволюционные разговоры... я, как хозяйка, считаю своим долгом... Или она смиренно отказалась бы от приварка для матери и сына? Но про нее известно только одно — домик без крыльца разрушен войной, и на его месте выросло что-то совсем другое...

ДЕНЬГИ

Первое время в Воронеже материально нам жилось легче, чем когда-либо: пораженный чудом Гослитиздат дал переводную работу. Женя даже сказал, что Москва украсилась от пожара. Я спешно перевела какой-то гнусный роман и тут же получила второй договор. Но зимой 34/35 года работодателям, видно, влетело за их доброту — меня вызвали в Москву «ознакомиться с методами перевода». Редактором тогда был Старцев. Он похвалил «методы», а завотдел выманил у меня книжку — ему вдруг понадобилось посмотреть, не требует ли мой роман сокращений... Больше я этой книги не видела, и вскоре она вышла в другом переводе («Гнездо простых людей»). Нам оплатили еще несколько листов перевода Мопассана по старому договору и на этом приток денег из Москвы кончился.

Добиваясь работы, О. М. писал бесконечные заявления и ходил в местный Союз Писателей. Вопрос о предоставлении работы «стоял принципиально», как у нас тогда выражались. Это значило, что ждали указаний сверху, а запросил о них Союз, то есть ведомство, за которым числился О. М. Ни мне, ни О. М. никогда нельзя было получить никакой работы без предварительного шебуршения и ожидания. Даже в 53 году я поступила на работу в Чебоксарах только после того, как Сурков куда-то съездил, получил санкцию и позвонил мне о результате своих переговоров министру просвещения. А в 34 году ни одно учреждение не предоставило бы ссыльному ра-

боту без распоряжения сверху. Этим руководители учреждений пытались застраховаться от ответственности за наличие в штате неполноценного гражданина, но если наступал период «бдительности», никакие ссылки на прежние санкции и распоряжения сверху не помогали, тем более, что эти санкции никогда не давались в письменном виде — кто-то кивнул головой, кто-то пробурчал по телефону: «ну что ж», кто-то в лучшем случае сказал: «решайте сами — мы не возражаем»... В деле никаких следов этого бурчания и кивка не оставалось и начальники зачастую жестоко расплачивались за «засорение аппарата чуждым элементом». Мы столько лет были «чуждым элементом», что изучили этот механизм, как свои пять пальцев. Он претерпевал с течением времени некоторую эволюцию, и власть государства над человеком принимала все более четкие формы, а за последние восемь лет, прошедшие с Двадцатого съезда, положение резко изменилось — наступила новая эпоха. Но я говорю о сталинском времени, и этапы, через которые прошел О. М., иллюстрируют процесс закрепощения литературы; то же самое происходило и в других областях, несколько иначе, конечно, но суть оставалась та же.

В 22 году, когда мы вернулись из Грузии, все журналы поместили имя О. М. в списке сотрудников, но напечатать стихи становилось все труднее. Показателен был Воронский — он отвергал все. «Что я с ним сделаю? — жаловался секретарь редакции Сергей Антонович Клычков, — он говорит: не актуально»... В 23 году О. М. сняли сразу со всех списков сотрудников. Это не могло быть случайностью, иначе не было бы такой согласованности во всей периодике. Вероятно, летом провели какое-то идеологическое совещание и в литературе началось расслоение на своих и чужих. Зимой 23/24 года Бухарин, редактировавший журнал «Прожектор», сказал О. М.: «Я не могу печатать ваших стихов. Давайте переводы»... Скорее всего, первоначальное ограничение касалось только периодики, и купленная в 22 году книга стихов («Вторая книга») успела выйти в 23, но через два года Нарбут, заведовавший издательством «ЗИФ», повторил то же, что сказал Бухарин: «Тебя печатать не могу, а переводов дам сколько угодно». К этому времени все, кому не лень, писали, что Мандельштам бросил поэзию и перешел на переводы. За нашей прессой это повторило и «Накануне», и О. М. очень огорчился. Да и вообще

тогда уже стало достаточно трудно: «Они допускают меня только к переводам», — жаловался О. М. Но и с переводами дело обстояло не так просто. Существовала, конечно, естественная конкуренция, но кроме того О. М. никогда не попадал в число людей, которых приказывали «обеспечить». Со второй половины двадцатых годов переводческая работа доставалась все труднее, очевидно, оспаривалось само право О. М. на заработок. Не вышло ничего и с детскими книжками. Маршак сильно испортил «Шары» и «Трамвай»; единственной отдушиной были нищие частные издательства, пока они еще существовали. Кое-какие статьи О. М. тиснул в провинции (Киев) и в театральных журнальчиках. Все же полного запрещения еще не существовало, а только ограничения и «рекомендации» заботиться об «актуальности»... Новый этап — это борьба за «чистоту линии», открывшаяся статьей Сталина в «Большевике», в которой он приказал совсем не печатать неподходящих вещей (1930). Я работала тогда в ЗКП, и по разговорам в редакции поняла, что с партизанщиной кончили и объявили планомерное наступление. И все же в печать прорвалось еще несколько стихотворений, но за «Путешествие в Армению» («Звезда») сняли редактора отдела — Цезаря Вольпе, который, впрочем, знал на что он идет. Кольцо суживалось постепенно. Мандельштам и Ахматова первыми почувствовали на себе, что значит сталинская эпоха, но постепенно это узнали все. Многим зажим литературы был наруку. Они и сейчас рады бы вернуть старое и борются за свои позиции и за сохранение старых запретов.

В период ссылки ни о каком печатании уже речи быть не могло, переводы тоже отобрали и самое имя О. М. больше не упоминалось. Оно промелькнуло за все эти годы только несколько раз в ругательных статьях. Сейчас с имени запрет снят, но по инерции его не произносят, а в кочетовских кругах оно еще вызывает ярость. Ведь Эренбурга клеймили главным образом за несколько слов о Мандельштаме и Цветаевой. Зимой 36/7 года прекратились все заработки. Мне удалось получить первую работу лишь в 39 году, когда было объявлено, что жены заключенных продолжают пользоваться правом на труд, но в периоды бдительности меня всегда выгоняли. Так как вся работа находится в руках государства, единственное, что остается, это «под кремлевскими стенами выть». Ведь частные способы существования у нас были следующие (сейчас их

нет): огород на участке, где стоит собственный дом, корова там же, но сеном распоряжается начальство; тайная портниха, пока она не попалась фининспектору; то же относится к машинистке, но пишущие машинки стоили до войны очень дорого; наконец, нищенство, но оно у нас не приносит дохода, потому что деньги есть только у верных слуг государства, а они не станут компрометировать себя связью с отверженными. Из всех этих способов мы прибегали, пока было возможно, к «вою», то есть добивались «принципиального решения вопроса». О. М. занимался этим в Воронеже, а я ездила в Москву и разговаривала, пока меня пускали, с деятелями Союза — Марченко, Щербаковым и другими... Они хранили непроницаемый вид и не отвечали ни на один мой вопрос, но все же кого-то «наверху» запрашивали.

В первую же зиму после ссылки у О. М. отобрали персональную пенсию. Я добивалась, чтобы ее восстановили, и убеждала Щербакова, что «заслуг в русской литературе» отнять нельзя, следовательно пенсии отбирать не следовало. Мое остроумие не произвело на вельможу никакого впечатления: «Какие же могут быть заслуги в русской литературе, если Мандельштам сослан за свои произведения?» — парировал он. Мы все, в том числе и я, совершенно потеряли представление о правовых нормах, и мне самой любопытно, можно ли навсегда лишить пенсии, старческой, трудовой, персональной или академической, человека, осужденного на какой-то срок без поражения в правах.

Щербакова я не случайно назвала вельможей. Самый физический тип деятеля у нас менялся. До середины двадцатых годов мы всюду сталкивались с бывшими подпольщиками, окруженными соответствующей молодежью. Резкие, уверенные в своей непререкаемой правоте, они охотно пускались в споры, агитировали, часто бывали грубы. От них припахивало семинаристом и Писаревым. Постепенно их сменили круглоголовые блондины в вышитых украинских рубашках, этакие рубахи-парни с развязно-веселой и вполне искусственной манерой, шуточками и нарочитой грубоватостью. На их место пришли молчаливые дипломаты — каждое слово на вес золота, ничего лишнего не сказать, никаких обещаний не дать, но произвести впечатление человека с весом и влиянием. Одним из первых сановников этого типа был Щербаков. Когда я в первый раз к

нему пришла, мы оба несколько минут молчали. Я хотела, чтобы заговорил он; из этого ничего не вышло, потому что сановник предоставлял просительнице возможность изложить свою просьбу.. Я поставила перед ним вопрос о печатании, хотя заранее знала, что все эти попытки обречены на полную неудачу. Он объяснил мне, что единственным критерием для печатания литературных произведений является их качество. стихи Мандельштама, очевидно, не выдерживают этой пробы, раз их не печатают. То же самое, но с менее выработанными интонациями повторил Марченко. Один раз Щербаков оживился. Он спросил меня, о чем пишет О. М. Я ответила «о Каме...» Он недослышал. «О партизане?» — спросил он, почти улыбнувшись, но улыбка тотчас исчезла, когда он услышал, что речь идет о реке. «Почему о реке?» — спросил он. Ему это показалось диким. Секундное оживление Щербакова навело нас на мысль, что от О. М., вероятно, ждали в те дни славословий и гимнов и удивлялись, что он их не пишет. На этот шаг он решился только в 37 году, но тогда уже ничего во внимание не принималось.

Все-таки мы с О. М. пробили стену, и наши совместные усилия увенчались сравнительным успехом: его направили на работу в местный театр. Числился он заведующим литературной частью, но не имел ни малейшего понятия о том, что нужно делать. В сущности, он просто болтал с актерами, и они его любили. Кроме того, открыли для приработков местное радиовещание. Такой вид безымянной работы считался у нас допустимым даже для ссыльных, правда, только в спокойные периоды, когда в печати не мелькало слово «бдительность». На радио мы вдвоем сделали несколько передач: Молодость Гете, «Гулливера» для детей... О. М. часто писал вступительное слово к концертам, в частности, к «Орфею и Эвридике» Глюка. Его обрадовало, что, когда он шел по улице, из всех рупоров несся его рассказ про голубку-Эвридику... Там же он вольно перевел неаполитанские песенки для ссыльной певицы с низким голосом.

В этот благополучный для нас воронежский период жить все же было трудновато. Театр платил 300 рублей. Этого хватало на комнату (мы платили от 200 до 300 за наши конуры) и разве что на папиросы. Радио тоже давало 200-300 рублей, а я иногда получала внутренние рецензии в газете и ответы на

«самотек». Все вместе обеспечивало скромную еду: яичницу на обед, чай, масло. Коробка рыбных консервов считалась «пиром». Варили щи, а иногда, не выдержав, разорялись на бутылочку грузинского вина. Нам еще удавалось кормить Сергея Борисовича Рудакова, которому жена присылала 50 рублей оплата одной только койки. В тот год — мы жили у «агента» — мы редко оставались одни: забегали актеры, приезжали на гастроли музыканты. Воронеж был одним из немногих провинциальных городов с собственным симфоническим оркестром, и все гастролеры проезжали через него.

О. М. ходил не только на концерты, но и на репетиции: его занимало, как дирижеры разно работают с оркестром. Тогда он задумал прозу о дирижерах, но она так и не осуществилась — не хватило времени. Когда с концертами приезжали Лев Гинзбург со своим однофамильцем Григорием, они проводили у нас много времени и пиры разнообразились излюбленными ими консервированными компотами. Марья Вениаминовна Юдина специально добилась концертов в Воронеже, чтобы повидаться с О. М. и много ему играла. В наше отсутствие — мы были в районе — нас отыскал певец Мигай, и мы очень жалели, что он не застал нас. Все это были большие события в нашей жизни. О. М., человек общительный, не мог жить без людей...

Наше благополучие кончилось осенью 36 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, театр отсох и газетная работа тоже. Рухнуло все сразу. Тут, перебрав все частные способы жить, О. М. сказал: «Корова!» — и мы стали мечтать о корове и только потом узнали, что она нуждается в сене.

Как ни тяжело жилось даже в дни так называемого благополучия, воронежская передышка была неслыханным счастьем. Сам город очень нравился О. М. Он любил все, что хоть сколько-нибудь напоминало о рубеже, о границе, и его радовало, что Воронеж — петровская окраина, где царь строил азовскую флотилию. Он чуял здесь вольный дух передовых окраин и вслушивался в южно-русский, еще не украинский говор. Вот почему паровозные гудки заговорили у него по-украински. Граница говоров проходила чуть южнее Воронежа, и бабы, тыча пальцем в сушенные фрукты, спрашивали: «Це шо за вышенки?».. В селе Никольском О. М записал названия улиц.

уже переименованных, но хранившихся в памяти жителей. Люди этого села гордились происхождением от ссыльных преступников и беглых времен петровских, и улицы назывались по их преступлениям: проезды душегубов, казнокрадов, фальшивомонетчиков... Записные книжки с дневниковыми записями О. М. погибли при втором аресте, а я забыла старорусские слова, которые с такой легкостью произносили жители Никольского. Были они прыгунами и сочиняли духовные стихи про свои неудачные полеты на небо. Незадолго до нашего приезда в селе разыгралась драма: они назначили день полета и, твердо поверив, что наутро их уже не будет на этой земле, роздали все свое имущество соседям, лишенным крыльев. Очнувшись после падения, они бросились отнимать свои вчерашние дары, и разгорелся страшный бой. Самые свежие стихи, раздобытые нами, повествовали о том, как прыгун прощается со своим любимым ульем прежде, чем подарить его. О. М. запомнил эти стихи с голоса и не раз читал наизусть: не хотелось прыгуну улетать на небо, нравилось ему на земле, где ульи, дом, жена и дети...

Зимой Воронеж представлял собой сплошное ледяное поле, вечную скользоту, ахматовские хрустали, по которым «я прохожу несмело»... Ведь даже в режимных городах не всюду сохранились дворники с лопатами и песком. О. М. не боялся ни льдов, ни ветра. Временами он обольщался городом, но чаще проклинал его и рвался бежать. В сущности он просто тяготился прикреплением, как запертыми дверями. «Я по природе ожидальщик, — говорил О. М., — а меня еще сунули в Воронеж, чтобы я все время чего-то ждал»... Действительно, жизнь складывалась так, что мы все время чего-то ждали: денег, ответа на письмо или заявления, милостивого кивка или спасения... А на самом деле я никогда не видела человека, который так жадно жил бы настоящим, как О. М. Он почти физически ощущал протяженность времени, каждую минуту этой жизни. В этом смысле он прямо противоположен Бердяеву, который говорит, что никогда не мог примириться со временем и что всякая тоска есть тоска по вечности. Мне кажется, что для любого художника вечность уже ощутима в каждом продолжающемся и текущем мгновении, которое он рад бы даже остановить, чтобы сделать еще более ощутимым. Тоска художника — не томление по вечности, а временная потеря чувства, что каждая секунда объемна, изобильна, насыщена и сама по

себе равносильна любой вечности. В тоске же естественно зарождалось чувство будущего и О. М. становился «ожидальщиком». В Воронеже оба эти свойства О. М. развернулись вовсю и в минуты тоски он рвался бежать, куда глаза глядят, но не мог, потому что был накрепко привязан к месту. А может он просто был птицей, которая не переносит клетки, и поэтому все время собирал какие-то справки, чтобы его пустили хоть на несколько дней в Москву вырезать что-то вроде гланд — он в жизни не болел ангиной — полечиться или для устройства своих «литературных дел», совершенно забывая при этом, что никаких литературных дел у него и в помине не было и быть не могло. Разрешения на поездку он, разумеется, не добился. Под влиянием его стонов А. А. Ахматова и Борис Леонидович даже ходили к Катаньяну просить о переводе в какой-нибудь другой город. На это тоже последовал отказ. Кабинет Катаньяна, открытый любому посетителю, служил для сбора заявлений, на которые отвечали отказами. Так О. М. и просидел в Воронеже все три года и лишь один раз выехал за границы разрешенной области — в тамбовский санаторий, откуда он почти сразу удрал. А по области он ездил несколько раз с газетными командировками и в Задонск на дачу. Нам удалось поехать в Задонск, потому что Анна Андреевна раздобыла 500 рублей у Пастернака и прибавила 500 своих. Мы почувствовали себя богачами и провели в Задонске целых шесть недель.

Метания прекратились летом 36 года, когда в Задонске мы услышали, как радио оповещает нас о грядущих процессах и о наступлении нового этапа в нашей жизни. Приближался 37 год. К этому времени О. М. был уже тяжело болен. Врачи не хотели или не умели распознать его болезнь. Припадки походили на грудную жабу. Он плохо дышал, но продолжал работать. В сущности он сжигал себя и хорошо делал. Будь он физически здоровым человеком, сколько лишних мучений пришлось бы ему перенести.

Впереди расстилался страшный путь, и теперь мы уже знаем, что единственным избавлением была смерть. Людям поколения О. М. и даже моего ни до чего дожить уже не придется. Но даже до относительного благополучия послесталинского периода, которое Анна Андреевна и я считаем настоящим счастьем, ему бы не дотянуть. Я это остро поняла в конце сороковых

в начале пятидесятых годов, когда большинство вернувшихся из лагерей после окончания своего срока — а среди них многие побывали на войне — снова отправились в лагеря.

«О. М. правильно сделал, что сразу умер», — сказал мне Казарновский, встретившийся с О. М. в пересыльном лагере, а потом проведший с десяток лет на Колыме. Разве нам снилось такое в Воронеже? Ведь и мы, вероятно, верили, что самое худшее позади... Вернее, мы старались не заглядывать в будущее, как и другие обреченные. Мы исподволь готовились к смерти, растягивая и удлиняя каждую минуту, чтобы вкус ее остался у нас на губах, потому что Воронеж был чудом и чудо нас туда привело.

ИСТОКИ ЧУДА

В письме к Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мандельштама. Ясно, зачем эта приписка понадобилась Николаю Ивановичу: ею он сообщал о так называемом резонансе или общественном мнении. Согласно нашим обычаям его нужно было персонифицировать. Можно сказать, что кто-то один волнуется, но нельзя обмолвиться о настроении или недовольстве целой группы, интеллигенции, скажем, или литературных кругов... Никакая группа у нас не имеет права на собственное отношение к событию. В таких вещах существуют тончайшие градации, понятные только тем, кто побывал в нашей шкуре. Бухарин сумел соблюсти все приличия, чтобы обеспечить делу успех. А вот приписка объясняет, почему Сталин для своего телефонного звонка выбрал не кого иного, как Пастернака.

Разговор состоялся в конце июня, когда дело уже было пересмотрено. Пастернак широко о нем рассказывал. В тот же день он был у Эренбурга, находившегося в Москве... Но никому из заинтересованных лиц, то есть ни мне, ни Евгению Яковлевичу, ни Анне Андреевне, он почему-то не обмолвился о нем ни словом. Правда, он в тот же день позвонил по телефону Евгению Яковлевичу, уже знавшему о пересмотре дела, и заверил его, что все будет хорошо, но этим заверением и ограничился. Женя счел эти слова просто за оптимистический прогноз и никакого значения им не придал. Сама я узнала о сталинском звонке только через несколько месяцев, когда, уже переболев тифом и дизентерией, вторично приехала из Воронежа в Москву. В случайном разговоре Шенгели спросил у меня, дошли ли до нас слухи о звонке Сталина Пастернаку и соответствуют ли эти слухи действительности... Шенгели не усомнился, что все это вымысел досужего воображения, раз Пастернак ничего мне не сообщил. Но я все же решила съездить на Волхонку: ведь дыма-то, да еще такого, без огня не бывает. Рассказ Шенгели подтвердился до мельчайшей детали. Пастернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя и своего собеседника. Точно так рассказывал мне и Шенгели. Очевидно, всем Пастернак передавал это в одинаковом виде, и по Москве он распространился в точном варианте. Я передаю его рассказ текстуально.

Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил: «Про коммунальную кончил?» Со Сталиным он разговаривал, как со всеми нами.

Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь...»

Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали...» Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладыва-

лись. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом...» «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню — никаких секретов из этого разговора делать не надо... Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются.

Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к доносу и аресту, я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой.

Теперь уже всем ясно, чего стоило сталинское чудо, а Пастернаку выпала честь не только распространять весть о нем по Москве, но еще и выслушивать поучения. Цель чуда была достигнута — внимание перенеслось с жертвы на милостивца, с ссыльного на чудотворца. Удивительная черта времени — ни один человек, обсуждавший чудо, не задался вопросом, почему Сталин делает такое исключение для поэтов, что считает нужным лезть на стены, чтобы выручить друга-поэта из беды, в то время как своих друзей и товарищей он совершенно спокойно отправляет на гибель. Об этом не задумался даже Пастернак, и его слегка передернуло, когда я ему это сказала. Мои современники совершенно серьезно восприняли сталинское поучение о дружбе поэтов и восхищались властителем, проявившим такую горячность и темперамент. А у нас с О. М. в глазах стоял Ломинадзе, отозванный для казни из Тифлиса, когда О. М. вел с ним переговоры о том, чтобы остаться на архивной работе в Тифлисе. И кроме Ломинадзе, все те, чьи головы слетели к этому времени. Их было немало, но у нас упорно продолжают вести

счет с 37 года, в котором Сталин вдруг переродился и начал всех уничтожать.

Сам Борис Леонидович остался недоволен своим разговором со Сталиным и многим жаловался, что не сумел его использовать, чтобы добиться встречи. Жаловался он и мне... Об О. М. он не беспокоился, так как безоговорочно поверил словам своего собеседника, что с ним будет все в порядке. Тем острее воспринималась собственная неудача: Борис Леонидович, подобно многим людям нашей страны, болезненно интересовался кремлевским затворником. Я считаю, что Борису Леонидовичу повезло, что эта вожделенная встреча не состоялась, но [illegible] когда все это происходило, мы многого еще не понимали. Нам еще кое-что предстояло познать. И вот [illegible] черта эпохи: почему неограниченные властители, [illegible] ганизовать, чего бы это ни стоило, настоящий [illegible] ослеп или своих современников? Сейчас никто не усомнится в том, что в столкновении двух поэтов с властителем, и моральный авторитет, и чувство истории, и внутренняя правота были у поэтов. Между тем, Борис Леонидович [illegible] неудачу и сам мне говорил, что после [illegible] писать стихов. Было бы еще понятно, если бы Пастернак [illegible] тел собственноручно пощупать язвы эпохи. Как [illegible] впоследствии это сделал, но никаких встреч с [illegible] для этого не понадобилось. А тогда, как мне кажется, Пастернак верил, что в его собеседнике воплощается время [illegible] дущее, и ему просто хотелось вблизи посмотреть на [illegible] и дышащее чудо.

Сейчас распространяют слухи, что Пастернак так струсил во время разговора со Сталиным, что отрекся от О. М. Незадолго до его болезни мы встретились с ним [illegible] и мне об этом рассказал. Я предложила вместе записать разговор, но он этого не захотел. А, может, события [illegible] было не до прошлого.

Что можно инкриминировать Пастернаку [illegible] учесть, что Сталин сразу сообщил о пересмотре дела и о своей милости? В нынешних версиях говорится, будто Сталин требовал, чтобы Пастернак поручился за О. М., а он отказался от поручительства. Ничего подобного не было, ни о каком поручительстве речь даже не заходила.

О. М., выслушав подробный отчет, остался вполне доволен

Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые «этим не занимаются с 27 года...» «Дал точную справку», — смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: «Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться — он здесь ни при чем...» И еще: «Он совершенно прав, что дело не в мастерстве... Почему Сталин так боится «мастерства»? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить...» И, наконец: «А стишки, верно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр...»

Кстати, неизвестно, чем бы кончилось, если б Пастернак запел соловьем о мастерстве и мастерах — может, прикончили бы О. М., как Михоэльса, и уж во всяком случае приняли бы более жестокие меры, чтобы уничтожить рукописи. Я уверена, что они уцелели только благодаря постоянной брани лефовских и символистических современников: бывший поэт, бывший эстет, бывшие стихи... Считая, что О. М. уже уничтожен и растоптан, что он, как говорится, уже «вчерашний день», начальство не стало искать рукописи и затаптывать следы. Они просто сожгли то, что им попалось в руки, и вполне этим удовольствовались. Будь они более высокого мнения о поэтическом наследстве Мандельштама, ни меня, ни стихов не осталось бы. Когда-то это называлось «развеять прах по ветру».

Заграничная версия разговора со Сталиным совершенно нелепа — там пишут, будто О. М. прочел стихи в гостях у Пастернака при посторонних, а бедного хозяина «таскали в Кремль и мучили»... Каждое слово показывает полное незнание нашей жизни. Впрочем, у кого хватит воображения, чтобы реально представить себе, как мы были скованы? Слова о Сталине никто не смел сказать, не то что прочесть «в гостях» такие стихи... Прийти в дом и при гостях прочесть стихи против Сталина мог только провокатор, да и то он бы не решился. А в Кремль «для допросов» никого не вызывали — это было место для парадных приемов и награждения орденами. Для допросов существовала Лубянка, куда Пастернака по поводу Мандельштама не вызывали. Жалеть его по поводу разговора со Сталиным совершенно не стоит — это ему ничуть не повредило. Кроме того жизнь сложилась так, что у Пастернака мы не бывали, изредка он приходил к нам. Это нас вполне устраивало.

АНТИПОДЫ

В некоторых отношениях О. М. и Пастернак были антиподами, но антиподы помещаются в противостоящих точках одного пространства. Их можно соединить линией. У них есть общие черты и определения. Они сосуществуют. Ни один из них не мог бы быть антиподом, скажем, Федина, Ошанина или Благого.

Два стихотворения О. М. как бы являются ответом Пастернаку — одно на стихи, другое на незаконченный разговор. Сначала я скажу про второе, то есть про стихи о квартире. Своим возникновением они обязаны почти случайному замечанию Пастернака. Он забежал к нам на Фурманов переулок посмотреть, как мы устроились в новой квартире. Прощаясь, долго топтался в передней. «Ну, вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи», — сказал он, уходя.

«Ты слышала, что он сказал?» О. М. был в ярости. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства — неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, — которые мешают работать. По его глубокому убеждению ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно — благополучие не может служить стимулом к работе. Не то, чтобы он чурался благополучия, против него он бы не возражал. Вокруг нас шла отчаянная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслуги и дачки. Слова Бориса Леонидовича попали в цель — О. М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась: честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям.

Проклятие квартире — не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали — ни дач, ни квартир, ни денег...

В романе Пастернака тоже мелькнула «квартира» или, вернее, письменный стол, чтобы мыслящий человек мог за ним работать. Пастернак без стола обойтись не мог — он был пишущим человеком. О. М. сочинял на ходу, а потом присаживался на

минутку записать. Даже в методе работы они были антиподами. И Мандельштам вряд ли стал бы защищать особое писательское право на стол в дни великого бесправия всего народа.

Второе стихотворение, связанное с Пастернаком: — «Ночь на дворе, барская лжа...» Это ответ на те строки Пастернака, где он говорит, что «рифма не вторенье строк, а гардеробный номерок, талон на место у колонн»... Здесь явно видна архитектура большого зала консерватории, куда нас пускали, даже если не было билетов. Кроме того, это общественное и почетное положение поэта. От «места у колонн» О. М. в своих стихах отказался. В своем отношении к благополучию, к примиренности со своим временем О. М. гораздо ближе к Цветаевой, чем к Пастернаку, но у Цветаевой это отталкивание носит более абстрактный характер. У О. М. столкновение произошло с определенной эпохой, и он довольно точно определил ее черты и свои счеты с ней.

Еще в 27 году я как-то сказала Пастернаку: «Берегитесь, они усыновят вас...» Он неоднократно напоминал мне эти слова, а в последний раз — через тридцать лет, когда уже появился «Доктор Живаго». А в первый наш разговор — мы говорили о нем и об О. М. — я сказала еще, что Пастернак — домашнее, свое, московское явление, дачник с внутренним органом... Этой московской своей природой он понятен деятелям нашей литературы, и они готовы на примирение, но разрыв все равно неизбежен: они идут в такие области, куда Пастернак не может за ними последовать. А Мандельштам — номад, кочевник, от которого шарахаются даже стены московских домов. Потом я поняла, что с О. М. дело обстоит иначе и номадом его делают сознательно. Что же касается до Пастернака, то я отнюдь не метила в Кассандры, и просто несколько раньше, чем он, столкнулась с действительностью. Точно так кастелянша своим опытом обогнала меня, но я заметила, что рано или поздно глаза открываются у всех, только многие скрывают, что они стали зрячими. В одну из самых последних встреч Пастернак напомнил мне мои слова о неизбежности разрыва.

Судьба была заложена, как в куколке бабочки, в духовной структуре этих людей. Оба оказались обреченными литературе, но Пастернак до поры до времени искал с ней сближения, а О. М. рвался прочь. Добиваясь устойчивости, главным образом материальной, Пастернак знал, что пути к ней ведут через литера-

туру. Из этого круга он никогда не выходил и никогда его не чурался. Доктор Живаго ведь тоже не врач, а поэт, и не Борис Леонидович оторвался от литературы, а только Живаго, да и то лишь когда автор увидел, что разрыв неизбежен.

А в юности Пастернак упорно обдумывал, какая форма литературы даст ему положение и эту самую устойчивость. В каком-то письме к О. М. он даже сообщил, что собирается стать профессиональным редактором. Ясно, что это абсолютная фантастика еще неоперившегося Пастернака. Но фантастические планы Пастернака и О. М. были поразительно непохожи. О. М. всю жизнь открещивался от литературы и литературного труда, будь то перевод, редактура, заседание в Доме Герцена или какое-нибудь высказывание, которого добивалась эпоха. Пастернак находился во власти центробежной, а О. М. центростремительной силы. И литература соответственно обращалась с ними — благоволила сначала к Пастернаку и с первых же шагов унижала Мандельштама. «Пастернак ведь тоже чужой, — сказал мне как-то Фадеев, перелистывая стихи О. М., — и все-таки он как-то ближе к нам и с ним на чем-то можно сойтись...» Фадеев был тогда редактором «Красной Нови», а Мандельштам уже запрещенным поэтом. Я отвезла стихи Фадееву, так как Мандельштам был болен. Это те стихи, которые входят сейчас в Первую тетрадь новых стихов. Фадеев не обратил внимания на «Волка», ни на «волчий цикл». Его заинтересовало только одно восьмистишие: «На полицейской бумаге верже — ночь наглоталась колючих ершей — звезды поют — канцелярские птички пишут и пишут свои раппортички. Сколько бы им ни хотелось мигать, могут они заявленье подать, и на мерцанье, писанье и тленье возобновляют всегда разрешенье...» О. М. подсунул мне этот шуточный стишок из чистого хулиганства. «Почему раппортички два «п»? — спросил Фадеев и тут же догадался, что от слова «РАПП»... И, покачав головой, он вернул мне стихи со словами: «с Пастернаком нам гораздо легче — у него природа». Но дело шло, конечно, не только о тематике стихов и даже не о самих стихах, а о том, что у Пастернака были все-таки какие-то точки соприкосновения с бытовой и традиционной литературой, а через нее со всеми РАПП'ами, а у Мандельштама их не было. Пастернак хотел дружбы, Мандельштам от нее отказывался. Не стоит задаваться вопросом, кто из них прав. Это ложная постановка вопроса. Но замечательно то, что оба в конце жизни со-

вершили поступки, противоположные всей их жизненной установке: Пастернак, написав и издав роман, пошел на открытый разрыв, а Мандельштам уже готов был на сближение, но, как оказалось, слишком поздно. В сущности, у Мандельштама это была попытка к спасению в тот момент, когда веревка уже накинута на шею, но все же она была. В несколько ином положении находилась Ахматова. На нее действовали, держа Леву у себя в качестве заложника. Если бы не это, так называемые «положительные» стихи никогда бы не появились на свет Божий...

В одном Пастернак оказался последовательным на протяжении всей жизни — в своем отношении к интеллигенции или, вернее, к тем интеллигентам, из жизни которых после революции ушло благообразие и чей мирный быт был разрушен. Пастернак, в сущности, проходит мимо всех внутренних процессов, происходивших у интеллигенции, как целого: преподаватели университета просто скучные люди с плоскими мыслями, не достойные дружбы Живаго. Разбит же быт семьи Живаго, и вину за это автор возлагает на взбунтовавшийся народ. Между интеллигентом и народом Пастернак хотел бы воздвигнуть защитную стену государства. Кто такой этот таинственный младший брат Живаго, человек аристократического вида с киргизскими глазами, который всегда появляется как добрый гений с пайками, деньгами, добрыми советами, «покровительством» и помощью? «Загадка его могущества оставалась неразъясненной», — говорит Пастернак. Между тем его связь с победителями и государством ясна на протяжении всего романа, а та помощь, которую он оказывает брату явно принадлежит к числу «государственных чудес», для которых нужны телефоны, приводные ремни и созданные по совету Горького комиссии по улучшению быта ученых. Он занимает настолько крупное положение, что обещал брату отправить его за границу или выписать в Москву из Парижа высланную туда семью. Пастернак прекрасно знал, кому из правителей такое было по силам в начале тридцатых годов. Если бы Живаго не умер, он бы получил через брата «талон на место у колонн». Эта ставка на государство с его чудесами совершенно чужда Мандельштаму. Он рано понял, что несет людям государство нового типа, и не надеялся на его покровительство. И он верил, что «народ, как судия, судит», а также сказал: «восходишь ты в глухие годы, о солнце, судия, народ». Эту веру разделяю и я, и знаю, что народ произносит свой суд, даже когда безмолвствует.

Под фамилией Гинц Пастернак вывел комиссара Линде, убитого солдатами на фронте. Для Пастернака эта гибель возмездие за то, что люди, не умевшие управлять и держать в руках солдатскую массу, как казачьи офицеры, взбаламутили народ... О. М. хорошо знал Линде, вероятно, по дому Синани. Чтобы характеризовать его отношение к этой гибели, достаточно привести следующие строчки: «благословить его в далекий ад сойдет стопами легкими Россия»...

В статье о Гамлете, Пастернак писал, что трагедия Гамлета не в безволии, а в том, что, совершив акт, к которому его призывает сыновний долг, он потеряет наследство, принадлежащее ему по праву наследия, иначе говоря, тот же «талон на место у колонн». Москва от рождения принадлежала Пастернаку. В какой-то момент ему могло показаться, что он отказался от своего наследства, но этого не случилось и все осталось при нем. Марина Цветаева тоже пришла в Москву законной наследницей и соответственно была принята. Но всякое наследство было ей противопоказано, и она от него действительно отреклась, как только обрела свой голос в поэзии. Совсем иначе приняли акмеистов — Ахматову, Гумилева и Мандельштама. Они несли с собой что-то, вызывавшее глухую ярость в обоих лагерях литературы. Их враждебно встретили и Вячеслав Иванов со всем своим окружением и горьковский круг. С Гумилевым это произошло не сразу, а лишь после первой акмеистической книги — «Чужое небо». Поэтому борьба с ними всегда велась на уничтожение и разворачивалась гораздо острее, чем с другими поэтами. О. М. всегда говорил, что большевики берегут только тех, кого им с рук на руки передали символисты. По отношению к акмеистам этот акт совершен не был. И лефовцы и остатки символистов в советское время одинаково направляли основной свой удар на последних акмеистов — Ахматову и Мандельштама. Иногда борьба принимала смешные формы, вроде статей Брюсова, где он превозносил «неоакмеизм» с его главой О. М. и приписывал ему в ученики всех, кому не лень, лишь бы ослабить школу. Еще забавнее личные столкновения О. М. с Брюсовым. Однажды Брюсов зазвал О. М. к себе в служебный кабинет и долго расхваливал его стихи, цитируя при этом Мака-

вейского, киевского поэта, злоупотреблявшего латынью. В другой раз Брюсов на заседании, распределявшем академические пайки, настоял, чтобы О. М. дали паек второй категории, сделав вид, что спутал его с юристом, носящим ту же фамилию. Это были забавы вполне в стиле десятых годов, а к политической дискриминации Брюсов не прибегал никогда — этим занимался более молодой Леф.

Сам О. М. очень хотел признания символистов и лефовцев, главным образом Верховского и Кирсанова, но это ему не удалось... Оба держались стойко на своих позициях, и все друзья дразнили О. М. его полным фиаско...

ДВА ГОЛОСА

В понимании Андрея Белого очерк очень широкая форма, куда входит решительно все, на чем нет клейма ненавистного бытового романа и вообще беллетристики. «С этой точки зрения, — сказал О. М. — 'Разговор о Данте' тоже очерк». Андрей Белый подтвердил.

Мы встретились с Белым в Коктебеле в 33 году. Мужчин тянуло друг к другу, но жена Белого, видно, помнила про старые распри и статьи О. М. и явно противилась сближению. Возможно, что она знала об антиантропософской и антитеософской направленности О. М., и это делало его не только чуждым, но и враждебным для нее человеком. Все же они встречались, хотя и украдкой и с охотой разговаривали. В те дни О. М. написал «Разговор о Данте» и читал его Белому. Разговоры шли горячие, и Белый все время ссылался на свою работу о Гоголе, тогда еще не законченную.

Василиса Шкловская мне сказала, что из всех людей, которых она знала, наибольшее впечатление на нее произвел Белый. Я понимаю ее. Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала. Было ли это впечатление от его глаз или от непрерывно бьющейся мысли, ска-

зать нельзя, но он заряжал каждого, кто к нему приближался, каким-то интеллектуальным электричеством. Его присутствие, его взгляд, его голос оплодотворяли мышление, ускоряли пульсацию. У меня осталось впечатление бестелесности, электрического заряда, материализованной грозы, чуда... Это был уже идущий к концу человек, собиравший коктебельскую гальку и осенние листья, чтобы складывать из них сложные узоры, и под черным зонтиком бродивший по коктебельскому пляжу с маленькой, умной, когда-то хорошенькой женой, презиравшей всех, непосвященных в ее сложный антропософский мир.

Символисты были великими обольстителями и ловцами человеческих душ. И Белый раскидывал свои сети, как другие. Однажды он поймал меня и долго пересказывал теорию стиха, изложенную в его «Символизме». О. М., смеясь, сказал ему, что все мы на этом воспитывались, а я в частности, его читательница. Было это, конечно, преувеличением, но я не возражала, потому что Белый, которого мы считали исключительно избалованным и окруженным почти культовым преклонением, вдруг обрадовался новой читательнице и просиял. Видно и он в те годы уже остро ощущал безлюдие и одиночество, чувствовал себя отвергнутым и непрочтенным. Ведь судьба его читателей и друзей была очень горькой: он только и делал, что провожал в ссылки и встречал тех, кто возвращался, отбыв срок. Его самого не трогали, но вокруг вычищали всех. Когда уводили его жену, а это случалось не раз, он бился и кричал от бешенства. Почему берут ее, а не меня, — жаловался он нам в то лето — незадолго до нашей встречи ее продержали несколько недель на Лубянке. Эта мысль приводила его в неистовство и сильно укоротила ему жизнь. Последней каплей, отравившей его сознание, было предисловие Каменева к его книге о Гоголе. Это предисловие показывает, что как бы ни обернулись внутрипартийные отношения, нормального развития мысли все равно бы не допустили. При любом обороте событий, идея о воспитании и опеке над мыслью все равно осталась бы основой основ. Вот столбовая дорога, сказали нам, а если мы ее для вас проложили, зачем вам ездить по проселочным?... К чему чудачества, когда перед вами поставлены самые правильные задачи и заранее дано их решение!...

Наши опекуны во всех своих формациях никогда не ошибались и не знали сомнений. По зародышу они смело опреде-

ляли, каков будет плод, а отсюда один шаг до декрета об уничтожении бесполезных зародышей, мыслей и ростков... И они это делают и притом весьма успешно...

В самой природе Белого лежало чувство, что его мысль не доходчива, трудна, шероховата. Отсюда его манера говорить прямо противоположная манере Пастернака. Белый обволакивал собеседника, медленно его завоевывал, убеждая и завораживая. У него были чуть смущенные, просительные интонации. В них чувствовалась неуверенность в слушателе, страх быть непонятым и неуслышанным, потребность завоевать доверие и внимание.

А Пастернак просто дарил своей улыбкой и речью. Он оглушал органным гудением с такой уверенностью, как будто считал всякую почву заранее вспаханной для восприятия. Он не убеждал, как Белый, не спорил, как Мандельштам, но доверчиво ликовал и гудел, позволяя всем слушать и восхищаться. Он как бы исполнял сольную арию, считая, что с детства принадлежащая ему Москва уже подготовила созревшую аудиторию, наделенную к тому же слухом и разумом и обязательно влюбленную в его голос. Со своей аудиторией он даже, до известной степени, считался и ничем не хотел ее огорчать. Но ему нужна была именно аудитория, а не собеседники — их он избегал. Белому же требовался материал для пробуждения мысли, такие люди, которые бы начинали в его присутствии думать и искать. Я спросила у О. М.: «У тебя которая из этих двух манер?» Он ответил: «Конечно, как у Белого», но это неверно — О. М. искал только равноправных собеседников. Его в равной мере раздражала аудитория, ученики и почитатели. У него была ненасытная жажда общения с равными, и с каждым годом удовлетворять ее становилось все труднее. В нашем обществе шел процесс интеллектуальной мимикрии: все мысли и голоса тоже принимали защитную окраску.

ГИБЕЛЬНЫЙ ПУТЬ

Смерть художника не случайность, а последний творческий акт, как бы снопом лучей освещающий его жизненный путь. О. М. понимал это еще юношей, когда писал статью на смерть Скрябина. Почему удивляются, что поэты с такой прозорливостью предсказывают свою судьбу и знают, какая их ждет смерть? Ведь конец и смерть — сильнейший структурный элемент, и он подчиняет себе все течение жизни. Никакого детерминизма здесь нет, это скорее надо рассматривать, как свободное волеизъявление. О. М. властно вел свою жизнь к той гибели, которая его подстерегала, к самой распространенной у нас форме смерти «с гурьбой и гуртом». Зимой 32/33 года, на вечере стихов О. М., в редакции «Литературной Газеты» Маркиш вдруг все понял и сказал: «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь»... Это перефразировка строчек О. М. в варианте одного стихотворения: «сам себя я за руку по улицам водил»...

О. М. постоянно говорил в стихах об этом виде смерти, но этого не заметили, как и разговоров Маяковского о самоубийстве. Но, готовясь к смерти, люди в последнюю минуту стараются оттянуть неизбежный конец. Они закрывают глаза и делают вид, что спрятались и могут продолжать жить: ищут квартиру, покупают прочную обувь, отворачиваются от уже вырытой ямы. Так поступал и О. М., написав роковые стихи о Сталине.

Стихи были написаны в конце раскулачивания между «Старым Крымом» и «Квартирой». Был ли психологический импульс к написанию этих стихов? Импульсов было, наверное, несколько или множество, а не один. Каждый из них в какой-то пропорции участвовал в том, что на языке следователя называлось «акцией» и в начале следствия рассматривалось, как террористический акт.

Первый импульс можно назвать «не могу молчать». Поколение наших отцов часто произносило эту формулу. Мы не

повторили ее за отцами, но видно есть капля, которая пере-
полняет чашу. К 33 году мы сильно продвинулись в познании
действительности. Сталинизм уже проявился в массовом пред-
приятии — раскулачивании и, в частности, — организации
литературы.
Летом мы были в Старом Крыму, и в стихах впервые появи-
лись слова, указывающие, что О. М. видел свежие следы рас-
кулачивания — страшные тени Украины и Кубани, голодные
крестьяне... В первом варианте стихов Сталин назван душегу-
бом и мужикоборцем. Все об этом тогда думали и говорили шо-
потом, конечно, и стихи не опередили своего времени. Они опе-
редили только сознание правящих кругов и тех, кто им при-
служивал.
Вторая предпосылка для написания этих стихов — сознание
собственной обреченности. Прятаться «шапкой в рукав» было
уже поздно. Стихи тридцатых годов уже ходили по рукам. В
«Правде» появился разносящий подвал без подписи, где «Пу-
тешествие в Армению» называлось «лакейской прозой». Это
было уже не предупреждение, а подведение итогов. До этого
со мной говорил редактор Гослита Чечановский, который «со-
ветовал» немедленно в печати отказаться от «Путешествия в
Армению», иначе, как он говорил, вы раскаетесь... Все преду-
преждения в форме угроз и советов были уже сделаны (Грон-
ский, Гусев), но О. М. ими пренебрег. Гибель надвигалась.
Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года в новой и един-
ственной в моей жизни квартире. За стеной - гавайская гитара
Кирсанова, по вентиляционным трубам запахи писательских
обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером — толпа
гостей, из которых половина подослана. Гибель могла прийти
в форме быстрого или медленного уничтожения. О. М., человек
активный, предпочел быстрое. Он предпочел умереть не от руки
писательских организаций, которым принадлежала инициатива
его уничтожения, а от карающих органов.
Обычной формы самоубийства О. М. не признавал, как и Анна
Андреевна. А на самоубийство толкало все — одиночество, изо-
ляция, время, тогда работавшее против нас. Одиночество это не
отсутствие друзей и приятелей — их всегда вдосталь — а жизнь
в обществе, которое не слышит предостережений и продолжает
идти с закрытыми глазами по страшному братоубийственному
пути, увлекая за собой всех и каждого. О. М. не случайно на-

звал Анну Андреевну Кассандрой. В этом положении были не
только поэты. Люди старшего, чем мы, поколения, видели, что
надвигается, но их голоса потерялись и замерли. Еще до по-
беды «нового» они успели сказать об его этике, идеологии,
нетерпимости и об искаженных представлениях о праве. Голос
вопиющего в пустыне. . И с каждым днем становилось яснее,
что говорить с отрубленным языком становится все труднее.
Выбирая род смерти, О. М. использовал замечательное свой-
ство наших руководителей: их безмерное, почти суеверное
уважение к поэзии: «Чего ты жалуешься, — говорил он, —
поэзию уважают только у нас — за нее убивают. Ведь больше
нигде за поэзию не убивают»...
О. М. в витрине рассматривал портреты и сказал, что боится
только человеческих рук. Жирные пальцы в стихах — не-
сомненный отголосок истории Демьяна; недаром он испугался
и посоветовал Пастернаку не вмешиваться в это дело. Тонкую
шею О. М. приметил у Молотова — она торчала из воротничка,
увенчанная маленькой головкой. «Как у кота», — сказал О. М.,
показывая мне портрет. Честь оживления слова «тонкошеий»
принадлежит Кузину. Он развлекался столкновением трех «е»
в среднем роде этого прилагательного: тонкошеее животное...
Первые слушатели этих стихов приходили в ужас и умоляли
О. М. забыть их. К тому же самоочевидность этой правды
уменьшала для современников ценность стихотворения. В по-
следние годы я замечаю сочувственную реакцию у слушателей.
Кое-кто спрашивает меня, каким образом уже в 34 году О. М.
все понял — нет ли ошибки в датировке? Это люди, принявшие
официальную версию: все шло хорошо до ежовщины, а в сущ-
ности и ежовщина не так плоха, а просто к старости, уже после
войны, старик обезумел и наделал бед... Впрочем, эта версия
уже отжила срок, и правда постепенно просачивается. Но мы
продолжаем идеализировать двадцатые годы, а к ним прихва-
тываем еще и кусочек тридцатых. И это упорно у нас бытует.
Старые поколения вымирают, не успев ничего сказать. Нынеш-
ние старики, даже побывавшие в лагерях, по-прежнему твердят
о своей цветущей молодости, которая оборвалась только с их
арестом. Что будут думать наши внуки, если все мы молча
уйдем?
Среди современников я зарегистрировала три обособленных
мнения о стихах о Сталине. Кузин считал, что О. М. не имел

права их писать, потому что О. М. в общем положительно относился к революции. Он обвинял О. М. в непоследовательности: принял революцию, так получай своего вождя и не жалуйся... В этом есть своя дубовая логика. Но я не понимаю, как Кузин, любивший и наизусть знавший стихи и прозу — на старости он об этом забыл и даже написал Морозову, что никогда «Путешествие в Армению» не читал, — не заметил раздвоенности и вечных метаний О. М. Очевидно, люди с трудом понимают замаскированные или даже слегка прикрытые высказывания. Им нужно, чтобы все било прямо в лоб. Иногда мне кажется, что О. М. пошел на такое «лобовое» высказывание, потому что устал от глухоты своих слушателей, которые твердили: какие прекрасные стихи, но при чем здесь политика?! Почему их не печатают?

Эренбург не признавал стихов о Сталине. Он называл их «стишками» к ужасу милой и вежливой Любы, которая не знает, что другого слова для стихов у нас вообще не существовало. «Послушай стишок, — говорил О. М., — как он? Ничего?»... Илья Григорьевич справедливо считает их одноплановыми и лобовыми, случайными в творчестве О. М.

Каково бы ни было качество этих стихов, можно ли их считать случайными для поэта, если они принесли ему страшную гибель? Стихи эти были актом, поступком; с моей точки зрения, они логически вытекают из всей жизни и работы О. М. Столь же несомненно, что в них есть элемент своеобразного приспособленчества: поэт, никогда не делавший шага навстречу читателю, совершенно не заботившийся, чтобы быть понятым, считавший каждого слушателя стихов и собеседника равным себе и потому не разжевывавший свои мысли и не упрощавший их, именно эти стихи сделал общедоступными, прямыми, легкими для восприятия. С другой стороны он позаботился о том, чтобы они не могли служить примитивным средством политической пропаганды, — об этом он даже сказал мне: «это не мое дело»... Иначе говоря, он написал эти стихи в расчете на более широкий, чем обычно, круг читателей, хотя знал, что в момент написания читателей у него быть не могло. Думаю, что он не хотел уйти из жизни, не оставив недвусмысленного высказывания о том, что происходило на наших глазах.

Враждебно относился к этим стихам и Пастернак. Он обрушился на меня — О. М. был уже в Воронеже — с целым градом упреков. Из них я запомнила: «Как мог он написать эти стихи — ведь он еврей!» Этот ход мысли и сейчас мне непонятен, а тогда я предложила Пастернаку еще раз прочесть ему это стихотворение, чтобы он конкретно показал мне, что в них противопоказано еврею, но он с ужасом отказался.

Отношение первых слушателей наводило на память рассказ Герцена о разговоре его со Щепкиным, который приехал в Лондон, чтобы просить Герцена прекратить свою деятельность: ведь молодых людей в России хватают за то, что они читают «Колокол»... К счастью, «дела» не подняли и никто не погиб за то, что выслушал стихи О. М. Да и сам Мандельштам отнюдь не политический писатель и его общественные функции совершенно непохожи на герценовские... Но где, в самом деле, проходит граница? В какой степени следует оберегать и щадить своих сограждан? Когда речь идет о современниках Герцена, я удивляюсь Щепкину: как можно так ограждать людей? Нельзя держать их в коробке с ватой.... А своих современников мне что-то не хочется ставить под удар — пусть уж лучше мирно живут и приспособляются к тяжким временам: даст Бог, все пройдет, а там посмотрим... Жизнь возьмет свое и все станет на место... Зачем будить спящих, если я верю, что они когда-нибудь сами проснутся. Не знаю, права ли я, но как и все, я заражена инстинктом бездеятельности, пассивности и покорности...

Мне ясно только одно: стихи О. М. опередили свое время, к моменту их появления почва еще не созрела, идея не была изжита. Еще вербовались сторонники режима и слышались искренние голоса адептов, веривших, что будущее за ними и тысячелетнему царству не будет конца. Остальные — численно их было, может даже, больше, чем адептов, — только перешептывались и вздыхали. Никто не слышал их голосов, потому что в них не нуждались. Строчка: «наши речи за десять шагов не слышны» точно передает ситуацию тех лет. Ведь эти речи считались не новым, а старым, отжившим прошлым, которого уже не вернешь... Адепты верили не только в свое будущее торжество, но и в то, что они несут счастье всему человечеству, и в их мировоззрении была своеобразная целостность и органичность, которая представляла собой величайший соблазн. Уже предыдущая эпоха жаждала этой цельности, возможности из одной идеи вывести все объяснения для мира вещей и людей и привести все в гармонию одним единственным усилием. Вот

почему люди так охотно ослепляли себя и шли за вожаком, запрещая себе сравнивать теорию с практикой и взвешивать последствия своих поступков. Вот почему происходила планомерная потеря чувства реальности, а ведь найти первоначальную теоретическую ошибку можно было, только вновь обретя это чувство. Пройдет еще не мало времени до того дня, когда мы сосчитаем, чего нам стоила эта теоретическая ошибка, и проверим, действительно ли «десяти небес нам стоила земля»... Заплатив небесами, действительно ли мы обрели землю?

КАПИТУЛЯЦИЯ

У О. М. был долгий период молчания. Он не писал стихов — прозы это не коснулось — больше пяти лет — с 1926 по 1930 год. То же произошло с Ахматовой. И она какое-то время молчала, а у Бориса Леонидовича это длилось добрый десяток лет. «Что-то, должно быть, было в воздухе», — сказала Анна Андреевна, и в воздухе действительно что-то было, — не начало ли общего оцепенения, из которого мы и сейчас не можем выйти...

Можно ли считать случайностью, что трех действующих поэтов постигло временное онемение? Различие в исходных позициях этих троих сущности дела не меняет, и чтобы обрести голос, каждому из них пришлось определить свое место в мире, который создавался на наших глазах, и на собственной судьбе показать, какое место в нем занимает человек.

Первым из троих замолчал О. М.... Это случилось, вероятно, потому, что процесс самоопределения протекал у него с наибольшей остротой: отношения с эпохой стали основной движущей силой его жизни и поэзии, а по свойствам его характера — «нрава он не был лилейного» — О. М. не сглаживал, а скорее обострял все противоречия и каждый вопрос ставил ребром.

Стихи прекратились в середине двадцатых годов. Что же было тогда в воздухе, что О. М. задохнулся и умолк?*

Если судить по внешним признакам, мы прожили не одну, а несколько эпох. С точки зрения историка, это сорокалетие легко поддается периодизации и в нем различимы несколько этапов, которые могут показаться не только разными, но и противоречивыми, хотя я убеждена, что один логически вытекал из другого. То и дело исчезал верхний слой, изменялся даже физический облик деятеля. Так мы внезапно заметили, что исчезли «черненькие», сменившиеся «беленькими», которые в свою очередь быстро пали. А с этими сменами изменялся весь стиль жизни и управления. Но есть нечто объединяющее все эти периоды. Люди, утверждавшие, что двигателем истории является «базис», экономический фактор, всей своей практикой доказали, что история это развитие и воплощение идеи. Это идея формировала сознание целых поколений, вербуя сторонников, распространяясь, завоевывая умы, создавая формы государственной и общественной жизни, торжествуя, а затем постепенно изживая себя и сходя на нет. Вячеслав Иванов при мне — мы навестили его в Баку проездом в Тифлис в 21 году, — сказал, что бросил Москву и скрылся в бакинском уединении, потому что «идеи перестали править миром» и он в этом убедился. Какие дионисовы культы подразумевал под своей идеей Вячеслав Иванов, учитель, мэтр и пророк десятых годов, если он не заметил, что ко времени нашего разговора идея уже успела завоевать огромные пространства и массы людей не только у нас, но и за рубежом. Это идея о том, что существует непреложная научная истина и люди владеют ею; владея истиной, они могут предвидеть будущее и менять по своему усмот-

* К этому времени у О. М. началась сердечная болезнь и тяжелая одышка. Евгений Яковлевич всегда говорил, что одышка О. М. болезнь не только физическая, но и «классовая». Это подтверждается обстановкой первого припадка, происшедшего в середине двадцатых годов. К нам пришел в гости Маршак и долго умилительно объяснял О. М. что такое поэзия. Это была официально-сентиментальная линия. Как всегда, Самуил Яковлевич говорил взволнованно, волнообразно модулируя голос. Он первоклассный ловец душ — слабых и начальственных. О. М. не спорил — с Маршаком соизмеримости у него не было. Но вскоре он не выдержал: ему вдруг послышался рожок, прервавший гладкие рассуждения Маршака, и с ним случился первый приступ грудной жабы.

рению течение истории, вводя в него благоразумное начало. Отсюда авторитет владеющих истиной — prioritas dignitatis. Эта религия — адепты скромно называли ее наукой — возводит человека, облеченного авторитетом, на уровень Бога. Она разработала свой символ веры и свою мораль — мы видели ее в действии. В двадцатых годах было не мало людей, вспоминавших, как победило христианство, и пророчивших по аналогии тысячелетнее царство новой религии. Самые совестливые проводили аналогию дальше, перечисляя исторические преступления церкви: ведь не изменила же инквизиция сущности христианства... И всем было ясно преимущество новой идеи, обещавшей рай на земле вместо небесной награды. Но самое существенное это полный отказ от сомнений и абсолютная вера в добытую наукой истину.

«А что если это не так, если в будущем на это посмотрят иначе?» — спросила я Авербаха. Речь шла об одной из его литературных оценок. Он сказал: «Говорят, Осип Эмильевич вернулся из Армении и напечатал плохие стихи...» Меня заинтересовал его критерий. Он объяснил: у О. Э. нет классового подхода. И через секунду: никакой вообще культуры и вообще искусства не существует, есть искусство буржуазное и искусство пролетарское, то же относится и к культуре... Ничего вечного нет, а ценности бывают только классовые. Его нисколько не смущало то, что свои классовые ценности он считает все-таки вечными. Поскольку победа пролетариата начинает новую эру и будет длится вечно, те ценности, которые устанавливает Авербах для класса, которому он служит, являются вечными. Он искренно удивился, как я могу сомневаться в его оценках — ведь он владеет единственным научным методом и поэтому его суждение непререкаемо: осужденное им осуждено в веках. Я рассказала об этой встрече Мандельштаму — все эти истины я узнала, стоя на площадке трамвая. О. М. восхитился лапидарным величием Авербаха, который действительно верил в свою истину и упивался своеобразным изяществом своих логических построений. Дело происходило в тридцатом году, и О. М. уже мог восхищаться игрой авербаховского ума. К этому времени О. М. уже вернул себе внутреннюю свободу и обрел голос — двадцатые годы с их ущербностью и сомнениями кончились, поэтому О. М. мог как бы со стороны прислушиваться к «пеньковым речам» и не принимать их близко к сердцу.

Авербах был типичнейшим человеком первого революционного десятилетия. Так думали, рассуждали и говорили все адепты новой религии во всех областях. В их речах чувствовался задор — они любили поучать и ошеломлять. Они взяли на себя свержение кумиров, то есть старых ценностных понятий, а время работало на них и поэтому никто не замечал, какими топорными орудиями они работают.

Крик — «за что боролись?» раздался в самом начале двадцатых годов и сразу умолк. Народ еще не безмолвствовал, а молчал, готовясь жить и благоденствовать. Интеллигенция же на досуге занялась переоценкой ценностей — это был период массовой капитуляции. По существу они шли по пути, проложенному ниспровергателями дореволюционного периода и их продолжателями типа Авербаха, но разумеется, старались избежать крайностей и грубой прямоты передовиков. Во главе движения капитулянтов были тридцатилетние, успевшие побывать на войне. Они вели за собой младших. Вообще в те годы действовали люди тридцати-сорока лет. Старшие, если они уцелели, молча отходили в сторону. В основе каждой капитуляции лежала предпосылка, что на смену «старому» пришло «новое», а тот, кто держится за «старое», остается на бобах. Это воззрение было подготовлено теорией прогресса, а также историческим детерминизмом новой религии. Капитулянты расшатывали все старые представления хотя бы потому, что они старые и, следовательно, отслужили свой срок. Для огромного числа неофитов никаких ценностей, истин и законов больше не существовало, кроме тех, которые нужны были сейчас и назывались для удобства классовыми. Христианская мораль с легкостью отождествлялась с буржуазной, а вместе с ней древняя заповедь «не убий». Все казалось фикцией. Свобода? А где вы ее видели?... Никакой свободы нет и не бывало... Искусство, а тем более литература, только и делали, что выполняли заказ своего класса — из этого прямой вывод: писателю следует с полным сознанием и пониманием дела перейти к новому заказчику... Из обихода исчезло множество слов — честь, совесть и тому подобное. Развенчать эти понятия не так уж трудно, когда открыт рецепт развенчивания.

Характерно, что всяким понятием в те годы орудовали в его чистом, то есть абсолютно абстрактном виде, без малейшего учета его социальной, человеческой и земной природы. В таком

виде они легче поддавались низложению: ничего нет проще, чем доказать, например, что нигде в мире нет абсолютной свободы печати, а затем заявить, что вместо суррогатов, которыми тешатся жалкие либералы, лучше с мужественной прямотой добровольно отказаться от всяких потуг на свободу. Эти схемы казались убедительными, потому что незрелые умы не доросли ни до ограничительных понятий, ни до отрицательных определений.

Психологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одиночестве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так называемом целостном и органическом мировоззрении, приложимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы и в вечность победителей. Но самое главное это то, что у самих капитулянтов ничего за душой не было. Эту поразительную пустоту лучше всех, пожалуй, выразил Шкловский в «Zoo», злосчастной книжке, где он слезно просит победителей взять его под опеку. Сами они себя, что ли, обокрали или это война и окопы вызвали такую горестную реакцию, но чувство несовершеннолетия и потребность в опеке ощущались с огромной силой. Только тот, кто разделял эти чувства с другими, мог быть признан современным человеком.

«В вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них», — сказал О. М. в редакции «Прибоя», отказываясь подписаться под коллективной писательской петицией, потому что она основывалась на постановлении ЦК о литературе. Речь шла о защите какого-то критика от нападок РАППа — его обвиняли в том, что он написал рецензию на роман Ляшко, не дочитав его до конца. Писатели писали наверх, прося ЦК распорядиться о прекращении травли. Они ссылались на постановление, предлагающее положить конец литературной борьбе, — «распрям», как это тогда называлось, — и дружно приняться за труд, чтобы объединенными усилиями отлично выполнить партийный заказ.

В редакции, как всегда, толпилось много народу. Они окружили О. М. Мотивировка отказа, как мы заметили, вызвала самое искреннее недоумение. Для присутствовавших слова О. М. были ветошью из сундуков прошлого, признаком несовременности и отсталости. В искренности их недоумения сомневаться не стоит: я помню удивленное лицо Каверина, собиравшего подписи. И ему О. М. показался просто старомодным чудаком,

не понимавшим своего времени и его основных тенденций. Когда О. М. и Анне Андреевне было по тридцать с лишним лет, их искренно считали стариками. Но случилось так, что оба они стали постепенно молодеть в сознании людей, а позиции сторонников «нового» безнадежно на глазах обветшали.

Андерсеновский мальчик сказал, что король гол, не рано и не поздно, а как раз вовремя. До него это говорили, наверное, не раз, но никто не услышал этих слов. А вот О. М. многое сказал слишком рано, и это было в ту пору, когда всякое нормальное суждение казалось безнадежно устаревшим и обремененным. Кто не вторил общему хору, попадал на задворки. Общий хор заглушал все, он действительно звучал мощно. Сейчас многие хотели бы соединить двадцатые годы с сегодняшним днем и восстановить добровольное единство, которое создавалось в те дни. Люди, уцелевшие от двадцатых годов, ходят сейчас среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, что тогда был пережит неслыханный расцвет — наука, литература, театр! — и если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже взобрались на самые вершины жизни. Остатки Лефа, сотрудники Таирова, Мейерхольда и Вахтангова, студенты и преподаватели Вифли и Зубовского института, профессора, выпущенные Институтом Красной Профессуры, марксисты и отовсюду изгнанные формалисты, все, чье тридцатилетие выпало на двадцатые годы, еще и сейчас призывают вернуться в ту эпоху и снова, уже «не допуская никаких искажений», пойти открывавшейся им оттуда дорогой. Иначе говоря, они не признавали себя ответственными за то, что произошло после. Но так ли это? Ведь именно люди двадцатых годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас: молодое государство, невиданный опыт, лес рубят — щепки летят... Каждая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного «нового». Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается в таких случаях, постепенно растаяла. И именно люди двадцатых годов начали аккуратно отделять овец от козлищ, своих от чужих, сторонников «нового» от тех, кто еще не забыл самых примитивных правил общежития.

Победители могли бы удивиться легкости одержанной победы, но они приняли ее, как должное, потому что верили в свою

правоту: ведь они несли счастье людям... Только требования к капитулянтам постепенно увеличивались. Об этом свидетельствует быстрое исчезновение слова «попутчик». Оно сменилось названием «беспартийный большевик», а потом всех сменил «верный сын родины, который пламенно любит народ и беззаветно служит партии и правительству». На этом произошла стабилизация.

Память людей устроена так, что хранит смутный очерк и легенду, а не само событие. Чтобы извлечь факты, надо жестоко расправиться с легендой, а для этого прежде всего определить, в каких кругах она зародилась. Идиллические вздохи о двадцатых годах — результат легенды, созданной тридцатилетними капитулянтами, которые случайно сохранили жизнь, и их младшими братьями. А на самом деле двадцатые годы — это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего. В двадцатые годы наши карающие органы еще набирались сил, но они уже действовали. Тридцатилетние настойчиво проповедовали свою веру. Уговаривая, а потом стращая, они повели за собой целые толпы в следующую эпоху, где отдельных голосов уже не было слышно.

У нас нет и не может быть института по изучению общественного мнения, а именно оно-то и является показателем тех брожений, которые складываются в психологические процессы. Функции таких институтов частично выполнялись карательными органами. В двадцатые годы они даже слегка зондировали общественные круги — что там думают? — и для этой роли существовали специальные кадры осведомителей. Затем решили, что общественное мнение совпадает с государственным, и роль осведомителей свелась к регистрации фактов расхождения, из которых планомерно делали административные выводы. После тридцать седьмого года зондирование окончательно потеряло значение из-за массовости «профилактических» мер, общественное же мнение подверглось полной национализации.

А в двадцатые годы мы еще играли с огнем и ничего не понимали. Едва О. М. успел сказать: «Чего тебе еще? Не тронут, не убьют», как появилась первая ласточка будущего. В Царское Село к нам приехал розовенький Всеволод Рождественский. Он явился предупредить О. М., что следователь — Рождественский только что вышел после небольшой отсидки — очень интересовался О. М. Сказать, о чем его допрашивали относительно Мандельштама, Рождественский отказался наотрез: «Я дал слово, а меня с детства приучили свое слово держать...» О. М. выгнал этого паиньку, а потом мы сообразили, что его попросту прислали припугнуть О. М. и напомнить ему о всевидящем оке. А впоследствии это делалось неоднократно. В «Разговоре о Данте» О. М. не забыл упомянуть о диффузии — взаимопроникновении тюрьмы и внешнего мира и о том, что правителям полезно, чтобы управляемые запугивали друг друга страшными тюремными рассказами. Всеволод Рождественский аккуратно выполнил свое задание, но почему-то забыл написать об этом в своих мемуарах. Зато он заставил Мандельштама рассуждать о поэзии в условно парнасско-акмеистическом жанре, приписав ему мысли и поучения, которые полагалось бы изрекать эстету, выдуманному советской критикой. Мандельштаму будут приписывать еще много дурацких разговоров. Лучший критерий подлинности этих разговоров те статьи, которые им написаны. Многие статьи О. М. — это его живой голос в споре и разговоре. Он был не по плечу своим современникам, и они в своих мемуарах искажали его мысли вольно или невольно. Особенно трудно понимали его те, кто, веруя, прожил двадцатые годы, когда завязывались все узлы, а люди воздействовали друг на друга, проповедуя новую религию, разрушая ценности и расчищая дорогу будущему.

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

О. М. не верил в тысячелетнее царство нового и к революции пришел не с пустыми руками. Груз у него был тяжелый. Это с одной стороны христианско-иудейская, как сказали его неведомые друзья, культура, а с другой — революция с большой

буквы, вера в ее спасительную и обновляющую силу, социальная справедливость, четвертое сословие и Герцен. При мне О. М. Герцена уже не читал, но, несомненно, это одно из формообразующих влияний его жизни. Следы активного чтения Герцена разбросаны повсюду — и в «Шуме Времени», и в страхе перед птичьим языком, и в львенке, который поднимает огненную лапу и жалуется равнодушной толпе на занозу — эта заноза станет щучьей косточкой, застрявшей в ундервуде — и в переводах Барбье, и в понимании роли искусства. «Поэзия — это власть», — сказал он в Воронеже Анне Андреевне и она склонила длинную шею. Ссыльные, больные, нищие, затравленные, они не желали отказываться от своей власти... О. М. держал себя, как власть имущий, и это только подстрекало тех, кто его уничтожал. Ведь они-то понимали, что власть — это пушки, карательные учреждения, возможность по талонам распределять все, включая славу, и заказывать художникам свои портреты. Но О. М. упорно твердил свое — раз за поэзию убивают, значит ей воздают должный почет и уважение, значит, ее боятся, значит — она власть...

Худшего груза, чем у О. М., представить себе нельзя. Можно было заранее предсказать, что он обречен и в этом мире места себе не найдет. Искать оправдания становящемуся во имя Герцена — задача невыполнимая. Вместо оправдания неизбежно напрашивалось обвинение. Но Герцен оставляет за собой право на уход и гордое одиночество, а О. М. этого права не принял. Для него путь лежит не от людей, а к людям — он чувствовал себя не человеком, стоящим над толпой, а одним из толпы. Всякое обособление было для него запретным, и в этом, вероятно, его христианско-иудейская культура. Многие из моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый психологический конфликт. Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего. Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдания, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь ждали революцию, но увидев ее будни, испугались и отвернулись. А были и другие — они боялись собственного испуга: еще проморгаешь, из-за деревьев не увидишь леса... Среди них находился и О. М.... Не заметив в нем революционности, его дальние друзья упростили его

жизнь, лишили содержания то, что было одной из ведущих линий его мысли. При отсутствии революционности ему не приходилось бы вникать в ход событий и применять к нему ценностный критерий. Полное отрицание давало силу жить и лавировать. Этого Мандельштам был лишен: он прожил жизнь людей своего времени и довел ее до логической развязки.

Из стихов двадцатых годов видно, что О. М. не усомнился, что с победой революции наступит новая эра: «хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу»... От старого остался только звук, хотя «причина звука исчезла»; и наконец, век-зверь с перебитым позвоночником, глядящий на следы своих лап... Во всех этих стихах скрытно или прямо дается оценка собственного положения в новой жизни: известь в крови, больной сын века... Сюда же относится двурушник из «Грифельной оды» — «двурушник я с двойной душой»*... Эти признания разбросаны во всех стихах, вырываются как бы нехотя, полны недомолвок, заключены в самый неожиданный контекст, как например: «усыхающий довесок прежде вынутых хлебов...» О. М. никогда не облегчал читателю путь к своим стихам и с аудиторией не заигрывал — чтобы его понять, надо его знать...

В стихах этого периода есть предсказание будущей немоты: «человеческие губы хранят форму последнего сказанного слова». Этой строчкой он в сущности дал повод говорить, что «перепевает самого себя»... Но изобретатели этой формулы — Брик, Тарасенков — в стихи не вдумывались и рубили с плеча. В борьбе у них все средства были хороши. В доме у Брика, где собирались литераторы и сотрудники Брика по службе вплоть до Агранова, — они там зондировали общественное мнение и

* В стихах тридцатых годов есть и совершенно прямые, в лоб, высказывания и сознательная зашифровка смысла. В Воронеже к нам однажды пришел «любитель стихов» полувоенного типа, то, что мы теперь называем «искусствовед в штатском», только погрубее, и долго любопытствовал, что скрывается под «бежит волна волной, волне хребет ломая»... «Уж не про пятилетки ли?» О. М. расхаживал по комнате и удивленно спрашивал: «Разве?»... «Как быть, — спросила я потом О. М., — если они во всем будут искать скрытый смысл?». «Удивляться», — ответил О. М. До меня не сразу доходил второй план, а О. М., зная, что я могу оказаться «внутри» стихов, не комментировал: искреннее удивление могло, если не спасти, то во всяком случае облегчить участь. Идиотизм и полное непонимание вещей у нас ценилось и служило отличной ширмой.

заполняли первые досье — О. М. и Ахматова уже в 22 году получили кличку «внутренние эмигранты». Это сыграло большую роль в их судьбе, а Брик едва ли не первый начал употреблять нелитературные средства в литературной борьбе. И все же я хочу отметить разницу между Бриком и другими изничтожителями типа Тарасенкова. О. М. называл Тарасенкова «падшим ангелом». Это был хорошенький юнец, жадный читатель стихов, с ходу взявшийся исполнять «социальный заказ» на уничтожение поэзии и тщательно коллекционировавший в рукописях все стихи, печатанью которых он так энергично препятствовал. Этим он отличался от Лелевича, например, который кипел ненавистью к поэзии, потому что она была, по его мнению, «буржуазной». Положение Брика совсем иное. Умный человек, он с первых дней сообразил, что каким-то литературным течениям будет выдан государственный патент, и именно за этот патент он боролся с бесконечным количеством конкурентов. Борьба велась лихая, и одно время казалось, что он победит. Вокруг него группировалось много сторонников, молодежь он очаровывал с ходу. В партийных кругах у него были мощные покровители, особенно среди эстетствующих чекистов. Лавировал он энергично и на свой страх и риск, но победил появившийся значительно позже Авербах со своим РАПП'ом. Этот взял писаревщиной, с детства любезной средним интеллигентам. С падением РАПП'а кончилась всякая тень литературной борьбы. Многочисленные группировки, оспаривавшие друг у друга литературный патент, действовали исключительно средствами политическими. Брик, сметая Ахматову и Мандельштама, не имел в виду прямого политического доноса: он был заинтересован лишь в том, чтобы отнять у них молодых читателей, ярых сторонников «нового», и на долгое время он действительно добился своего: О. М. и Ахматова оказались в изоляции. Последние могикане лефовского толка, которым сейчас уже за шестьдесят лет, продолжают прославлять двадцатые годы и удивляться новым читателям, ушедшим из-под их влияния.

Двадцатые годы, может, самое трудное время в жизни О. М. Никогда ни раньше, ни впоследствии, хотя жизнь потом стала гораздо страшнее, О. М. с такой горечью не говорил о своем положении в мире. В ранних стихах, полных юношеской тоски и томления, его никогда не покидало предвкушение будущей победы и сознание собственной силы: «чую размах крыла», а в

двадцатые годы он твердил о болезни, недостаточности, в конце концов, неполноценности. Этот период закончился тем, что он почти спутал себя с Парноком, чуть не превратил его в своего двойника. Из стихов видно, в чем он видел свою недостаточность и болезнь. Так воспринимались первые сомнения в революции: «кого еще убьешь, кого еще прославишь, какую выдумаешь ложь?»... Двурушник это тот, кто пробует соединить «двух столетий позвонки» и не решается приступить к переоценке ценностей.

А к переоценке ценностей О. М. подошел очень осторожно, хотя все же отдал ей дань. Прежде всего он захотел определить свои отношения с «миром державным». Об этом он писал в «Шуме Времени», «Египетской Марке» и в стихотворении: «С миром державным я был лишь ребячески связан». Это стихотворение, хотя и написано в тридцатых годах, принадлежит по мысли и чувствам к двадцатым. Связь свою с «державным миром» О. М. назвал ребяческой, но за его счет записывает многое — даже обиды, нанесенные мальчишке тогдашними красавицами — «нежными европеянками»... Самую тяжелую форму переоценка приняла в трех-четырех литературных статьях, печатавшихся в «Русском Искусстве», «России» и киевской вечерней газете — в 26 году центральные газеты и журналы уже наглухо закрылись для О. М., а в провинции «проскочило»... В этих статьях чувствуется желание во что бы то ни стало говорить, и делается робкая попытка войти в жизнь, что-то признав и одобрив и от чего-то отказавшись. О. М. даже пробовал найти оправдание кое-кому из современных ему прозаиков, так называемых «попутчиков», хотя не мог не понимать, что ему с ними не по пути. В двух статьях в «Русском Искусстве» есть выпады против Ахматовой — это тоже дань времени. За год до выступления в «Русском Искусстве» О. М. напечатал статью в харьковской газете, где выводил генезис Ахматовой из русской прозы, а еще раньше в неопубликованной рецензии на «Альманах Муз» писал, что эта «одетая убого, но видом величавая жена» будет гордостью России. В 37 году в ответ на вопросы воронежских писателей — его вынудили сделать доклад об акмеизме и ждали «разоблачений» — он сказал об Ахматовой и Гумилеве: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». Нечто подобное он ответил и ленинградским писателям на своем вечере в «Доме Печати». Иначе говоря, он всегда сознавал свою

связь именно с этими поэтами, особенно с Ахматовой, а попытка отречения 22 года вызвана улюлюканьем по поводу акмеизма, криками о несовременности, буржуазности и прочем... О. М. очутился «один на всех путях» и не выдержал. Он действительно растерялся: идти против всех и против своего времени не так просто. В известной степени каждый из нас, стоя на перепутьи, испытывал искушение ринуться вслед за всеми, соединиться с толпой, знавшей, куда она идет. Власть «общего мнения» огромна, противиться ей гораздо труднее, чем думают, и на каждого из людей время кладет свой отпечаток. Время работало на то, чтобы разлучить О. М. с единственным возможным для него союзником — Ахматовой. Однако, стоять вдвоем против всех ничуть не легче, чем одному, и он попытался отрезать себе дорогу к ней, но быстро опомнился. Уже в 27 году, собирая книгу статей, одну из статей, напечатанных в «Русском Искусстве» он выбросил, из другой снял выпад против Ахматовой. Отказался он и от статей в киевской газете и в «России», назвав их в предисловии к своему сборнику «случайными». Период, когда писались эти статьи, он считал худшим в своей жизни. Расправляясь так с упадническим периодом 22-26 г.г., О. М. не заметил, что и там было много здравого и исконно принадлежащего ему — это относится главным образом к его попытке бороться с общим окостенением, а это есть в целом ряде статей.

Характернее всего для периода переоценки ценностей было, пожалуй, отношение О. М. к его собственной статье на смерть Скрябина. В ней он изложил свои взгляды на христианское искусство, то есть свое подлинное кредо. Именно в этой статье он говорит, что смерть художника не конец, а последний творческий акт. Поскольку он сам выбрал себе смерть с «гурьбой и гуртом», это были не пустые слова.

Статья эта нигде не печаталась. О. М. прочел ее в виде доклада в каком-то петербургском обществе — не религиозно-философском ли? Заседания происходили в чьем-то особняке, и однажды туда явился известный авантюрист, корнет Савин, поставил на лестничной площадке столик, собрал входную плату, а потом выступил в прениях и рассказал о русском черте, который отличается от прочих дьяволов хитростью, практической сметкой и остроумием... Заседания этого общества О. М. изредка посещал и, видимо, был связан с одним из его организаторов — Каблуковым. Этот старик был очень внимателен к

О. М., тогда еще начинавшему поэту. Недавно мне продали «Камень», принадлежавший Каблукову, куда Каблуков вклеивал переписанные его рукой стихи, варианты и автографы О. М. Он же забрал у О. М. рукопись доклада о Скрябине. Когда мы были на Кавказе в 1921 году, Каблуков умер и его архив передали в ЛПБ. О. М. горько мне жаловался, что статья о Скрябине пропала: «Это самое главное из написанного... потеряно... мне не везет...» В двадцатых годах я нашла разрозненные листки черновика в сундуке у отца О. М. Он очень обрадовался, но отношение к этой статье у него было двойственное: просил сохранить, но в период «переоценки» у него появилось искушение подвергнуть свои высказывания пересмотру. В черновиках «Египетской Марки» сохранились насмешки над Парноком, который собирался прочесть доклад «в салоне мадам Переплетник»... Это явный намек на скрябинский доклад. В готовом тексте оставлено только обещание вывести Парнока из «парадных анфилад музыки и истории» — разночинцу там нечего делать, нельзя ходить в «не по чину барственной шубе...» Тема разночинца и парадного Петербурга возвращается постоянно. Вероятно, он не раз в юности наталкивался на разных петербургских павлинов и вспоминал, что он к ним не принадлежит. В частности, он успел прочесть рассказ Маковского о приходе его матери в «Аполлон», и это его очень огорчило. Маковский изобразил мать О. М. какой-то глупой еврейской торговкой. Это ему понадобилось, очевидно, для того же журналистского контраста: гениальный мальчик из хамской семьи. Между тем мать О. М., учительница музыки, привившая сыну любовь к классической музыке, была абсолютно культурной женщиной, сумевшей дать образование детям и совершенно неспособной на дикие разговоры, которые ей приписал Маковский. Вот один из образцов пренебрежительно-барского отношения, которое толкнуло О. М. на утверждение своего «разночинства». О. М. определил свое отношение к «державному миру» и возвел родословную свою и Парнока к разночинцам в «Египетской Марке». Нечто подобное есть и в «Разговоре о Данте» — неуклюжий и смущающийся Данте, которого на каждом шагу одергивает, предотвращая неловкости, сладчайший падре — Вергилий... Но здесь это счеты уже не со старым миром: ведь на наших глазах возник новый державный мир, по сравнению с которым старый показался бы жалким диллетантом. Первичная переоценка помогла О. М.

определить свое место и в нем: он снова, на этот раз в стихах, предъявил заявку на вакансию разночинца: «для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?» А что оставалось у советского разночинца, кроме горсточки иудейско-христианской культуры? О. М. сохранил ее вместе с листочками скрябинской статьи. Зато другого разночинца, брата Парнока — Александра Герцовича — он лишил права на музыку: «все, Александр Герцович, заверчено давно, брось, Александр Герцович, чего там! все равно...»

Попытки договориться с эпохой оказались бесплодными. Она требовала несравненно большего от капитулянтов. А к тому же О. М. вел разговор с революцией, а не с поднимающимся «новым», не с державным миром особого типа, в котором мы внезапно очутились. Объяснения О. М. не имели адресата в нашей действительности. Хор адептов новой религии и государственности, пользовавшийся в своих массах терминологией революции, знать не желал нового разночинца с его сомнениями и метаниями. Для адептов и попутчиков все уже было ясно. «Весь вопрос в том, кому достанется пирог», — сказал В. И. «Правда» по-гречески значит «мрия», — хохотал Катаев: «Иначе у нас не бывает», «Надо понимать, где живешь», «Чего еще захотели!» — слышалось со всех сторон, а О. М. продолжал связывать всех их с четвертым сословием: «ужели я предам позорному злословью... присягу чудную четвертому сословию?...» А может, испуганный разгулом адептов он декларировал этими стихами свою верность тому, что они уже предали? Ведь недаром именно о них выбраны для перевода стихи Барбье «Собачья свора»: «...когтями мясо рвут, хрустит в зубах щетина — отдельный нужен всем кусок... То право конуры, закон собачьей чести: тащи домой наверняка, где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью гордячка сука муженька, чтоб он ей показал, как должно семьянину, дымящуюся кость в зубах и крикнул: «Это власть! бросая мертвечину. — Вот наша часть в великих днях...» Стихотворение Барбье переведено в 23 году, а в 33 снова возникает тема «семьянина» в стихах о квартире: «какой-нибудь честный предатель, проваренный в чистках, как соль, ж е н ы и д е т е й с о д е р ж а т е л ь такую ухлопает моль...» Стихи Барбье переводились летом, а зимой того же года появилась клятва четвертому сословию. Мне кажется, ее не случайно так холодно приняли те, от кого зависело распределение благ.

Не потому ли прекратились стихи, что в этих метаниях О. М. утратил чувство правоты? Работая над прозой, О. М. определял свое место в жизни, утверждая позицию, находил то, на чем стоит: «здесь я стою, я не могу иначе...» Стихи приходили, когда появлялась убежденность в своей правоте и в правильности избранной позиции: «в нем лились и переливались волны внутренней правоты...» Уже в одной из своих первых статей — «О собеседнике» — О. М. писал про «драгоценное сознание поэтической правоты»; очевидно, именно это сознание было для О. М. предпосылкой и условием работы, иначе он не мог бы так смело назвать его в самом начале своей деятельности: ведь ему было двадцать два года, когда писалась эта статья. Принимая действительность, О. М. не мог не осуждать своих сомнений; прислушиваясь к общему хору сторонников «нового», он не мог не удивляться своей одинокой позиции; подвергаясь осуждению символистов, лефовцев, РАПП'а и всех других группировок, безоговорочно поддерживавших существующее, он не мог не чувствовать себя «усыхающим довеском прежде вынутых хлебов». Сознание правоты несовместимо со всеми этими ущербными чувствами. Правда, всегда были читатели, которые горой стояли за него и клялись его именем, но О. М. как-то невольно отталкивался от них. Почему-то в нем росло недовольство своими читателями. Мне кажется, что их тоже он причислял к «усыхающим довескам» и верил, что где-то есть настоящие новые люди. В двадцатые годы он еще не замечал, как эти «новые люди», такие бойкие с виду и громкоголосые, подвергаются классической метаморфозе — одеревенению, столь естественному при утрате того, что делает человека человеком, то есть ценностных понятий.

Освобождение пришло через прозу, на этот раз «Четвертую». Название это домашнее — она четвертая по счету, включая статьи, а цифра привилась по ассоциации с сословием, о котором он думал, и с Римом — ведь наш-то Рим тоже был четвертым. Именно эта проза расчистила путь стихам, определила место О. М. в действительности и вернула чувство правоты. В «Четвертой Прозе» О. М. назвал нашу землю кровавой, проклял казенную литературу, сорвал с себя литературную шубу и снова протянул руку разночинцу — «старейшему комсомольцу — Акакию Акакиевичу»... В какую-то опасную ми-

нуту мы уничтожили первую главу, где говорилось о нашем социализме.

Корни «Четвертой Прозы» — биографические. Уленшпигелевское дело с его отростками — оно заглохло бы гораздо раньше, но О. М. отчаянно раздувал его — заставило О. М. открыть глаза на действительность. Дух в советских учреждениях, как правильно сказал Николай Иванович, действительно напоминал о хорошей помойной яме. В период «дела» у нас было ощущение, что перед нами прокручивают фильм о литературе на службе у «нового», о чиновничестве, о неслыханном аппарате — нам пришлось поговорить даже со Шкирятовым, о газетной канцелярии с ее Заславскими, о «комсомольской вольнице», в газете которой О. М. прослужил около года, порвав с писательскими организациями, и так далее... Почти два года, истраченные на распри, окупились во сто крат: «больной сын века» вдруг понял, что он-то и был здоровым. Когда вернулись стихи, в них уже и в помине не было темы «усыхающего довеска». Это был голос отщепенца, знающего, почему он один, и дорожащего своей изоляцией. О. М. возмужал и стал «очевидцем». Ущербность исчезла, как сон. В первый период изничтожения Мандельштама, вплоть до мая 34 года, применялись методы внеполитические и внелитературные. Это была, так сказать, писательская самодеятельность, поддержанная «сверху». «Они ничего не могут поделать со мной, как с поэтом, — говорил О. М., — они кусают меня за переводческую ляжку»... Может, именно эта «игра на снижение» помогла ему выпрямиться. Странно, но понимание действительности и в его случае пришло на личном опыте. Грубее говоря, советские люди дорожили своей слепотой и реальность соглашались познавать только на собственной шкуре. Массовые кампании — раскулачивание, ежовщина, послевоенные предприятия — способствовали расширению круга прозревших. О. М. был из рано прозревших, но далеко не из первых.

О. М. всегда знал, что его понятия идут вразрез с временем, «против шерсти мира», но после «Четвертой Прозы» это его уже не страшило. В «Разговоре о Данте» и «Канцоне» он не случайно заговорил об особом виде зрения — хищных птиц и мертвецов из Дантовской «Комедии»: они не различают предметов вблизи, но способны видеть на огромном радиусе, будучи

слепы к настоящему, они способны прозревать будущее. Проза, как и всегда, дополняет и проливает свет на стихи.

Стихи вернулись на обратном пути из Армении, когда мы задержались в Тифлисе. Фильм продолжал раскручиваться: на наших глазах погиб Ломинадзе. Этот человек в последние свои дни проявил настоящее доброжелательство к О. М. Он получил телеграмму ЦК от Гусева с распоряжением помочь О. М. устроиться в Тифлисе и очень хотел это сделать, но тут его вызвали в Москву, откуда он уже не вернулся, а все газеты запестрели проклятиями враждебной группировке Ломинадзе и Сырцова. Такова судьба: каждый, с кем О. М. мог говорить, неизбежно погибал. Это значило, что разночинцу новой формации нет места в новом державном мире. Между прочим, как только грянула трагедия Ломинадзе, у которого О. М. три-четыре раза был на приеме в обкоме, мы заметили, что за нами, куда бы мы ни шли, увязывается шпик. Вероятно, местные органы решили на всякий случай проследить за непонятным посетителем опального вельможи. Тут-то мы поняли, что в Тифлисе нам делать нечего, и поспешно удрали в Москву. Когда мы рассказали Гусеву, направившему О. М. к Ломинадзе, о слежке и шпиках, он выслушал нас с каменным лицом. Такие каменные лица умели делать только советские чиновники. Оно означало: откуда я знаю, как вы попали к врагу народа и какие основания были у грузинских товарищей для слежки... Ведь уже и тогда ничего не стоило пришить случайного человека к чужому делу, поэтому Гусев и надел каменную маску. Так же поступил бы и Молотов, который, по просьбе Бухарина, поручил Гусеву организовать нашу поездку в Сухум и в Армению, а затем проследить за дальнейшим устройством О. М. Всюду, куда бы мы ни ездили, Гусев обращался к местным секретарям ЦК с просьбой о содействии и устройстве. Он обратился к человеку, которому суждено было тут же погибнуть. Это могло погубить и О. М., но обошлось без последствий. Дела, так сказать, не подняли, а могли поднять. Значит, нам повезло. А тогда мы этого еще не понимали и смеялись над каменной маской Гусева. На эпизоде с Ломинадзе опека Гусева над О. М. кончилась, но я не могу сказать, что в руках осталась лепешка глины — в Армении ведь к нему вернулись стихи и начался новый период жизни.

ТРУД

Я впервые поняла в тридцатом году, как возникают стихи. До этого я только знала, что совершилось чудо: чего-то не было и что-то появилось. Вначале — с 19 по 26 год — я даже не догадывалась, что О. М. работает, и все удивлялась, почему он стал таким напряженным, сосредоточенным, отмахивается от болтовни и убегает на улицу, на двор, на бульвар... Потом сообразила, в чем дело, но еще ни во что не вникала. Когда кончился период молчания, то есть с тридцатого года, я стала невольной свидетельницей его труда.

Особенно ясно все мне представилось в Воронеже. Жизнь в наемной комнате, то есть в конуре, берлоге или спальном мешке — как это назвать? — с глазу на глаз, без посторонних свидетелей, безнадежно беспочвенная и упрощенная, привела к тому, что я всмотрелась во все детали «сладкогласного труда». Сочиняя стихи, О. М. никогда не прятался от людей. Он говорил, что если работа уже на ходу, ничто больше помешать не может. Василиса Георгиевна Шкловская, с которой он очень дружил, рассказывает, что в 21 году, когда они жили рядом в Доме искусств на Мойке, О. М. часто забредал к ней погреться у железной печурки. Иногда он ложился на диван и закрывал ухо подушкой, чтобы не слышать разговоров в перенаселенной комнате. Это он сочинял стихи и, стосковавшись у себя, забирался к Василисе... А стихи об ангеле-Мэри появились в Зоологическом музее, куда мы зашли к хранителю Кузину, чтобы распить с ним и его друзьями грузинскую бутылочку, тайком принесенную вместе с закуской в чьем-то ученом портфеле. Мы сидели за столом, а О. М., нарушая обряд винопития, бегал по огромному кабинету. Стихи, как всегда, сочинялись в голове. В музее же я их записала под его диктовку. Вообще, женившись, он ужасно разленился и все норовил не записывать самому, а диктовать.

А в Воронеже открытость его труда дошла до предела. Ведь ни в одной из комнат, которые мы снимали, не было ни коридора, ни кухни, куда он мог бы выйти, если б захотел остаться один. И в Москве мы не Бог знает как жили, вернее, Бог знает как, но там все же было, куда мне забежать на часок, чтобы оставить его одного. А тут уйти было некуда — только на улицу мерзнуть, а зимы, как на зло, стояли суровые. И вот, когда стихи доходили до восковой зрелости, я, жалея бедного загнанного в клетку зверя, делала, что могла: прикорнув на кровати, притворялась спящей. Заметив это, О. М. уговаривал меня иногда «поспать» или хоть лечь к нему спиной.

В последний год в Воронеже, в домике «без крыльца», изоляция дошла до предела. Жизнь наша протекала между нашей берлогой и телефонной станцией в двух шагах от дома, откуда мы звонили моему брату. Два человека — Вишневский и Шкловский — передавали ему в ту зиму по сто рублей в месяц, и он посылал их нам. Сами они посылать боялись. В нашей жизни все было страшно. Эти деньги шли на оплату комнаты — она стоила ровно двести в месяц. Заработки прекратились — ни в Москве, ни в Воронеже нас обоих ни к какой работе не допускали — бдительность. Знакомые на улице отворачивались или глядели на нас, не узнавая. Это тоже обычное у нас проявление бдительности. Одни только актеры позволяли себе отступление от общих правил — они улыбались и подходили к нам даже на главной улице. Это объясняется, пожалуй, тем, что театры подвергались у нас меньшему разгрому, чем другие учреждения. Домой к нам заходили только Наташа Штемпель и Федя, но оба работали и с трудом выкраивали минутку. Наташа рассказывает: мать предупредила ее — знаешь, что может быть от этих встреч?... Наташа стала скрывать свои посещения, но мать сказала: зачем скрываешь? Я знаю, куда ты ходишь. Мое дело предупредить, а твое решать. Зови их к нам... С тех пор мы часто заходили к Наташе, и мать старалась выставить на стол все, что у нее было. С мужем своим, предводителем дворянства, она давно развелась и учительствовала сначала в городском училище, а потом в начальной школе, чтобы прокормить двоих детей. Скромница, умница, веселая и легкая Марья Ивановна — единственный человек в Воронеже, открывший нам свой дом. Все остальные двери были плотно закрыты, заперты на двойные замки: мы были париями, неприкасаемыми социалистического общества.

Все предвещало близкий конец, и О. М. старался использо-

вать последние дни. Им владело одно чувство: надо торопиться, не то оборвут и не дадут чего-то досказать. Иногда я умоляла его отдохнуть, выйти погулять, поспать, но он только отмахивался: нельзя, времени в обрез, надо торопиться...

Стихи шли сплошной массой, одно за другим. В работе одновременно находилось по несколько вещей. Он часто просил меня записать — и это была первая запись по два-три стихотворения сразу, которые он в уме довел до конца. Остановить его я не могла: «Пойми, иначе я не успею»...

Конечно, это было трезвое ощущение приближающейся гибели, но мне она еще не представлялась с такой ясностью, как ему. Прямо он мне ничего не говорил, но в письмах в Москву, куда я в эту зиму раза два ездила добывать деньги, он иногда как будто затрагивал вопрос о том, что нас ждет, но тут же сам себя обрывал и делал вид, будто речь идет об очередных трудностях. Может, он действительно гнал от себя эти мысли, но скорее всего щадил меня и старался не омрачать последних дней совместной жизни.

И весь этот год он спешил. Торопился, очень торопился. Одышка от этой спешки становилась все мучительнее: прерывистое дыхание, перебои пульса, посиневшие губы. Припадки чаще всего происходили на улице. В последний воронежский год он уже не мог выходить один. И дома бывал спокоен только при мне. Так мы сидели друг против друга: я молча смотрела на шевелящиеся губы, а он наверстывал потерянное время и спешил сказать свои последние слова.

Записав очередные стихи, О. М. подсчитывал строчки и сообщал, сколько он получит по высшей ставке — на меньшее он не соглашался. Лишь изредка, когда стихи уж очень ему не нравились, он предлагал пустить их по «второму сорту», то есть подешевле, как делал Сологуб, у которого стихи были разложены по сортам с соответственно различными ценами. Подсчитав доходы за день, мы шли раздобывать у актеров, наборщиков, а изредка у профессоров — один из них был приятелем Наташи — другой литературоведом, на пачку чаю, кусок запрещенного хлеба и яичницу на обед. С нашими давальщиками мы обычно сговаривались о встрече на боковой безлюдной улице, где, соблюдая полную конспирацию, неторопливо проходили друг мимо друга, успев на ходу взять конверт с подаянием. К наборщикам мы забегали в типографию, когда накануне ни с

кем не удавалось сговориться о встрече. С ними О. М. познакомился летом 35 года, когда мы жили у мышебойца в доме рядом с типографией и редакцией газеты. Он забегал к ним в поисках слушателей своих свеже-сочиненных стихов, особенно если стихотворение заканчивалось ночью, когда только они и бодрствовали. Наборщики встречали его радостно, но иногда молодые огорашивали оценками прямо по «Литературной газете», зато старшие на них шикали. В период бедствий старики молча выслушивали стихи, задерживали О. М. на несколько минут разговором о том, о сем, пока кто-нибудь из них не сбегает в магазин, а затем совали ему в руку пакетик с едой. Получали они гроши и наверное сами еле сводили концы с концами, но считали, что «нельзя оставлять товарища в беде... такое время»...

По дороге мы заходили на почту и отправляли стихи в редакции московских журналов. Ответ пришел только один раз — на «Неизвестного солдата». Редакция «Знамени» сообщала, что войны бывают справедливые и несправедливые и что пацифизм сам по себе недостоин одобрения. Но жизнь была такова, что даже этот казенный ответ показался нам благой вестью: все же кто-то откликнулся и разговаривает!

Стихи о тени, которая бродит среди людей, «греясь их вином и небом», пошли в виде исключения не в Москву, а в Ленинград, вероятно, в «Звезду». Среди нынешних бродячих списков я нахожу иногда потерянные стихи и варианты, восходящие к этим посылкам в редакции. Сотрудники выкрадывали листочки с запретными стихами, и они распространялись среди читателей.

Журналист Казарновский, находившийся с О. М. в пересыльном лагере, говорил, что О. М. обвиняли в распространении стихов по редакциям журналов. Стихи при этом назывались каким-то громоподобным словом. Не все ли равно, в чем его обвиняли? Дело об уничтожении О. М. занимает два листочка — я видела эту папку в прокуратуре, когда мне объявили о реабилитации по второму, так называемому «повторному» делу, и мне хотелось бы прочесть, что там написано, а еще больше опубликовать все без всяких изменений и комментариев.

ТОПОТ И ШОПОТ

Это было в 32 году. Я переулками возвращалась домой из ЗКП, то есть из редакции журнала «За коммунистическое просвещение», находившейся на Никитской улице. Жили мы тогда на Тверском бульваре. Внезапно я увидела О. М. Он сидел на крыльце какого-то замызганного особняка и так повернул голову, что подбородком почти касался плеча. Правой рукой он вертел палку, а левой для устойчивости упирался о каменную ступеньку. Он сразу заметил меня, вскочил и мы пошли вместе.

Сочиняя стихи, О. М. всегда испытывал потребность в движении. Он ходил по комнате — к сожалению, мы всегда жили в таких конурах, что разгуляться было негде; постоянно выбегал во двор, в сад, на бульвар, бродил по улицам. В день, когда я увидела его на крыльце, он, устав бродить, присел попросту отдохнуть. Работал он тогда над второй частью «Стихов о русской поэзии».

Стихи и движение, стихи и ходьба для О. М. взаимосвязаны. В «Разговоре о Данте» он спрашивает, сколько подошв износил Алигьери, когда писал свою «Комедию». Представление о поэзии-ходьбе повторилось в стихах о Тифлисе, который запомнил «стертое величье» подметок пришлого поэта. Это не только тема нищеты — подметки, конечно, всегда были стертые — но и поэзии.

Только дважды в жизни я видела, как О. М. сочиняет стихи, не двигаясь. В Киеве у моих родителей, где мы гостили на Рождество 23 года, он несколько дней неподвижно просидел у железной печки, изредка подзывая то меня, то мою сестру Аню, чтобы записать строчки «1-го января 1924». И еще в Воронеже он прилег днем отдохнуть — в тот период он был ужас как утомлен работой. Но в голове шумели стихи и отвязаться от них не удалось. Так появились стихи о певице с низким голосом в конце «Второй воронежской тетради». Незадолго до этого он слушал по радио Мариан Андерсон, а накануне посетил другую певицу — высланную из Ленинграда. Для нее

О. М. вольно перевел неаполитанские песенки, чтобы она выступала с ними по радио, где они оба тогда прикармливались. Мы побежали к ней, узнав, что ее мужа, недавно отсидевшего пять лет в лагере и отпущенного с каким-то минусом в Воронеж, снова арестовали. Мы еще не сталкивались с повторными арестами и не знали, что́ они сулят. Певица лежала в постели. Потрясенные люди всегда лежат. Моя мать, мобилизованная как врач во время одного из дореволюционных голодов в Поволжьи для помощи деревне, рассказывала, что во всех избах лежали, не двигаясь, даже там, где еще был хлеб и не замечалось тяжелого голодного истощения. Эмма, преподавательница читинского Пединститута, ездила на работу со студентами в колхоз. Вернувшись, она мне с удивлением рассказала, что все колхозники почему-то лежат. Лежали и лежат студенты в своих общежитиях, лежат служащие, вернувшись с работы. Все мы лежим. И я пролежала всю мою жизнь...

Певица лихорадочно строила планы на будущее — как овладевает нами эта лихорадка в роковые минуты смертей, арестов, вызовов в органы и прочих катастроф. Не этот ли лихорадочный бред помогает нам пережить вещи, непостижимые для человека, вроде смерти близкого или увода его в тюрьмы двадцатого столетия? Вот что говорила нам певица: не может быть, чтобы ее мужа отправили в лагерь — ведь он только что оттуда вернулся. Значит, его вышлют куда-нибудь, ну и пускай... не все ли равно куда... И она поедет за ним и будет петь... Не все ли равно, где петь — в Ленинграде, Ишиме, Воронеже или Иргизе... Всюду можно петь — в любой сибирской деревне... Она будет петь, и ей дадут муку, и она испечет хлеб... И они вместе его съедят...

Муж не вернулся, ведь вышел какой-то приказ о повторных арестах тех, кто уже удостоился этой чести. Тогда или в пятидесятых годах, не знаю, был еще один приказ о том, чтобы навечно сослать всех, кто успел побывать в лагерях.. Сама певица тоже исчезла — ее отправили куда-то петь или валить лес — мы так и не узнали куда...

О. М. говорил, что в стихах о певице с низким голосом слились два образа — этой ленинградки и Мариан Андерсон. В день, когда он сочинял эти стихи, я не догадалась, что он работает, потому что он лежал тихо, как мышь. Движение — первый признак, по которому я распознавала работу; второй

признак — шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять и что они будут шевелиться и под землей. Так и случилось.

Губы — орудие производства поэта: ведь он работает голосом. Рабочий топот губ — это то, что соединяет работу флейтиста и поэта. Если бы О. М. не испытал, как шевелятся губы, он не мог бы написать стихов про флейтиста: «громким шопотом честолюбивым, вспоминающим шопот губ, он торопится быть бережливым, емлет звуки, опрятен и скуп...» И про флейту — «и ее невозможно покинуть, стиснув зубы, ее не унять, и в слова языком не продвинуть, и губами ее не размять...» Мне кажется, что эти слова про то, что флейту невозможно продвинуть в слова, знакомы поэту. Здесь говорится про тот момент, когда в ушах уже стоит звук, губы только шевельнулись и мучительно ищут первые слова...

И флейтист тоже был наш знакомый. Его звали Шваб. Он был немец и страшно боялся за свою единственную флейту, присланную из Германии каким-то старым товарищем по консерватории. Мы не раз заходили к нему, и он вынимал из футляра свою пленницу и утешал О. М. Бахом, Шубертом и прочей классикой. Все гастролеры любили его. Шваб — настоящий музыкант, - говорили оба Гинзбурга. Однажды после работы — это произошло до «начала грозных дел», О. М. еще служил в театре — мы забежали в один из ярусов послушать симфонический концерт. Сверху весь оркестр был вид[illegible] как на ладони, и вдруг я обнаружила, что вместо Шваба [illegible]т другой флейтист. Я наклонилась к О. М.: «Посмотри!» [illegible] шикали, но мы продолжали шептаться. «Неужели ег[illegible]ли?» — сказал О. М. и в антракте побежал за кулис[illegible]. Предположение подтвердилось. В нашей жизни такие предположения почему-то всегда подтверждались. Мы стали суеверными и боялись их высказывать — ну его! еще накличешь!... Шваба, как мы узнали потом, обвинили в шпионаже и загнали на пять лет в уголовный лагерь под Воронежом. Там он и кончил жизнь, — ведь это был старик, да еще старик с флейтой... О. М. все думал, взял ли Шваб с собой в лагерь флейту или побоялся, что воришки, с которыми он жил в бараке, ограбят его. А если взял, то чтобы играть по вечерам другим каторжанам... Так появились стихи «Флейты греческой мята и йота» — из звуков

флейты, горькой участи старого флейтиста и первого испуга перед «началом грозных дел».

О. М. в этих стихах говорит про топот «вспоминающих» губ. Только ли у флейтиста губы заранее знают, что́ они должны сказать? В процессе писания стихов есть нечто похожее на припоминание того, что еще никогда не было сказано. Что такое поиски «потерянного слова» — «я слово позабыл, что я хотел сказать, слепая ласточка в чертог теней вернется» — как не попытка припоминания еще неосуществленного? Здесь есть та сосредоточенность, с которой мы ищем забытое, и оно внезапно вспыхивает в сознании. На первом этапе губы шевелятся беззвучно, затем появляется шопот и «вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаньях моих». Внутренняя музыка выявилась в смысловых единицах. Воспоминание проявилось, как фотографическая пластинка с изначальным световым отпечатком.

О. М. не случайно ненавидел дуализм, то есть разговоры о форме и содержании, столь модные у нас и столь удобные для заказчика: для официального содержания всегда требовалась красивая форма... Именно из-за этого разделения формы и содержания О. М. сразу оттолкнул от себя армянских писателей; в одну из первых встреч он обрушился на лозунг «национальная по форме, социалистическая по содержанию» культура, литература и тому подобное, не зная, впрочем, кому принадлежат эти слова... Так мы даже в Армении остались в одиночестве. Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучавшая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В «Разговоре о Данте» О. М. сравнил «форму» с губкой, из которой выжимается «содержание». Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь: для данного заранее содержания подбирается соответствующая форма. Этот путь О. М. проклял в том же «Разговоре о Данте», а людей, идущих этим путем, назвал «переводчиками готового смысла».

Илья Григорьевич Эренбург при мне объяснил Слуцкому, что О. М. портил свои стихи, внося в них многочисленные «фонетические исправления». Ничего подобного я никогда не замечала. Варианты стихов и «исправления» — качественно различные вещи. О. М., говоривший «мы — смысловики», знал,

что слово всегда содержит информацию, то есть является смыслоносителем. Мне кажется, что исправления характерны для переводчиков, когда они пробуют, как бы получше выразить готовую мысль, фонетические же исправления предназначены для украшения. Вариант — это либо снятое лишнее, либо «отдельное», уводящее к новому единству. Поэт пробивается к целостному клочку гармонии, спрятанному в тайниках его сознания, отбрасывая лишнее и ложное, скрывающему то, что я называю уже существующим целым.

Стихописание — тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может помешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властностью. Вот почему я не верю Маяковскому, когда он говорит, что наступил на горло собственной песне. Как он это сделал? Мой странный опыт — опыт свидетеля поэтического труда — говорит: эту штуку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть.

Выявление это носит общественный характер и говорит о делах людей, потому что носитель гармонии — человек и живет среди людей, разделяя их судьбу. Он говорит не «за них», а с ними, не отделяя себя от них, — и в этом его правда.

Первоначальный импульс гармонического самовыявления — с людьми и среди людей — всегда поражал меня своей категоричностью. Ни симулировать, ни стимулировать его нельзя. К несчастью, конечно, того, кто называется поэтом. И мне понятны жалобы Шевченко — еще О. М. оценил их и показал мне — на неотвязность стихов, приносивших ему одни беды и мешавших ему заниматься живописным ремеслом, доставлявшим только радости. Этот импульс перестает действовать, когда иссякает материал, то есть ослабевает связь поэта с миром и людьми, когда он перестает слышать их и жить с ними. Не в этой ли связи с людьми черпает поэт чувство правоты, без которого нет стихов? Импульс перестает действовать, когда поэт умирает, хотя губы продолжают шевелиться, потому что они остались в стихах. Какие дураки, кстати, говорят, что поэты плохо читают свои стихи, портят их? Что они понимают в стихах? Стихи живут подлинной жизнью только в голосе поэта, и голос поэта продолжает жить в них навеки.

Мне пришлось жить и с Анной Андреевной, но у нее работа протекала далеко не так открыто, как у О. М., и я не всегда распознавала, что она в работе. Во всех своих проявлениях она всегда была гораздо замкнутее и сдержаннее О. М. Ее совершенно особое женское мужество, почти аскетизм, всегда поражало меня. Даже губам своим она не позволяла шевелиться с такой откровенностью, как это делал О. М. Мне кажется, что когда она сочиняла стихи, губы у нее сжимались и рот становился еще более горьким. О. М. говорил, когда я еще ее не знала, и часто повторял потом, что, взглянув на эти губы, можно услышать ее голос, а стихи ее сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что современники, слышавшие этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат. Этот голос с теми же интонациями, что звучали в нем в молодые и зрелые годы, и с той же глубиной, поражавшей О. М., удивительно запечатлелся на пленке у Ники, записанной совсем недавно. Если пленка сохранится, мои слова получат объективное подтверждение.

О. М. подметил несколько движений Анны Андреевны и всегда спрашивал меня после встречи с ней, видела ли я, как она вдруг вытянула шею, мотнула головой и губы у нее напряглись, будто она сказала «нет». Он повторял это движение и удивлялся, что я его не так точно запомнила, как он. В вариантах «Волка» я обнаружила рот, говорящий «нет», но там это уже не женский рот, а тот, который повторял движение Анны. Длившаяся всю жизнь дружба этих несчастнейших людей была, пожалуй, единственной наградой за весь горький труд и горький путь, который каждый из них прошел. К старости в жизни Анны Андреевны появился просвет, и она умеет пользоваться им. Но стихи ее не напечатаны, прошлое вычеркнуть нельзя, и если бы не способность жить настоящим, свойственная как будто поэтам, во всяком случае этим двум, она вряд ли смогла бы так радоваться жизни, как она радуется сейчас.

КНИГА И ТЕТРАДЬ

«Из вас лезет книга», — сказал Чаренц, слушая стихи об Армении. Это было в Тифлисе — в Эривани он бы не решился заходить к нам. О. М. обрадовался словам Чаренца: «Кто его знает, может в самом деле книга»... Через несколько лет я, по просьбе О. М., занесла Пастернаку кучку стихов, написанных в Воронеже, и он вдруг заговорил о «чуде становления книги»... В его жизни, сказал он, это было один раз, когда он писал «Сестру мою жизнь»... Я рассказала об этом разговоре О. М. «Значит, книга это не просто стихи», спросила я. О. М. только рассмеялся.

Движение отдельных возникающих вещей так же строго закономерно, как порядок строк в одном стихотворении, но внешние признаки этой закономерности не достаточно отчетливы. Если бы речь шла о внешне единой форме, вроде поэмы, это было бы ясно каждому, а внутренняя последовательность лирических стихотворений не так бросается в глаза. Между тем слова о стереометрическом чутье поэта («Разговор о Данте») относится и к лирическим стихам в их совокупности, называемой «книгой».

Вероятно, не у всех поэтов процесс становления книги протекает одинаково. У одних взаимосвязанные вещи возникают в хронологической последовательности, другие группируют стихи, как Анненский свои трилистники или Пастернак, делавший внутренние разделы в книгах, куда входили стихи, написанные в разное время, хотя и в один период. О. М. принадлежал к первому типу: стихи шли группами или потоком, пока не исчерпается порыв. Восстановив хронологию, он находил общую композицию книги. «Тристии» составлялись без него, и потому общий принцип нарушен.

Восстановление хронологии — трудная задача, и не только теперь, когда многие даты потеряны. Трудности существовали и при жизни Мандельштама, когда все даты были налицо. Дело в том, что сами даты таят в себе неточность, потому что означают момент записи, а не начало и конец работы. Мне кажется, что начало вообще определимо только при холодном версификационном процессе: разве О. М. мог знать, что ему предстоит написать и вообще, что выйдет из его бормотаний, когда начинал прислушиваться к жужжанию пчелы? Вторая трудность: как определить, какой момент для каждого стихотворения решающий — начало или конец? Это тем более важно, что в работе часто находится не одно стихотворение, а несколько.

Общий порядок при жизни О. М. в ряде случаев был еще не совсем уточнен: О. М. колебался, как расположить «волчий цикл» и стихи в середине второй воронежской тетради. Этого доделать он не успел. Зато основная работа по подготовке к печати сделана при его жизни — это деление на «тетради». Мне часто задавали вопрос, откуда взялись эти «тетради». Происхождение этого названия чисто домашнее. Стихи с 30 по 37 год записывались в Воронеже — ведь рукописи 30-34 года были при обысках отобраны и не возвращены. Чтобы записать стихи мы раздобыли, да и то не без труда, — приличной бумаги у нас никогда нельзя было достать — обыкновенные школьные тетради. Начало положило то, что сейчас составляет «Первую Воронежскую Тетрадь». Затем пришлось вспомнить и записать стихи 30-34 года, то есть «Новые стихи». О. М. сам определил начало и конец двух тетрадок, составляющих «Новые Стихи». «Тетрадь» это, очевидно, раздел книги.

Осенью 36 года, когда поднакопились стихи, О. М. сам попросил меня завести еще одну тетрадку, хотя в старых еще было место. Это — «Вторая Воронежская Тетрадь». Между «Второй» и «Третьей» почти нет никакого промежутка во времени, но «Третья» показывает, что началось нечто новое. Стихи «Третьей» не продолжение прежнего порыва, который себя исчерпал. Если бы существовали точные методы стихового анализа, можно было бы доказать, что с каждой тетрадью исчерпывается определенный материал и кончается единый порыв. Впрочем, это видно и простым глазом.

Слово «книга» связано в нашем понимании с печатью: книга предполагает какой-то объем и подходящее для печати количество строк. Для «тетради» никаких правил не существует, арифметические мерки к ней не приложимы. Начало и конец «тетради» регулируются только единством стихотворного по-

рыва, породившего внутренне связанные между собой стихи. «Тетрадь» это в сущности «книга» в понимании Чаренца, Пастернака и Мандельштама, не стесненная удобствами книгоиздательства, требующего некоторой объемности и композиции, иногда даже искусственной. Но само слово «тетрадь» совершенно случайное — оно подсказано нашей вечной нуждой в бумаге. У этого названия есть с одной стороны неприятная конкретность, с другой навязчивая ассоциация: «Нотная тетрадь» Шумана. За него только домашняя и рукописная традиция, а она приобретает громадное значение в наш догутенбергский век.

В юности О. М. употреблял слово «книга» в значении «этап». В 19-м году он думал, что будет автором только одной книги, потом заметил, что существует деление на «Камень» и то, что потом стало называться «Тристии». Кстати, название это дал Кузмин в отсутствие Мандельштама. Сами «Тристии» имеют случайный состав — в них вошла кучка беспорядочных рукописей, вывезенная издателем без ведома автора заграницу. «Вторая Книга» искажена цензурой, а название она получила именно потому, что О. М. понял свою ошибку насчет одной книги, которую ему суждено написать. Он не сразу заметил, как кончился дореволюционный «Камень» и началась книга войны, предчувствия и осуществления революции. «Новые стихи» — это книга осознанного отщепенства, а «Воронежские Тетради» — ссылки и гибели. Под каждым переписанным мной в Воронеже стишком О. М. ставил дату и букву «В». «Зачем?» — спрашивала я. «Так... Пусть...» — отвечал О. М. Он как бы клеймил все эти листочки, но их сохранилось очень мало, потому что впереди был 37 год.

ЦИКЛ

Этап — понятие мировоззренческое. Это рост самого человека, а с ростом изменяется отношение к миру и к поэзии.

«Тристии» пришли в ожидании и первичном познании революции, а «Новые Стихи» после разрыва молчания «Четвертой Прозой». Внутри каждого этапа могут быть различные книги. Мне кажется, что «Новые Стихи» и «Воронежские Тетради» — две книги, разделенные арестом и ссылкой, представляют один этап. В одной из них два, в другой три раздела, называемых «тетрадями». Иначе говоря, для О. М. книга — это биографический период, а «тетрадь» — стиховой раздел, определяемый единством материала и порыва.

Цикл — более мелкая единица. В «Первой Тетради» «Новых Стихов» выделяется, например, «волчий» или каторжный цикл, а также армянский. Но сама «Армения» в сущности не цикл, а подборка. Таких подборок у О. М. две: «Армения» и «Восьмистишия». Только в них он нарушал хронологию, а следовательно, характер лирического дневника, столь свойственный воронежским, например, тетрадям, но скрытый в ранние периоды, когда О. М. производил жестокую селекцию и массами уничтожал незрелые стихи.

Во «Второй Воронежской Тетради» один цикл начинается «Гудком», другой стихотворением «Дрожжи мира». В каждом из этих циклов есть стихотворение, от которого пошли остальные. Оно не первое и в работе находилось дольше других. Были циклы, где одно стихотворение следовало за другим, как звенья цепочки, и другие, где стихи переплетались в клубок и все выходили из одного стихотворения — матки.

Легко показать, что «Волк» был маткой всего каторжного цикла, потому что сохранились волчьи черновики. Стихи, имеющие общее происхождение, иногда так расходятся, что на первый взгляд между ними совершенно не видно никакой связи: в процессе работы исчезли общие слова и строки, перекликающиеся друг с другом. Вообще работа над запутавшимся в клубок циклом носит характер дифференцирующий — один организм как бы отделяется от другого и каждому из них отдаются все принадлежащие ему признаки. Эта операция напоминает движения садовника, когда он отделяет веточки с жизненосными черенками.

В волчьем цикле последней пришла строка «и меня только равный убьет», хотя в ней смысловой ключ всего цикла. Источник этого цикла — русские каторжные песни. Среди народных песен только их и любил О. М. Сама песня названа

в «Бушлатнике»: «так вот бушлатник шершавую песнь поет», и в вариантах «Волка»: «и один кто-то властный поет» и «там в пожарище время поет», и «но услышав тот голос, пойду в топоры, да и сам за него доскажу...» Ссылка на песнь у О. М. редкость. В последний период она встречается, кроме черновиков «Волка» и «Бушлатника», только в «Абхазской песенке»: «Пою, когда гортань сыра, душа суха и в меру влажен взор и не хитрит сознанье...» В первых двух случаях песнь и стихи не отождествляются — этого О. М. терпеть не мог. Открывая очередной номер «Звезды», О. М. всегда удивлялся, почему советские поэты, особенно ленинградские, всегда сообщают, что они молоды и поют песни. Он даже подсчитывал как-то, сколько раз в номере встречаются эти атрибуты советского поэта. Число получилось внушительное.

По черновикам «Волка» можно проследить, как появлялись стихи этого цикла. Варианты — «и неправдой искривлен мой рот» и «а не то уведи, да прошу поскорей, к шестипалой неправде в избу» выделились в отдельное стихотворение «Неправда» — «Я с дымящей лучиной вхожу к шестипалой неправде в избу...» «И услышав тот голос, пойду в топоры» привели к топору в стихах «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма». Мысль о «речи», которую надо вопреки всему сохранить, соединилась с топорищем для петровской казни... В «Волке» мелькнула «черешня московских торцов», а рядом с ней записана «трамвайная вишенка страшной поры».

«Александр Герцович» и «Астры» составляют как бы периферию цикла. Внешний признак связи — слово «шуба». В «Астрах» это барская шуба, за которую его корили, и в «Александре Герцовиче» — «а там вороньей шубою на вешалке висеть». Обе они связаны с «жаркой шубой сибирских степей». Шуба — один из повторяющихся образов О. М. Он появился еще в «Камне»: дворники в тяжелых шубах, женщина в меховой шубке, а потом ангел в золотой овчине... Первая проза О. М., потерянная в Харькове в издательстве сестры Раковского, называлась «Шуба». И, наконец, «В не по чину барственной шубе» из «Шума Времени» и «литературная шуба» из «Четвертой Прозы», которую О. М. срывает с себя и топчет ногами. Шуба — это устойчивость быта, шуба — русский

мороз, шуба — социальное положение, на которое не смеет претендовать разночинец.

Шуба из «Астр» связана с забавным инцидентом. В конце двадцатых годов одна вельможная, а потом погибшая дама, жаловалась Эмме Герштейн, что Мандельштам всегда казался ей совершенно чуждым человеком — она, мол, не может забыть, в какой шикарной шубе он разгуливал по Москве в начале НЭПа... Мы только ахнули. Шубу эту с плеч какого-то нищего дьячка мы купили на базаре в Харькове — рыжий, вылезший енот, запахивающийся на подобие рясы... Старик дьячок продавал ее, чтобы купить хлеба, О. М. купил эту роскошь, когда мы ехали с Кавказа в Москву, чтобы не замерзнуть на севере. Эта первая «литературная» и «не по чину барственная шуба» была предоставлена Пришвину, ночевавшему в общежитии на Тверском бульваре, вместо тюфяка. Он накрыл ею взорвавшийся малокалиберный примус. Последние волоски рыжего енота обуглились, и О. М. даже не успел сорвать эту шубу со своих плеч и растоптать, а следовало бы.. Зачем носить шубу с чужого плеча? Носить шубу ему было не по чину...

С шубами всегда бывали какие-то осложнения. Раз мы добыли денег и пошли покупать обыкновенную советскую шубу в универмаг, но выяснилось, что в продаже только шубы из собачьего меха. На такое предательство по отношению к благородному собачьему роду О. М. не отважился и предпочел мерзнуть. Так он доходил в пальтишке до последнего года жизни, когда нам постоянно приходилось ездить в холодных вагонах в стоверстную зону. Не выдержал Шкловский: «У вас такой вид, будто вы приехали на буферах, — сказал он. — Надо придумать шубу...» Василиса вспомнила, что у Андроникова валяется старая шуба Шкловского. Он носил ее, когда пробивался в люди, но сейчас ему уже полагалось нечто более барственное. Вызвали Андроникова вместе с шубой, и с великими церемониями вырядили в нее О. М. Она славно послужила в калининскую зиму. Арестовали О. М. весной, и он не захватил ее с собой: побоялся лишней тяжести. Шуба осталась в Москве, а он замерзал в желтом кожаном пальтишке, тоже подаренном кем-то в последний подмосковный, на сто-пятой версте, год своей неприкаянной жизни.

В волчьем цикле подготовка к ссылке — сибирские леса,

нары, срубы... Материал этого цикла — дерево: плаха, бадья, сосна, сосновый гроб, лучина, топорище, городки, вишневая косточка... Эпитеты, в частности, — шершавый, в этом цикле принадлежат к тому же ряду.

Этот цикл начался до «Волка» в кандалах дверных цепочек, в петербургских пожарах и морозах, в остром ноже и каравае хлеба, в ощущении: «в Петербурге жить словно спать в гробу» и в потребности поскорее бежать на вокзал, «где бы нас никто не отыскал»... Смысл этого цикла — отщепенство, непризнанный брат. Я прочла потом у Бодуэна, что "брат" первоначально не термин родства, а «принятый в племя»... В племя советской литературы О. М. принят не был и даже дьячковая шуба на его плечах свидетельствовала о буржуазной идеологии... И еще этот цикл про того, кто говорит «нет», и про тех, кто, идет с «самопишущим черным народом». Отголоски 17 года в грузовике, стучавшем у ворот, и в черном народе, который идет на «дворцы и морцы»...

Из деревянного волчьего сруба все эти темы распространяются на всю тетрадь. Попытка найти вторую родину — Армению — не удалась. Насильно возвращенный в Москву — «я возвратился, нет, читай: насильно был возвращен в буддийскую Москву», — О. М. определил свое место в ней. Определение оказалось достаточно точным.

В стихах «после удушья» заметны два приступа: первый это удивление при виде новой земли — черноземной, а потом, оправившись от удивления, О. М. начал припоминать, как он сюда попал, и это вызвало стихи о чердынском периоде нашей жизни.

В обоих циклах этой тетради каждое новое стихотворение развивалось из какой-нибудь плодоносной веточки на предыдущих. Почки в «Наушниках» — «не спрашивай, как набухают почки» — впервые появились как рифма к «комочки» в «Черноземе» — в какой-то момент «комочки» рванулись в конец строки, чтобы сочетаться с «почки», а потом ушли на свое место. А Воронеж — проворонишь, на одном корню с проворотом. Инструментальная и смысловая работа так переплелись, что их невозможно расщепить. Случайно ли появилось упоминание о «земле и воле» в «Черноземе» или несколько рифм — кутерьма, тьма — к непроизнесенному слову «тюрьма» в «Стансах»? А почему ассоциации к казни проскальзывают в

самых неожиданных местах, как например, в «Стрижке детей» — «еще мы жизнью полны в высшей мере»...

Эти ассоциации прочно вошли в наш быт, и у О. М. и в стихах, и в прозе неоднократно упоминается тюрьма. Сочетание слов «его взяли», «он сидит», «его выпустили», «его посадили» получили в русском языке новое значение и это показывает, как сильно пропиталась наша жизнь тюремными размышлениями. Это и есть диффузия, взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира, которое необходимо правителям для устрашения тех, кем они управляют.

Это тюремное рассуждение я хочу заключить бытовой сценкой тридцать седьмого года. В центре Москвы стоит дом, где на одних площадках жили писатели и чекисты. Бог его знает, как туда попали чекисты, может, их вселили на место арестованных из какого-то другого ведомства, разделявших этот дом с писателями. Но они там жили, и соседям приходилось сталкиваться с ними по разным поводам. Однажды, например, пьяный чекист, которого жена выставила из квартиры, бушевал на лестничной площадке: он вспоминал в пьяном бреду, как допрашивал и избивал во время допроса своего товарища, и лил слезы позднего раскаяния. Я дозвонилась в квартиру к его жене и заставила ее впустить мужа, объяснив, что за такой пьяный бред ему тоже не поздоровится... И вот во двор этого дома пришли бродячие певцы. Они чувствовали потребность момента и пели лучшие, классические каторжные песни — сибирские, байкальские, воровские... На все балконы тотчас высыпал народ, не писательский, разумеется. Певцам подпевали, певцам бросали деньги... Это длилось с полчаса, пока кто-то из идеологически устойчивых жильцов не скатился вниз, чтобы прогнать певцов. Но им успели крикнуть сверху — смывайтесь! — и они смылись. Мы стояли с О. М. на одном из балконов и тоже бросили монетку или бумажку — ее заворачивают в клочек газеты и, чтобы она падала вниз, кладут груз — коктебельский камушек. Мы отдали дань русскому фольклору.

Младший Ося — как называют теперь Иосифа Бродского, сосланного за тунеядство, вернее, за стихи, потому что жизнь повторяется, хотя и в разных формах, недавно сказал Ахматовой, что у Пастернака совсем нет фольклора. Может ли это быть? Мне кажется, что один из вопросов при исследовании поэтического творчества, это вопрос о связи с фольклором.

Каторжный фольклор у О. М. заметен сразу — его подсказала жизнь и он лежит на поверхности. Это не единственная связь О. М. с фольклорным европейским и русским богатством. От фольклора не уйти никуда, весь вопрос в том, как его переварить в индивидуальной современной поэзии.

ДВОЙНЫЕ ПОБЕГИ

Стихотворение «Эта область в темноводье» работалось медленно и трудно, много дней подряд. О. М. жаловался, что «нечто», почти ощутимое и очень важное, никак не хочет прийти. Это созревала последняя строфа — она и пришла последней, что случается далеко не всегда.

О. М. стоял у стола, спиной ко мне, и что-то записывал. «Иди сюда, посмотри, что у меня...» Я обрадовалась, что темноводье кончилось и мы пойдем гулять. Оно мне надоело, как фанерная карта воронежской области на телефонной станции, на которой вспыхивали лампочки, показывая, с какими пунктами есть связь. Но меня ожидало разочарование — на протянутой мне бумажке я прочла «Вехи дальнего обоза». «Погоди, это еще не все», — сказал О. М. и записал: «Как подарок запоздалый ощутима мной зима...» «Ты сошел с ума! — возмутилась я. — Мы так никогда не выйдем. Идем на базар или я пойду одна...»

На базар мы пошли вместе — он находился в двух шагах от дома — что-то продали и что-то купили. Кажется, в тот день мы продавали серый пиджак из торгсиновской материи. «В таких садятся в тюрьму», — сказал покупатель, умный и хитрый городской мужик. «Верно, — ответил О. М., — но он уже там побывал; теперь безопасно...» Мужик ухмыльнулся и дал нашу цену. Мы тут же устроили пир, то есть прихватили лишний кусок мяса или колбасы, если она тогда существовала. Трудно припомнить, чем нас кормили в разные периоды, но всегда существовало какое-то «дежурное блюдо» и все его ели. Сейчас

для Москвы это вареная колбаса. В тот период нас, кажется, угощали синеватыми курами, а консервы в банках считались роскошью. Был период замороженных фазанов и голубей, но это быстро кончилось. Треска держалась значительно дольше. В провинцию, правда, почти ничего из «дежурных блюд» не попадало, но зато там умели ценить насущный хлеб.

Строфа с ночным чайником появилась чуть ли не в тот же день, а два маленьких стихотворения, вылупившиеся из «темноводья» лишь слегка дорабатывались. В «Вехах дальнего обоза» запечатлелся пейзаж из окна тамбовского санатория — вот откуда слово «особняк». Мы жили не в особняках, а где попало, преимущественно в лачугах. Мне ясно, каким образом стихи «Как подарок запоздалый ощутима мной зима» помогли найти последнюю строфу «темноводья»: они дали строчку — «степь беззимняя гола». Вдруг с этим стихотворением выявилась особенность времени года — все застыло в ожидании запоздавшей зимы. Природа ждала зимы, а люди в декабре 36 года уже знали, что им несет грядущий тридцать седьмой. Для этого не требовалось никакого исторического чутья — нас успели предупредить еще летом в радиопередаче о будущих процессах. В этой строфе О. М. сказал про воронежскую землю: «Где я? что со мной дурного! степь беззимняя гола... Это мачеха Кольцова... Шутишь — родина щегла...» Здесь синтез его настроения тех дней — чувство беды не могло пересилить вечной и дикой радости жизни, совершенно необъяснимого веселья запертого в клетку стихотворца. И дальше опять точные подробности его жизни: к ночи, устав от работы, он выходил побродить по пустому городу, где всегда была гололедица. Наши провинциальные города после исчезновения дворников стали областью «вечной скользоты»... Об этом и в воронежских стихах Ахматовой, совершенно не умевшей ходить по гладкому льду: «по хрусталям, я прохожу несмело...» А чайник был электрический — неслыханная роскошь по тому времени, но мы ее себе позволяли, потому что во время ночной работы О. М. всегда пил много чая. Только от двух вещей он не мог отказаться — от чая и папирос. Остальное, мы считали, приложится.

В Воронеже дважды появлялись «тройчатки», то есть три стихотворения одного происхождения. Первая «тройчатка» — «Темноводье», «Как подарок запоздалый» — мы называли

этот стишок «вороном» — и «Вехи дальнего обоза». Другая тройчатка: «Десятизначные леса», «Что делать нам с убитостью равнин» и реминисценция Камы — «О, этот медленный, одышливый простор». В первой «тройчатке» все переплелось, как в цикле, запутанном в клубок. Во втором все три стихотворения развивались самостоятельно из общего корня. Строки «что делать нам с убитостью равнин, с протяжным голодом их чуда» и «равнины дышащее чудо» объединяют первые два стихотворения. Третье связано с темой дыхания, одышки, которая есть и в двух других. «Одышливый простор» третьего стихотворения перекликается с «дышащим чудом». В стихах, где назван Иуда, сам ритм организован, как одышка: «и все растет вопрос — куда они, откуда...» Одышка, мучившая О. М., сказалась в ту зиму на ритме многих стихов. «Я это я, явь это явь» тому пример.

В первой тройчатке есть еще одно формальное сходство — это рифмы «совхозных» и «грозных» основного стихотворения и разгул звука «з» в двух других, например, в рифмах: мороза-обоза-береза-проза...

В любом стихотворении О. М. выделяется строка, которая пришла первой, но ища ее, надо помнить, что она очень редко начинает первую строфу. Выделив ее — если она, конечно, не исчезла, выпав из окончательного текста, что тоже бывает, — можно восстановить почти весь ход работы. Вытеснение первой пришедшей в голову строки из окончательного текста — дело закономерное. О. М. любил по этому поводу вспоминать слова Гумилева: — это хорошие стихи, Осип, но когда ты их кончишь, у тебя не останется ни одной строчки, из тех, что сейчас... — В таких случаях история текста, разумеется, невосстановима: ведь большая часть работы производится в уме и губами, а на бумаге не фиксируется.

Первая побудительная строка и последнее найденное слово — это тоже ключи стихотворной композиции — в них импульс начала и конца. Эпитеты «совестный деготь труда», «десятизначные леса», «ленивый богатырь» — вот примеры последних найденных слов.

«Тройчатки» для О. М. редкий случай. Гораздо чаще встречаются «двойчатки», двойные побеги на одном корню. Среди напечатанных стихов — «Я не знаю, с каких пор эта песенка началась» и «Я по лесенке приставной лез на скошенный сеновал», а также «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник» — характерные образцы «двойчаток». В воронежский период их тоже было немало: два стихотворения о Каме· «Как на Каме-реке глазу темно, когда на дубовых коленях стоят города» и «Я глядел, удаляясь на хвойный восток» — представляют обычную «двойчатку». Третье — с окончанием: «и речная верста поднялась в высоту — это редкий случай удачной сознательной замены для цензуры. В стихотворениях «Дрожжи мира» и «Бесенок» сохранился первый вариант, в котором они оба еще переплетены. Два стихотворения «Заблудился я в небе» тоже представляют «двойчатку» с одинаковым началом и разным развитием. Такая «парная структура» очень характерна для О. М.: «двойчаток», кроме перечисленных, у него еще очень много.

О. М. собирался сохранить оба побега «Заблудился я в небе» и напечатать их рядом: композиторы ведь всегда так делают, и художники тоже... Если я доживу до свободного издания О. М., я обязательно выполню его волю. Но сейчас, если даже напечатают книгу, которая гниет в «Библиотеке поэта», ни мне, ни Харджиеву этого не дадут сделать: мы ведь люди бесправные. Какой-нибудь умный редактор совершенно ясно мне объяснит, что из двух вариантов надо выбирать лучший, что сами поэты, их друзья и родственники в этом деле не судьи; что наследство поэта принадлежит не тем, кому в течение пятнадцати лет полагается получать половину гонорара, а ученым знатокам и судьям, которые на этом собаку съели и твердо знают, что хорошо и что плохо... Кроме правильной идеологии, современный советский редактор превыше всего ценит ясность, аккуратность, гладкую фактуру и пышную композицию, где, как на блюде, разложены сравнения, метафоры и прочие фигуры речи. О. М. не дожил до этого расцвета культуры, но уже не раз удивлялся, как наши знатоки не любят стихов. И Анна Андреевна, узнав, что одного бедного мальчишку провозгласили «будущим Пушкиным», сказала: «Это потому, что они так не любят стихов»... Мальчишка писал гладкие стихи, в которых они узнавали все от века знакомое. Больше всего им милы переводы с их блеском готовых изделий. Всюду есть такие знатоки и судьи, но в сталинское время они распустились полным цветом и сейчас находятся у власти и в живописи, и в архитектуре, и в кино, и в литературе. Ну и черт с ними... Им ведь приказали делать ре-

нессанс, а вышло что-то вроде кафе «Ренессанс», но дело с ними иметь не просто.

В юности О. М. вытравлял следы общего происхождения у стихов или уничтожал одно из родственных стихотворений. Он долго не записывал «Современника» и «Я не знаю, с каких пор», не признавая за ними права на самостоятельную жизнь. В зрелый период его отношение резко переменилось: видимо, он решил узаконить самый принцип двойных побегов и не считал их больше вариантами: «Одинаковое начало? Ну и что? Стихи ведь разные»... Или: «Тем лучше, что видно... А что тут скрывать?» — говорил он. Если в молодости О. М. был скрытен и показывал читателю только отдельные вещи, то в зрелом и завершающем своем периоде он открывал весь поток и видел ценность в самом поэтическом порыве, а не в отдельных его проявлениях. В этом сказалась обретенная им внутренняя свобода. Она и стала камнем преткновения для многих его старых ценителей. Они видят в этих стихах О. М. незавершенность и недоделанность. «Он ведь не готовил книгу к печати. Надо бы почистить», — твердили мне два брата Бернштейна — языковед Сергей Игнатьевич и Ивич. «Сколько тут повторений — ведь это просто варианты», — говорил Орлов. Слуцкий, как и Орлов, жалуется, что напечатанный Мандельштам понятен, а ненапечатанный чересчур труден. Хорошо, что появился новый читатель, который совсем иначе подходит к стихам и к поэзии.

Поэт с резко выраженными этапами осужден на то, что читатели, освоившись с одним периодом, не примут другого. Многие постоянные слушатели О. М. в штыки принимали каждое новое стихотворение и новый поэтический ход, потому что не узнавали в нем старого. Эмма Герштейн долго и упорно твердила, что после «волчьего цикла» О. М. вообще ничего не должен был писать. Так встречал новые стихи и Кузин — почти как личную обиду. Но оба они привыкали к стихам и становились их друзьями. А Шенгели так и не примирился с поздними стихами, сохранив верность старому. В зрелых стихах его особенно отвращал словарь — слова непоэтического словаря. Зато сейчас появилось множество читателей, знающих стихи по бродячим спискам и еще не заглянувших в книги. Неизвестно, понравится ли им ранний этап. Но право читателя на выбор так же неоспоримо, как право поэта на печатный станок и на отстаивание своей поэтической позиции. «Какая есть, желаю вам другую», — сказала Ахматова... Поэтому я совершенно иначе отношусь к читателям с их вкусами и даже капризами, чем к редакторам, обладающим правом запрета и любящим задерживать рукописи. Что же касается до «незавершенности» О. М. последнего периода, то есть до его желания раскрыть свою лабораторию, то она-то и есть закон для посмертных изданий, поскольку прижизненных, несмотря на желание автора, не было. Ведь умел же он обособлять стихи друг от друга, когда считал это нужным.

Вероятно, двойные побеги не представляют индивидуальной особенности О. М.... Точно такие пары есть и у Ахматовой: «Данте» («Он и после смерти не вернулся в нежную Флоренцию свою») и «Зачем вы отравили воду и с грязью мой смешали хлеб» — несомненные двойчатки. Во многих случаях эти пары служат друг другу комментарием: «Нет, без палача и плахи поэту на земле не быть, нам покаянные рубахи, нам за свечой идти и выть» — общий импульс двух стихотворений.

Собирая книгу, О. М. сохранил все двойчатки, но во время работы у него и в последний период было много колебаний. Так он хотел отказаться от «Я около Кольцова, как сокол, закольцован», потому что помнил, как это стихотворение послужило импульсом к другому — «Когда в ветвях понурых заводит чародей гнедых или каурых шушуканье мастей». Эти двойчатки совершенно лишены внешнего сходства, и тем не менее О. М. не хотелось оставлять первое, как чересчур прямое и в лоб. Самооценка поэта, вернее его отношение к своим стихам в период работы, всегда пристрастна и обусловлена множеством сложных причин. Отказ от какого-нибудь стихотворения, может быть, вызван просто тем, что оно заслоняет новое, которое уже брезжит и не может пробиться. Иногда в старом содержится плодоносная почка какого-нибудь нового ростка, и когда этот росток появится, автору кажется, что первое было только заготовкой, прелюдией рабочего процесса. Это ощущение особенно сильно при появлении парных ростков и быстром расхождении обоих побегов. Так происходило с «Улыбкой» и «Щеглом». В готовых текстах между ними нет ничего общего, между тем, «Щегол» вылупился из «Улыбки». Случайно уцелел черновик, в котором обнаруживается взаимосвязь этих стихотворений. Там есть строфа, где детский рот, мякина и щегол... Именно мякина привела щегла, а сама сохранила одно

свойство — колючесть — и обернулась колючим морозом этой не холодами страшной зимы. А О. М. вначале считал «Щегла» незаконным детищем.

А два стихотворения об Ариосто появились совершенно иначе. Первое было написано летом 33 года, когда мы гостили с выпущенным из тюрьмы Кузиным в Старом Крыму, у вдовы Грина. Рукописи и черновики отобрали при обыске, в мае 34 года. В Воронеже О. М. попытался вспомнить текст, но память изменила, и вышел второй «Ариост». Вскоре, съездив в Москву, я нашла Ариоста 33 года в одном из своих тайников. Вот и оказалось два стихотворения на одну тему и с одним материалом. Новелла эта в духе времени, и я дарю ее будущим комментаторам.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА В ВОРОНЕЖЕ

Летом 36 года нам удалось съездить на дачу. У Анны Андреевны появились деньги. Я уже говорила, что она взяла что-то еще у Пастернака, потом прибавил Евгений Яковлевич, и у нас образовалась сумма на несколько недель дачной жизни. А это было очень важно, потому что припадки все усиливались. Мы выбрали Задонск, городок на Дону, некогда прославленный благодаря своему монастырю и старцу Тихону Задонскому. Так мы прожили около шести недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая. Но тут радио оповестило нас о начале террора. Убийцы Кирова, сказал диктор, найдены, готовятся процессы... Выслушав сообщение, мы молча вышли на монастырскую дорогу. Говорить было не о чем — все стало ясно. В тот день О. М., ткнув палкой, показал мне следы лошадиных копыт, в которых застоялась вода — накануне шел дождь. «Как память», — сказал он. Эти следы стали потом «подкопытными наперстками», когда звучавший в памяти могучий голос прославленного диктора побудил О. М. принять меры для собственного спасения.

Мы вернулись в Воронеж, и оказалось, что все двери закрыты. Никто с нами не разговаривал, никто не принимал, никто не узнавал, во всяком случае, в публичных местах. Но потихоньку еще старались помочь. Так театральный администратор устроил нам комнату у театральной портнихи. Дом стоял на горе над рекой — вросшая в землю лачуга. С площадки около дома мы видели противоположный берег с полоской леса. Мальчишки слетали на саночках прямо к реке. Этот пейзаж все время стоял перед глазами, и О. М. то упоминал его, то проклинал в стихах, и все им любовался.

Мальчишки спрашивали: «Дяденька, ты поп или генерал?» О. М. неизменно отвечал: «И то, и другое понемножку»... Они заподозрили в нем генерала, как скоро выяснилось, потому что он очень прямо держался и «задирал нос», то есть закидывал голову. Через Вадика, сына хозяйки, О. М. участвовал в птичьем торге. Птицы доставались Вадику. «У мальчиков особое отношение к птицам, — говорил О. М. — Видела ли ты когда-нибудь девочку с голубями или на торге?» Птицы попали в стихи. О. М. обидел только московку и ничего про нее не сказал. Впрочем, он уверял меня, что московка просто синичка, а им он уже отдал дань, правда, в детских стихах.

Мы знали, что эта бедственная зима — наша последняя передышка, и взяли от нее все, что она могла дать. Как в стихах у Клычкова, которые любил О. М.: «Впереди одна тревога, и тревога позади. Посиди со мной немного, ради Бога, посиди»... Вот почему самая светлая и жизнеутверждающая тетрадь появилась именно в этот период.

Человек для всякой интеллектуальной работы нуждается, как инструмент, в настройке. Вероятно, существуют разные человеческие инструменты — одни действуют бесперебойно, настраиваясь на ходу, другие, перестав звучать, должны заново настроить свою клавиатуру. Поэты с явно выраженными этапами принадлежат ко второму типу, и ключевые стихи, служащие как бы камертоном, приходят в начале нового этапа. В начале «Второй Тетради» оказался «Гудок». «Почему гудок?» — спросила я. «А, может, это я», — ответил О. М.

Как мог этот загнанный, живущий в полной изоляции человек, в той пустоте и мраке, в котором мы очутились, почувствовать себя «гудком советских городов»? Ведь из полного небытия О. М. сообщал, что он — тот голос, который разносится

по советским городам. Вероятно, это и есть чувство правоты, без которого нельзя писать стихи. Борьба за социальное достоинство поэта, за его право на голос и свою позицию — основная, пожалуй, тенденция, определявшая жизнь и работу О. М. Об этом упомянуто и в «Разговоре о Данте», и я еще упрекала его, что он сводит личные счеты, но он только отвечал: «Так и нужно»...

И во «Второй Тетради», сразу с «Гудка», возникла тема самоутверждения поэта в поэзии. Разумом дойти до такой темы в год величайшего зажима было бы невозможно. Тема пришла сама — ведь это всегда явление, а не рациональный замысел. Вначале она звучала скрытно, пряталась за реалиями, вроде гудка, или была недосказана, как в «не у тебя, не у меня — у них вся сила окончаний родовых»... «Кто это они? — спросила я, — народ?» «Ну нет, — ответил О. М. — Это было бы чересчур просто...» Значит, «они» — это нечто, существующее вне поэта, те голоса, та гармония, которую он пытается уловить внутренним слухом для людей, «для их сердец живых...»

В стихах о щегле тоже намечается тема поэта, но отголоски ее можно заметить только в варианте, где О. М. приказывает щеглу, своему подобью, жить. В одной из статей О. М. рассказывает о юноше-поэте, который бегает по редакциям и всюду предлагает свой совершенно никому не нужный литературный товар. Этот юноша, как и щегол, назван щеголем. О. М. никогда не забывал своих прежних ассоциаций и мыслей или, как это называют, образов. Говоря о щегле и щеголе, он не мог не вспомнить, что и его литературный товар больше никому не нужен, и, может, именно поэтому он так настойчиво приказал себе жить.

Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную саламанку... «А меня нельзя удержать на месте, — сказал О. М. — Вот я побывал контрабандой в Крыму». Это он говорил про «Разрывы круглых бухт». В этих стихах резко замедленный темп — «и парус медленный, что облаком продолжен». Нас всегда угнетало, что время неслось в каком-то неслыханном темпе, и у О. М. было ощущение, что настоящее попрежнему ощутимо на юге и только на юге.

«Ты и в Тифлис съездил», — сказала я, вспомнив стихи о Тифлисе. «Вынужденное путешествие, — ответил О. М. — Туда

меня затащила нечистая сила». К стихам о Тифлисе его привела попытка написать оду Сталину.

Амнистировав опальные стихи «Не сравнивай, живущий несравним», О. М. заявил: «Теперь я по крайней мере знаю, почему мне нельзя поехать в Италию». Оказывается, его туда не пускала «ясная тоска» — «и ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане»... Италия попрежнему жила у нас в доме итальянскими поэтами, архитектурными ансамблями. О. М. звал меня погулять под флорентийской крещальней, и эта прогулка радовала его не меньше, чем выход на площадку перед домом... Менялись времена года. О. М. говорил: «Это тоже путешествие, и его нельзя отнять...» Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло только привести в отчаяние, как, например, осенняя слякоть или холод. И у него было ощущение, что раньше ему принадлежало все — юг, путешествия, поезда и пароходы — и поэтому он употреблял для своего ссыльного прикрепления к воронежской земле только одно слово: «отняли»...

Когда пришли стихи о звездах, О. М. огорчился. По его примете, звезды приходят в стихи, когда порыв кончается или «у портного исчерпан весь материал». Гумилев говорил, что у каждого поэта свое отношение к звездам, вспоминал О. М., а по его мнению, звезды — это уход от земли и потеря ориентации.

Еще большее огорчение принесла «Киевлянка», второе в ту зиму стихотворение о женщине, которая будет искать мужа. Первое — «омут ока удивленный, кинь его вдогонку мне...» «Это неспроста», — повторял он, — его всегда преследовал страх разлуки. И он часто боялся того, что проявлялось в стихах, а больше всего песенки о женщине, чьим ногам ходить «по стеклу босиком да кровавым песком...» Прочел он мне только несколько строк — я запомнила про утюги и веревки — и никогда больше про эти стихи не упоминал. «Не спрашивай, — просил он, — а то в самом деле случится».

А у нас была примета, что вещи, попадающие в стихи, должны пропасть. О. М. самым нелепым образом потерял белорукую трость, упомянутую в «Патриархе» — «то усмехнусь, то робко приосанюсь и с белорукой тростью выхожу»; плед, которым я должна была его укрыть, — «ты меня им покроешь, как флагом военным, когда я умру», — расползся почти сразу,

от него осталась только тряпочка, и я все вожу ее с собой... И квартиру, за которую я столько боролась, О. М. загубил, и щегла съела кошка, и сама потом пропала. Хорошо еще, что я не ослепла. Этого я всегда боялась, но один мудрый художник еще в сталинское время утешил меня: мы раньше умрем, чем ослепнем, да нам еще помогут...

ОДА

Понимание действительности приходит к поэту вместе со стихами, потому что в них заключен элемент предвосхищения будущего. Глаз хищной птицы плохо разбирает ближние предметы, но способен обозреть огромный охотничий участок, а жители ада, как известно, слепы к настоящему, но видят будущее. «Все они такие», — равнодушно сказала Анна Андреевна, когда я ей показала какой-то стишок О. М. с явным предвидением будущего. «Их» она изучила и ничему не удивлялась...

Во «Второй Воронежской Тетради» есть цикл, маткой которого была насильственная «Ода», но она не выполнила своего назначения и не спасла О. М. Из «Оды» вышло множество стихов, совершенно на нее непохожих, противоположных ей, как будто здесь действовал закон об отдаче пружины.

Щеглиный цикл развивался на обостренной жажде жизни, на ее утверждении, но предчувствие беды пробивалось в нем с первых минут. Оно в предчувствии приближающейся смерти: «в сиреневые сани усядусь поскорей» — О. М. вспомнил «в санях сидючи»; в предвидении нашей разлуки и ужасов, нас подстерегающих. Мы переживали только «начало грозных дел», а будущее приближалось «осторожно», «грозно» и неотвратимо, как туча в стихах о «темноводьи». Наконец О. М. написал стихи про равнины, и как по ним ползет тот, «о котором мы во сне кричим — народов будущих Иуда», и увидел все с такой ясностью, что перед ним стала дилемма: пассивно дожидаться гибели или сделать попытку спастись. 12 января 1937

года — переломный момент — и конец щеглиных стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг «Оды».

Человек, которому написана «Ода», так занимал наше воображение, что замаскированные высказывания о нем можно обнаружить в самых неожиданных местах. Ассоциативные ходы всегда выдают О. М. — у него прочные и постоянные ассоциации. Откуда, например, появился «кумир», живущий «внутри горы» — здесь может быть внешнее сходство: Кремль-кремень-камень... Кумир этот когда-то был человеком — приезжавшая с Яхонтовым жена Лиля, сталинистка умильного типа, рассказывала О. М., каким дивным юношей — революционером, смельчаком, живчиком — был Сталин... И тут же в этом стихотворении возникло опасное слово «жир», напоминавшее о жирных пальцах... Живя в Ассирии, нельзя не думать об ассирийце, и О. М. начал готовиться к «Оде».

У окна в портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший нам для всего на свете. О. М. завладел столом и разложил на нем карандаши и бумагу. Ничего подобного он никогда не делал: бумага и карандаши ведь требовались только в конце работы. Но ради «Оды» он решил изменить свои привычки, и нам пришлось отныне обедать на краюшке стола, а то и на подоконнике. Каждое утро О. М. садился к столу и брал в руки карандаш: писатель, как писатель. Просто Федин какой-то... Я еще ждала, что он скажет: «каждый день хоть одну строчку», но этого, слава Богу, не случилось... Посидев с полчаса в писательской позе, О. М. вдруг вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства: «Вот Асеев — мастер. Он бы не задумался и сразу написал»... Потом, внезапно успокоившись, О. М. ложился на кровать, просил чаю, поднимался, кормил сахаром через форточку соседского пса — чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой, — снова расхаживал по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значило, что он не сумел задушить собственные стихи, и они, вырвавшись, победили рогатую нечисть. Попытка насилия над собой упорно не удавалась. Искусственно задуманное стихотворение, в которое О. М. решил вложить весь бушующий в нем материал, стало маткой целого цикла противоположно направленных, враждебных ему стихов. Этот цикл открывается стихотворением «Дрожжи мира» и идет до конца «Второй Тетради».

Формальный признак родства «Оды» и стихов этого цикла — повторяющиеся и здесь и там слова и звуковой состав ряда рифм. В «Оде» стержневое слово — «ось» в «мира ось», «сходства ось»... Оно встретится и в «Бесенке» и в «Осах»: «вооруженный зреньем узких ос, сосущих ось земную, ось земную»... По всем стихам цикла и «Оды» разбросаны рифмы и ассонансы со звуком «с»: окись-примесь, косит-просит, голос-боролись, Эльбрус-светлорус, мясо-часа, износ-разноголос... Но существенней формальных примет смысловая противопоставленность «Оды» и свободных стихов этого цикла.

В «Оде» художник в слезах рисует портрет вождя, а в «Осах» О. М. неожиданно сообщает, что не умеет рисовать: «и не рисую я, и не пою»... О. М. сам удивился этому неожиданному признанию: «Смотри, в чем мои недостатки: оказывается, я не рисую»...

Эсхил и Прометей из «Оды» привели в вольных стихах к теме трагедии и мученичества, а губы — орудие работы поэта — наступают и вводят «прямо в суть» трагедии. Тема мученичества повторилась в «Рембрандте», где О. М. прямо говорит о себе — «резкость моего горящего ребра» — и о своей Голгофе, лишенной всякого великолепия. Рембрандтовская маленькая Голгофа, как и греческая керамика черно-красного периода — остаток богатств Дерптского университета — находились тогда в воронежском музее, куда мы постоянно ходили.

Кавказ, упоминаемый в «Оде», как место рождения воспеваемого лица, запомнил не властелина, а стихотворца со стертыми подошвами. Эльбрус становится мерой потребности народа, который нуждается и в его снегах, и в хлебе, а в такой же мере и в «таинственно-родном» стихе. А самой первой реакцией на «Оду» была жалоба, что «мое прямое дело тараторит вкось», потому что «по нему прошлось другое, надсмеялось, сбило ось»...

Поэзия — это «дрожжи мира», «сладкогласный труд» — безгрешен. О. М. заявил в этом цикле, что он поет, когда «не хитрит сознанье» и восхвалил «бескорыстную песнь»: «песнь бескорыстная сама себе хвала, утеха для друзей, а для врагов — смола». Враг, вселенный в нашу квартиру, так называемый писатель-генерал, самолично переписывал на собственной машинке — тогда почти ни у кого не было такой роскоши — все стихи О. М. Это называлось любезностью, но отказать ему в

текстах было невозможно — он бы раздобыл их из-под моей подушки. Для острастки он подчеркнул красным карандашом строчки о бескорыстной песне. Когда откроются архивы, стоит поискать доноса об этом стихотворении.

В стихах этого цикла О. М. прославил человека: «Не сравнивай — живущий несравним» и отдал последнюю дань жизнелюбию. И он оплакал погасшие очи, которые были «острее точимой косы» и не успели вглядеться «в одинокое множество звезд». Там же он подвел итоги жизни: «и я сопровождал восторг вселенский, как вполголосая органная игра сопровождает голос женский». Говоря о себе, он употребил «неумолимое прошедшее», как сказано в «Разговоре о Данте». Прошло еще несколько месяцев, и он сказал Анне Андреевне: «я к смерти готов...» Эти слова вошли в ее поэму, а на посвящении стоит дата смерти О. М. — 27 декабря 1938.

Но вершиной цикла были гордые слова обреченного на смерть, но еще боровшегося за жизнь человека: «несчастлив тот, кого, как тень, его пугает лай и ветер косит, и беден тот, кто сам полуживой у тени милостыни просит».

Тот, у кого все просили милости, назван тенью, и действительно, он оказался тенью. Бородатый, задыхающийся, всем напуганный и ничего не боящийся человек, растоптанный и обреченный, в последние свои дни еще раз бросил вызов диктатору, облеченному такой полнотой власти, какой не знал мир.

Люди, обладавшие голосом, подвергались самой гнусной из всех пыток: у них вырывали язык, а обрубком приказывали славить властелина. Инстинкт жизни необорим, и он толкал людей на эту форму самоуничтожения, лишь бы продлить физическое существование. Уцелевшие оказались такими же мертвецами, как и погибшие. Перечислять их имена не стоит, но из действовавших в те годы поколений не сохранилось даже свидетелей и очевидцев. Запутавшиеся, они все равно не распутаются и ничего не скажут обрубками своих языков. А среди них было много таких, что в иных условиях нашли бы свой путь и свои слова.

«Ода» все же была написана, но своего назначения не выполнила и О. М. не спасла. В последний момент О. М. все же сделал то, что от него требовали — сочинил славословие. Быть может, именно поэтому меня не уничтожили, хотя сгоряча

пробовали. Обычно вдовам все же зачитывалось, если муж выполнял «заказ», даже если этот заказ не принимался. И О. М. это знал. А я спасла стихи, иначе они сохранились бы только в диких бродячих списках 37 года.

Чтобы понять до конца моление о чаше, надо знать, до чего невыносимо медленное и постепенное приближение гибели. Ждать «свинцовой горошины» гораздо труднее, чем упасть скошенным на землю. Мы ждали конца весь последний воронежский год, а потом еще один год скитаний в Подмосковье.

Чтобы написать такую «Оду», надо настроиться, как инструмент, сознательно поддаться общему гипнозу и заворожить себя словами литургии, которая заглушала в наши дни все человеческие голоса. Поэт иначе ничего не сочинит — готового умения у него нет. Начало 37 года прошло у О. М. в диком эксперименте над самим собой. Взвинчивая и настраивая себя для «Оды», он сам разрушал свою психику. «Теперь я понимаю, — сказал он Анне Андреевне, — это была болезнь»

«Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы — бугры голов? Что он делает с этими головами?» — говорил мне О. М.

Уезжая из Воронежа, О. М. просил Наташу уничтожить «Оду». Многие советуют мне скрыть ее, будто ничего подобного никогда не было. Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной: двойное бытие — абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли эти оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды. Только О. М. сделал это с веревкой на шее... Ахматова — когда веревку стягивали на шее у ее сына. Кто осудит их за эти стихи?!...

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

В начале января 1937 года, когда О. М. только что записал «Улыбнись, ягненок гневный», к нам пришел мальчишка, совершенный сопляк, и усевшись, сказал, что «писатели должны сотрудничать с читателями». Песенка была знакомая: он добивался, чтобы О. М. выдал для переписки новые стихи. За этим его и прислали, но забыли проинструктировать — он путался, врал, нес ахинею и не сумел даже толком объяснить, что ему нужно.

Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило: если на тебя наседают, ни в коем случае не упрямься — голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством, иначе «затаскают», как говорят в народе, и своего все равно добьются. Главное в этих ситуациях — поскорее отвязаться от наседающих. О. М. тоже придерживался этого правила, но тут почему-то разозлился или, как это называла Анна Андреевна, «вышел из берегов». На фоне общего безлюдия такие визитеры, как этот мальчишка, были, повидимому, совершенно непереносимы. Сгоряча О. М. выгнал непрошенного гостя, а потом сам над собой смеялся: экая блажь пришла в голову — требую, чтобы ко мне присылали квалифицированных сексотов! Но когда на смену изгнанному явился второй, постарше, но той же квалификации, О. М. уже не смеялся, а просто «забился в падучей» — я опять прибегаю к терминологии Ахматовой.

Разоблачать агентов не полагалось — стоящее за ними учреждение не терпело, чтобы компрометировали его работу, и рано или поздно обрушивалось на разоблачителя. Даже и сейчас многие из побывавших в тюрьмах и лагерях предпочитают помалкивать о своих «крестных отцах» — не стоит связываться, потом не развяжешься... А в те годы молчали все. Редкие исключения только подтверждают правило. Таким исключением, например, считалась Мариэтта Шагинян. Все знали, что

она к себе не подпускает никаких шпиков — если кто из них осмелится приблизиться, она поднимает крик, чтобы изобличить его при всем честном народе. В 34 году она проделала такую штуку при мне, и я, кажется, разгадала ее хитрость. Мы вместе вышли из Гослитиздата, и она расспрашивала меня о нашей воронежской жизни — в те дни никто не избегал и не боялся нас, потому что уже широко разнесся слух о разговоре Сталина с Пастернаком. Вслед за нами выскочил и побежал вдогонку за мной поэт Б. — ему тоже хотелось узнать про О. М. Б.-то и попался под горячую руку Мариэтте. «Меня принимают в ЦК, — кричала она. — Я не позволю, чтобы за мной гонялись шпики...» Я пыталась остановить Мариэтту, объясняя, что Б. мой хороший знакомый. Она и слышать ничего не хотела, и у меня появилось подозрение, что выбор объекта для скандала произведен вполне сознательно. Мариэтта набрасывалась на вполне порядочных людей, надеясь отпугнуть этим настоящих стукачей, с которыми она, конечно, не посмела бы себя так вести. Но даже Мариэтта, повторяю, была исключением, и осведомители, не встречая ни малейшего сопротивления, становились все распущеннее и наглее.

Воронежский стукач, сменивший изгнанного сопляка, приходил, когда ему вздумается, в самое неурочное время: утром, вечером, днем — да к тому же без стука — дверь в «домике без крыльца» обычно не запиралась, потому что Вадик, горячий участник птичьего торга и знаток снегирей и щеглов, непрерывно гонял на улицу. Новый стукач так неожиданно возникал на пороге, что мы только ахали и не успевали убрать со стола рукописи. Не раздеваясь, он присаживался к столу и начинал перебирать бумаги, сопровождая это занятие своими комментариями: «Сколько здесь куплетов? Ничего не разберешь — что за почерк! Вот у нее — то есть у меня — хороший...» О. М. вырывал у него рукописи и в бешенстве рвал их на куски. Потом приходилось восстанавливать записи по памяти, и это еще больше разжигало наше бешенство.

«Почему вы приходите в рабочие часы?» — спрашивал О. М.: стукач выдавал себя за рабочего, фрезеровщика или слесаря... Тот отвечал, что отпросился, или что у него теперь ночная смена. «И вас отпускают с завода, когда вам захочется?» — спрашивали мы, но ему все было нипочем, и он говорил первое, что ему придет на ум, нисколько не заботясь о правдоподобии. Выпроводив его, О. М. всякий раз говорил: «Теперь кончено, он больше не придет»... Ему казалось, что у парня не хватит совести снова прийти в дом, где его разоблачили... Напрасная надежда: дня через два или три все повторялось сначала. Какой дурак признается начальству в своей неудаче, а ведь разоблаченному агенту — полцены...

В работе уже была «Нищенка» — «несчастлив тот, кого как тень его пугает лай и ветер косит», когда О. М. позвонил в ГПУ и потребовал приема у начальника. Он этого добился вопреки всем обычаям; нормально было бы, еслиб ему предложили написать заявление и опустить его в специальный ящик в комендантской. Общение со всяким начальством ведется у нас такими заявлениями, которые опускаются в ящики. Я узнала об этой затее, когда прием уже был назначен, и пошла в «большой дом» вместе с О. М. После припадка стенокардии летом 36 года О. М. избегал выходить один. Он даже не пошел бы звонить по телефону без меня, если б телефонная станция с ближайшим автоматом не находилась в двух шагах. Кстати, Наташа вспомнила, что однажды они вышли вместе погулять, и О. М. потащил ее к автомату, позвонил в ГПУ и справился, назначен ли уже прием. От меня он попросил это скрыть — знал, что я буду против: все равно ничего не выйдет, а напоминать о себе не следует...

В комендантской после недолгих переговоров нам выдали пропуск на двоих — в Воронеже знали, что О. М. болен и один не выходит. Нас принял заместитель начальника, человек общекрасноармейского типа. Этот типаж часто встречается среди высших начальников карательных учреждений. О. М. уверял, что таких специально держат для внешних сношений, чтобы по их широким, открытым лицам нельзя было бы прочесть того, что делается «внутри». Тот, который принимал нас, вскоре перешел в кинематографию, и Шкловский уверял, что с ним можно иметь дело — широкий человек... Вероятно, симпатией кинематографистов пользовался и Фурманов-младший, проделавший тот же путь. Впрочем, в кинематографии людей с такой анкетой хоть пруд пруди. Их полно и в других местах, особенно в научных институтах и вузах, где они занимаются научной работой на кафедрах литературы, философии и экономики. Принимают их всюду с большой охотой — это называется «укреплять кадры». У меня создалось впечатление, что

через «органы» сознательно пропускали массы молодежи — они как бы проходили там стаж и получали воспитание. Потом их выпускали в широкую жизнь, но свою альма-матер не забывали никогда. Среди них попадались славные малые, которые по пьяной лавочке умели рассказать много забавных историй: как им жилось и служилось и как они вырвались на волю. В чувашском пединституте я знавала одного такого доброго малого. Он писал диссертацию о материальной базе колхозов Чувашии и жаловался, что в этом вопросе сам черт ногу сломит. Он мне рассказывал, как в поисках «романтики» пошел после школы в органы, и ему пришлось в мороз и жару выстаивать часами перед домом, где жил какой-то старик, и отмечать всех, кто к нему заходит. А к тому, как на зло, не заходил никто, а сам он, «гнилой старикашка», носа на улицу не высунет, только иногда отодвинет занавеску и выглянет. Диссертанту даже казалось иногда, что старику просто поручено следить, выстаивает ли юный чекист все положенные часы или сбегает в пивную... «А то с чего бы он на меня поглядывал? Какой ему интерес?» — недоумевал мой сослуживец, один из тех, кого мы с Анной Андреевной называли «Васями». Но тем, что дежурили у дома Ахматовой все же было веселее — к ней нет-нет да зайдет кто-нибудь, одну ее все-таки не оставляли. «Гнилой старикашка», кстати, был бывшим меньшевиком, как предупредили дежурного Васю.

К людям, пришедшим в учреждения из органов, товарищи относились неплохо. Среди них, говорят, никогда не вербовали осведомителей, и это вполне естественно: какой-нибудь даме или юноше из известной интеллигентской или дворянской семьи легче втереться в доверие и вызвать знакомых на откровенность, чем бывшему чекисту. К тому же такие люди, «укрепившие «кадры», не боялись сокращений и потому меньше участвовали в учрежденских склоках, направленных на уничтожение конкурентов.

Воронежский начальник принял нас в огромном кабинете с такими же дверями или шкафами, как у московского следователя. Он спросил у О. М. какое у него дело, и поглядывал на нас с явным любопытством — не потому ли он нарушил обычай и принял нас, что ему захотелось посмотреть, какая птица сидит у него в клетке? Ведь у начальников тоже бывают человеческие слабости. Но думаю, что советскому генералу

О. М. импонировать не мог. Не так должен был представляться писатель людям этого учреждения. Изможденный с ввалившимися щеками и белыми губами, Мандельштам казался «полуживым», как он назвал себя в «Нищенке», рядом с плечистым, начинающим толстеть, но еще подтянутым начальником, бритым и белорозовым.

О. М. сказал, что пришел по двум вопросам. Первый — как заработать денег на жизнь. Ссыльного не принимают на работу ни в какое учреждение, иначе принявшего выгонят вместе с принятым, обвинив в «отсутствии бдительности». Биржи труда — нет. Как осуществить право на труд? Сейчас перед О. М. все двери закрыты, но пока его пускали, он неоднократно обращался в советские и партийные организации с этим вопросом. В последний раз, летом 36 года, ему удалось пробиться в обком, где он говорил о своем трудоустройстве. Ему там сказали: «Вам надо начинать сначала — поступайте хоть сторожем или гардеробщиком и покажите себя на работе»... Но это лицемерие — сторожем его тоже не возьмут по причине той же бдительности, и, кроме того, если интеллигент пойдет на такую должность, это будет истолковано, как политическая демонстрация. Все организации, начиная с Союза писателей, утверждают, что О. М. к ним никакого отношения не имеет, и поэтому заниматься его трудоустройством они не должны и не будут. Очевидно, О. М. «имеет отношение только к вашему учреждению». Поскольку лагерников обеспечивают работой, О. М. спрашивает, не распространяется ли это на ссыльных...

Начальник ответил, что трудоустройством ссыльных органы не занимаются — это была бы «слишком большая нагрузка», в которой нет нужды, потому что ссыльные вольны заниматься чем угодно, а безработицы у нас, как известно, нет.

— А чем вы сейчас занимаетесь? — прибавил он.

О. М. ответил, что, не имея никакой оплачиваемой работы, он занимается испанским языком и литературой, в частности одним поэтом, евреем по национальности, который много лет просидел в подвалах инквизиции и каждый день сочинял по сонету. Выпущенный на волю, он записал свои сонеты, но вскоре его снова забрали и посадили на цепь. Неизвестно, продолжал ли он и тогда свою поэтическую деятельность... Может, в клубе МГБ можно организовать кружок испанского языка и поручить О. М. руководство?

Я не могу сказать наверняка, но кажется, ко времени приема до нас уже дошли слухи об аресте ленинградских испанистов, и О. М. поэтому из всех своих занятий выбрал это, чтобы сообщить начальнику.

Начальник очень удивился, услыхав про испанские проекты О. М. Он ответил, что «наши молодцы» вряд ли заинтересуются испанским языком. Мне кажется, он даже не оценил рассказа про инквизицию и только недоумевал, что за чудак сидит перед ним...

— А почему вам не помогают родные или друзья? — внезапно спросил он. О. М. ответил, что родных нет, а друзья при встречах отворачиваются, а на письма не отвечают: «вы сами понимаете почему...»

— Мы никому не запрещаем встречаться с ссыльными, — добродушно рассмеялся начальник и предложил перейти ко второму вопросу.

Оказалось, что речь идет о стихах: О. М. предложил начальнику отправлять ему все новые стихи по почте. «Чтобы вам не приходилось ради этого отрывать от дела своих работников», — пояснил он. Ему хотелось, как он мне потом сказал, повторить за начальником слово «молодцы»: «Зачем вашим молодцам таскаться ко мне за стихами?» Но от этой сугубо патриархальной терминологии он, к счастью, воздержался.

Начальник становился все добродушнее. Он заверил О. М., что его учреждение никакими стихами не интересуется — только контрреволюцией! «Зачем нам ваши стихи — пишите, что хотите!», но тут же он неожиданно прибавил: «А почему вы написали те стихи, из-за которых все вышло? Испугались коллективизации?» В партийных кругах было принято говорить о раскулачивании, как о прошлом, изящно признаваясь, что это дело, необходимое и полезное, проводилось так решительно — «перегибы, конечно, имели место, не скроешь» — что подействовало на нервы кое-каким неустойчивым гражданам. Ответ О. М. прозвучал неопределенно: вроде и так, да не совсем.. а может, не только...

Во время нашего разговора начальнику позвонили по телефону, и мы запомнили его реплики: «Да, да... это клевета... пришлите, оформим»... Мы поняли, что решается чья-то участь и оформляется ордер на арест по доносу: некто что-то сказал... Этого было достаточно, чтобы исчезнуть из жизни.

Что бы мы ни сказали — обыкновенного, такого, как говорят повсюду, кроме нашей страны — нам можно было бы предъявить это в качестве обвинения. Расходясь после разговора с друзьями, мы часто подытоживали: «Сегодня мы наговорили на десять лет»...

Расстались мы с начальником вполне дружелюбно. Я спросила у О. М.: «Зачем тебе понадобилась эта петрушка?» Он ответил: «Пусть знает», а я с обычной женской логикой завопила, что «они и так все знают»... Однако, настроения О. М. мне испортить не удалось, и несколько дней он ходил веселый, вспоминая детали разговора. Кое-чего он все же добился: стукачей словно смыло, и ни один из них больше не появлялся до самого конца воронежской жизни. А зачем они собственно были нужны? Ведь стихи все равно попадали куда следует, правда, в Москве, а не в Воронеже, через бдительного Костырева и редакции журналов.

Остается вопрос: почему начальник убрал от нас своих стукачей вместо того, чтобы обвинить О. М. в клевете и выписать на него ордер? Быть может, еще действовал приказ «изолировать, но сохранить» или же О. М. числился «за Москвой», а Воронеж присылал своих стукачей просто из служебного запала: и мы не лыком шиты! А возможно, что начальник просто позволил себе некоторый либерализм. Это иногда случалось: ведь начальники тоже люди и, может, некоторым из них надоедало убивать. Странно только, что всё это делали люди, самые обыкновенные люди: «такие же люди, как вы, с глазами вдолбленными в череп, такие же судьи, как вы»... Как это объяснить? Как это понять? И еще один вопрос: зачем?

МОЯ СВЯТАЯ

Срок трехлетней ссылки кончался в середине мая 1937 года, но кто интересовался сроками? Мы не формалисты; срок — это вопрос удачи, а не права: могут скостить, а могут и прибавить

— кому как повезет. Опытные ссыльные, вроде чердынских, радовались, если им с ходу прибавляли несколько лет. Ведь законное оформление «прибавки» означало бы новый арест, новые допросы и обвинения, а потом ссылку в новое, еще необжитое место, а лагерники и ссыльные знают, как важно продержаться как можно дольше на одном месте. В этом, в сущности, закон спасения — люди обзаводятся друзьями, которые помогают друг другу переносить каторжные условия, обрастают жалким скарбом, пускают, так сказать, корни и тратят меньше сил на борьбу за существование. Да что говорить о ссыльных! Для любого человека переезд в наших условиях — непосильная встряска; ведь недаром же люди так держатся за свою жилплощадь. Только неисправимый бродяга О. М., для которого была невыносима сама мысль о прикреплении, мог тяготиться Воронежом и мечтать о перемене местожительства. Ничего, кроме беды, никакая перемена не приносит.

В апреле я ездила в Москву и, убедившись, что передо мной гладкая стена, которую нельзя прошибить, писала для утешения в Воронеж, что близится срок и мы скоро куда-нибудь переедем. О. М. никак не реагировал на эти утешения. Попалась на удочку моя мать, которая приехала в Воронеж пожить с О. М., чтобы дать мне возможность съездить в Москву за новыми надеждами.

Зачем на пороге новой эры, в самом начале братоубийственного двадцатого века, меня назвали Надеждой? Я ведь только и слышала от друзей и знакомых: «Не надейся, что кто-нибудь поможет — все привыкли, что вы погибаете... на частную помощь не надейся, на работу не надейся... Никто не прочтет твоего письма — не надейся... Никто не пожмет руку — не надейся... Никто не поклонится при встрече — не надейся... Ишь чего вздумала!...» А на что было надеяться? Ведь без надежды жить нельзя, и приходилось идти от одной обманувшей надежды к другой. В Воронеже мы могли жить только на частную помощь, как нам посоветовал великодушный начальник МГБ, но мы убедились, что надеяться на нее не следует, поэтому у нас не оставалось ничего, кроме надежды на переезд.

16 мая 1937 года мы пошли в комендантскую МГБ к тому самому окошку, куда три года назад О. М. сдал сопроводительную бумажку из Чердыни, и через которое ему надлежало вести все переговоры с государством о своей судьбе. Сюда при-

ходили регистрироваться «прикрепленные»: кто — раз в месяц, а кто — каждые три дня. Нас было много — человеческой мелюзги, взятой на мушку государством, и поэтому у окошка всегда топталась большая очередь, но мы даже не подозревали, что эти толпы — признак устойчивости и благополучия, потому что продолжается эпоха, которую Ахматова назвала «сравнительно вегетарианской». Все постигается сравнением. Вскоре мы прочли в газетах, что каторжники при Ягоде жили в лагерях, как на курортах. Все газеты хором обвиняли Ягоду в попустительстве лагерному и ссыльному сброду. «Оказывается, — сказали мы друг другу, — мы были в лапах у гуманистов. Кто бы мог подумать!»

В середине мая 37 года очередь к окошку стояла крохотная — с десяток или полтора мрачных, ободранных интеллигентов. «Разъехались из Воронежа», — шепнул мне О. М. Несмотря на изоляцию, мы тотчас поняли, в чем дело: большинство прикрепленных уже сидело повторно, а новых не присылали. С «вегетарианством» покончили — никаких «минусов» и «прикреплений» больше не давали. Из тюрьмы открывались только две дороги: в лагерь или на тот свет. Кое-кто удостаивался и тюремного заключения. Даже жен и детей почти перестали высылать на поселение, их тоже предпочитали интернировать в специальные лагеря. Для детей, даже маленьких, завели особые детские дома. В них видели будущих мстителей за отцов. «У Гумилева, наверное, есть какое-нибудь дело, — сказал мне в 56 году Сурков. — Такого отца расстреляли! Он, должно быть, хотел за него отомстить...» Любопытно, что Сурков сказал это мне: проникнувшись кавказской психологией, он считал, что кровная месть дело мужчин, а не женщин... А до 1937 года потенциальные мстители еще высылались и заполняли очереди у окошек провинциальных комендантских. Приехав в Воронеж, мы застали там юношу Столетова, одинокого и полубезумного. Он бродил по улицам и жаловался на своего отца, который оказался «вредителем». В 37 году сын расстрелянного попал бы не в Воронеж, а прямо за колючую проволоку. Не помогли бы ему жалобы на отца, которым, кстати, никто, включая меня и О. М., не верил. Но бывали сыновья, которые искренно проклинали погибших родителей. После смерти О. М. я очутилась в пригороде Калинина (Твери), где жило несколько жен, получивших случайно не лагерь, а высылку. Там поселили маль-

чика лет четырнадцати, родственника или свойственника Сталина. О нем пеклась жившая неподалеку тетка, тоже высланная, и бывшая гувернантка. Родители исчезли, как в воду канули. Мальчик целыми днями проклинал отца и мать — изменников, предателей рабочего класса, врагов народа... Он нашел формулировку, подсказанную тщательным воспитанием: «Сталин мой отец, другого мне не надо», и вспоминал героя советских хрестоматий — Павлика Морозова, сумевшего вовремя донести на своих родителей. А этого мучила мысль, что он вовремя не сумел обнаружить преступную деятельность своего отца и матери и не попал из-за этого в хрестоматийные герои. Тетке и гувернантке оставалось только молчать. Они знали, что сделает их питомец, если они скажут хоть слово. Вот этот-то мальчик остался и в 37 году на вольном поселении, но исключение только подтверждает правило, и в Воронеж больше ссыльных пополнений не посылали.

Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди: «Какой-то нас ждет сюрприз?» — шепнул мне О. М., подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки окончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке. «Значит, я могу ехать куда хочу?» — спросил он. Дежурный рявкнул — они всегда рявкали, это был их способ разговаривать с посетителями — и мы поняли, что О. М. вернули свободу. По всей очереди, уныло топтавшейся за нами, словно пробежала искра. Люди зашевелились и начали шептаться. Наш случай видно пробудил в них угасшую надежду: если отпустили одного, могут отпустить и другого. .

Несколько дней ушло на ликвидацию воронежской оседлости. Несмотря на нищету у нас скопилась какая-то утварь. Мы завели ведра, бак для воды, сковородку, утюг — О. М. написал Бенедикту Лившицу, что я отлично глажу мужские рубашки, — плитку, лампу, керосинку, тюфяк и сенник, банки, тарелки, две или три кастрюли. Все это покупалось на базаре и стоило очень дорого — каждое приобретение было событием. Но еще дороже обошлось бы, если бы мы вздумали тащить с собой всю эту жесть: извозчики и носильщики нас бы разорили, хотя слово «разорить» неуместно в нашем положении. Часть вещей мы продали, но большинство роздали. К чему,

например, ведра в Москве — ведь там водопровод... Мы ничуть не сомневались, что возвращаемся в Москву: если в такое тяжелое время О. М. не надбавили сроку, значит, его решено вернуть. И тут мы почему-то вспомнили, что нам почему-то сохраняют квартиру целых три года... Сколько раз писатели, тяготившиеся своей однокомнатностью, просили, чтобы у нас отобрали наши хоромы, и ходили к моей матери, чтобы посмотреть, что там пустует. Она не пускала их в дом и отчитывала тут же на пороге, рассказывая, как по старой интеллигентской этике должен вести себя писатель по отношению к ссыльному коллеге... О Костыреве мы не подумали, продолжая верить в элементарную порядочность представителей общественных организаций — ведь за него поручился сам Ставский! Значит, он освободит комнату, как только она понадобится хозяину... Еще мы вспомнили фразу Сталина в разговоре с Пастернаком: «С Мандельштамом все будет хорошо». Но почему-то мы совершенно забыли то, о чем нас предупреждал Винавер, и еще мы забыли, где мы живем.

Через несколько дней мы сидели на груде вещей на воронежском вокзале. Денег, привезенных нами из Москвы, хватило на три билета — с нами была моя мать. Никто нас не провожал: Федя находился на службе, а Наташа давала уроки. Ведь Наташа была педагогом, и О. М., всегда сочинявший ей шуточные стишки, придумал: «Если бы проведал Бог, что Наташа педагог, Он сказал бы: ради Бога, уберите педагога»... Накануне мы распили бутылку вина, и О. М. все не отпускал Наташу, хотя она жаловалась, что мать будет беспокоиться... И на этот случай есть стишок: «Пришла Наташа. Где была? Небось не ела, не пила... И чует мать, черна, как ночь, — вином и луком пахнет дочь»...

Мы уезжали веселые и полные самых радужных надежд, и мы совершенно забыли, как обманчива и призрачна та, в честь которой меня назвали...

«ОДИН ДОБАВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

Мы открыли дверь собственным ключом и с удивлением увидели, что в квартире никого нет. На столе лежала немногословная записка. Костырев сообщал, что переселился с женой и ребенком на дачу. В комнатах не осталось ни одной костыревской тряпки, словно никто не жил здесь без О. М., не отбирал стихов для переписки, не подслушивал разговоров моих с матерью, братом и немногочисленными друзьями, которые все же решались ко мне зайти. Почему Костырев счел нужным смыться? Во всяком случае не из деликатности... Мы сочли его исчезновение за добрый знак: ведь он обещал очистить квартиру, как только она понадобится Мандельштаму. Раз он ее освободил, значит, О. М. действительно возвращен...

Отсутствие Костырева и реальность знакомых стен и вещей — кровати, занавески, кастрюли и полки с горсточкой книг — вдруг заслонили весь чердынский и воронежский опыт: у нас создалась иллюзия, будто это настоящий дом, где мы жили и снова будем жить после каких-то непонятных и ненужных скитаний. В одну секунду произошел процесс склеивания прошлого с настоящим, когда вдруг блекнет и выпадает вклинившийся между ними, навязанный извне, а не свободно выбранный кусок жизни. Благодаря своей способности жить настоящим О. М. умел без оглядки переходить из одного периода в другой — это видно и из его стихов с их отчетливым делением на этапы. Поэтому, когда он вошел в квартиру, вся трехлетняя ссылка вдруг потеряла достоверность, и процесс склеивания произошел на ходу, без подготовки, вдруг, сразу...

Иногда куски жизни склеиваются, иногда — нет. Я уже рассказывала, как они не захотели склеиваться, когда мы отправились в Чердынь. А вот здесь, в Москве, нам показалось, будто мы и не уезжали. Этот процесс склеивания известен многим. Его испытывали освобожденные лагерники, у которых было куда вернуться. Но огромные толпы пробыли в «нетях» столько лет, что вернувшись, застали одно пепелище: жен тоже сосла-

ли, родители умерли, дети погибли или выросли совершенно чужими. Этим оставалось только заново начинать жизнь, и она состоит у них из нескольких несклеивающихся кусков. Иногда жизнь склеивалась не домом и не семьей, а возвращением к нормальной профессии после многих лет чужой принудительной работы или каторжного труда. Сама я избежала лагеря, но мне все же пришлось испытать, как склеиваются разрозненные куски жизни. Человек в такие минуты становится самим собой и сбрасывает личину, которую волей обстоятельств ему пришлось носить, как тому, кого прозвали Железной Маской. Ведь многим из нас разрешалось жить при условии, что мы будем скрывать свою сущность и притворяться одним из тех, в чье общество мы попали. В этих обстоятельствах не полагалось обнаруживать никаких связей со своим прошлым. Раскулаченный мог уцелеть, если он вовремя становился разнорабочим и начисто забывал о земле. Между известием о смерти Мандельштама и моментом, когда я вынула из тайника и положила на стол — вернее, в чемодан, потому что стола у меня нет — кучку спасенных стихотворений, прошло около двадцати лет, и все эти годы я была кем-то другим и носила, так сказать, железную маску. В сущности, никому не могла я признаться, что не живу, а просто жду, затаившись, когда я снова стану собой и смогу открыто сказать, чего я ждала и что хранила.

Разрозненные части моей жизни склеивались в 56 году, но в мае 1937 никакого склеивания произойти не могло: историческая тенденция вела не к соединению разрубленных частей, а к углублению разрыва между ними, и в день приезда в Москву мы попросту стали жертвами зрительной иллюзии, чистейшего обмана чувств. Зато благодаря этой иллюзии О. М. удалось получить свой «один добавочный день».

В такой жизни, как наша, все охотно поддаются иллюзии, люди активно ищут во что бы поверить, за что бы уцепиться, чтобы вернулось чувство реальности. Окруженный мнимостями человек добровольно уходит в мнимую деятельность, завязывает мнимые отношения с людьми или мнимую любовь — лишь бы было за что держаться. «Нам кажется, что все идет, как надо, и жизнь продолжается, но ведь это только потому, что ходят трамваи», - сказал мне О. М. еще задолго до первого ареста, когда мы как-то вечером стояли на трамвайной остановке. Пустая квартира, где ничего не напоминало о Косты-

реве, и книжная полка — гораздо лучший предлог для иллюзий, чем переполненный довоенный трамвай... А мы еще подбадривали друг друга приятными напоминаниями: «Сталин сказал» или «Ставский сказал»... В то время мы уже отлично знали, чего стоит у нас слово — самая страшная из всех мнимостей — но старались об этом не думать, чтобы сохранить благодетельную иллюзию. Вместо того, чтобы впасть в уныние, трезво обсудив положение и прийдя к ужасным выводам, мы свалили среди комнаты вещи и сразу пошли к «французам», в маленький музей на улице Кропоткина.

«Если мне суждено вернуться, — часто повторял в Воронеже О. М., — я сразу пойду к «французам». Марья Веньяминовна Юдина заметила, как О. М. скучает по французской живописи: когда она приезжала в Воронеж, он не забывал о них, даже когда она ему играла. Чтобы утешить его, она прислала ему только что выпущенный музеем альбом. Все же репродукции, да еще довольно дрянные, это не подлинники, и они только раздразнили О. М. Не переодеваясь с дороги, едва выпив вечного чаю, он побежал в музей к самому открытию. Собирался О. М. сходить и к Тышлеру: «Надо насмотреться, пока еще чего-нибудь не случилось»... Тышлера он оценил очень рано, увидав на первой выставке Ост'а серию рисунков «Директор погоды»... «Ты не знаешь, какой твой Тышлер», — сказал он мне, приехав в Ялту. В последний раз он был у Тышлера и смотрел его вещи перед самым концом — в марте 38 года.

БЕССАРАБСКАЯ ЛИНЕЙКА

Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению. Я лежала в кухне на матраце с дикой головной болью, а О. М. бегал взад и вперед по этой крошечной комнатушке — ведь она у нас называлась «капище» — и читал стихи. Он отчитывался во второй и тре-

тьей Воронежских тетрадях. Обычай отчитываться друг перед другом в каждой написанной строчке установился у них с ранней юности. В тот день Анна Андреевна прочла впервые обращенные к О. М. стихи про Воронеж. Они кончаются строчками: «А в комнате опального поэта дежурят страх и муза в свой черед»... Действительно, когда Анна Андреевна гостила в Воронеже, у нас у всех случился припадок отчаянного и бессмысленного страха. Произошло это вечером, в комнате у агента, который жарил мышей. Мы сидели при коптилке — свет выключили, как это часто бывало в провинции. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел без всякого предупреждения ташкентский биолог Леонов с каким-то спутником. Пугаться не было никаких оснований: мы знали, что у Леонова в Воронеже живет отец, и он часто к нему приезжает. Сам Леонов — анахорет или российский дервиш, домашний философ, всегда немного под хмельком — был абсолютно свой человек. Его привел к нам Кузин, и с тех пор он иногда у нас появлялся, а потом снова исчезал в свой ташкентский университет, где он когда-то работал вместе с Поливановым и приобрел вкус ко всякой филологии и поэзии. Откуда же испуг? Встречаясь с Анной Андреевной, мы всегда чувствовали себя по крайней мере заговорщиками и могли испугаться чего угодно. Впрочем, все советские граждане пугались неожиданных посетителей, машин, если они останавливались у дома, и поднимающегося ночью лифта... К приезду Анны Андреевны в Воронеж страх еще не дежурил у нас, а только иногда хватал нас за горло. Зато в Москве, в дни, когда нами овладела иллюзия, мы не боялись ничего. Мы впали в ничем необъяснимое спокойствие и почему-то поверили в прочность нашей жизни. Это невероятно, но факт.

От этих дней в Москве у меня сохранились очень странные отрывочные воспоминания, как будто очень яркие отдельные кадры, а между ними невосстановимые провалы. Следующий кадр, в котором участвует Анна Андреевна — это несносное ожидание Харджиева: он обещал приехать и привезти вина, но непростительно опоздал, как умели опаздывать только москвичи, когда ни у кого не было часов, а трамваи и автобусы ходили как попало. Анна Андреевна не дождалась Харджиева и ушла к себе — в тот приезд она остановилась у Толстой на Пречистенке. Харджиев все же явился. «Надо

водворить ее обратно», — сказал О. М. и позвонил Толстой. Был час пик, Анна Андреевна не попала на трамвай, прошла всю дорогу пешком и едва вошла в переднюю, как ее позвали к телефону. «Возвращайтесь», — сказал О. М., и она тотчас двинулась в обратный путь, как Феб из «антологии античной глупости», шуточных стихов, которые сочиняли в дни беспечной юности Гумилев, Георгий Иванов, Лозинский и О. М.: «Катится по небу Феб в своей золотой колеснице, завтра тем же путем он возвратится назад»...

Мы сидели в большой комнате — сейчас мы называли ее «костыревской» — а когда пришла Анна Андреевна, вернулись в нашу — проходную, перегороженную шкафом, очень узкую и маленькую. За шкафом стоял только столик и матрац на ножках: однокомнатные люди быстро научились обходиться без кроватей. Матрац стоял обычно возле стены, но сейчас мы поставили его поперек комнаты, испугавшись клопов, изголовьем к стене. Он занимал почти всю ширину комнаты — оставался только узкий проход к окну, широкому и распахнутому. Я возилась на кухне, а они трое сидели на матраце.

«Бессарабская линейка, — заявил О. М., когда я вошла. — Обнищавшая помещица со своим управляющим, а я — жид».

В отношениях О. М. и Анны Андреевны всегда чувствовалось, что их дружба завязалась в дурашливой юности. Встречаясь, они молодели и наперебой смешили друг друга. У них были свои словечки, свой домашний язык. Припадки озорного хохота, который овладевал ими при встречах, назывались «большой смиёзь» — посмотреть, скажешь: не двое измученных, обреченных людей, а дрянная девчонка, подружившаяся по секрету от старших с каким-то голодранцем... Выражение «большой смиёзь» пошло с тех пор, как Анна Андреевна позировала Альтману, а О. М. прибегал на сеансы. Они рассказывали, будто вошел сосед Альтмана, тоже художник, итальянец по национальности, и услыхав, как они хохочут, сказал: «А здесь, оказывается, большой смиёзь»... Были и другие традиционные слова. Услыхав о какой-нибудь нелепой сцене, О. М. всегда говорил: «И никакой неловкости не произошло»... Эта фраза тоже имела свою историю. Как-то Анну Андреевну попросили зайти с поручением к старому, парализованному актеру Г-ну... Ее привели к старику и сказали, кто она. Он по-

смотрел на нее мутным взглядом и произнес: «Совершенно неинтересное знакомство»... О. М. в незапамятные времена выслушал про этот визит и резюмировал: «И никакой неловкости не произошло»... Так эти две фразы и остались жить... Жизнь делала все, чтобы отучить их смеяться, но они оба туго поддавались воспитанию.

В день, когда грохотала бессарабская линейка, появилось еще одно словечко. Я зажарила яичницу из принесенных Харджиевым яиц и вошла с подносом в комнату. Все трое протянули ко мне руки и закричали: «Она наша мама», а О. М. тут же переиначил: «Она мама нас!». Я рассердилась: «старые, противные, почему я вам мама?», — но ничего не помогло и я так и осталась «маманасом»... Образумить стариков — Николай Иванович был, впрочем, моложе меня — мне не удалось — они ведь были трудновоспитуемые...

Сцена на линейке — последний кадр с Анной Андреевной... Она, вероятно, уехала в Ленинград объясняться с Пуниным. У них уже давно не ладилось — я даже не вспомню, когда она мне в первый раз сказала: «Мне здесь плохо»... В Москве же у нее было объяснение с Гаршиным, которое подтолкнуло окончательный разрыв с Пуниным. После ее отъезда на линейке появились Яхонтов с Лилей. По наружности Лилю вполне можно было бы принять за бессарабскую дамочку, но она не смеялась, а тщательно перевоспитывала О. М. в духе чувствительного и сантиментального сталинизма — такой тоже был... По ее мнению, писатель, который забыл посвятить себя служению Сталину — погибший человек: ему закрыты все пути в литературу — кто же станет такого читать? — и он навеки будет предан забвению. Что Сталин — спаситель человечества, Лиля не сомневалась. Между прочим, она собиралась написать Сталину, что нужно помочь О. М. стать на правильный путь и для этого скорее напечатать все его стихи. Впоследствии такие настроения стали называться «гапоновщиной». Лиля была начитана в партийной литературе, потому что составляла монтажи для Яхонтова. Каждый день у нее появлялся дежурный рассказ о чудесах, творимых вождем. Яхонтов ее настроений не разделял он больше пошучивал и разыгрывал забавные сценки. Одной из коронных было изображение собственного отца, большого, тучного, потного чиновника, дрожавшего перед начальством. Лилин комментарий: «При царизме все чиновники

трусили»... Иногда Яхонтов читал лермонтовского «Пророка», играя палкой, как марионеткой. Палка пробиралась сквозь толпу, пугливо шарахалась, смиренно кланялась Лиле: «Он наг и беден», — говорил Яхонтов, показывая на О. М., а О. М. показывал на Яхонтова, который тогда тоже был нищим. Но деньги в те дни нам, вероятно, давал он, и никаких затруднений не было.

Когда мы уезжали, Лиля сняла с полки какие-то марксистские книжки и хотела дать их О. М. для просвещения, но Яхонтов сказал: «Незачем, совершенно бесполезно», — и подарил О. М. собственную Библию. Он тоже был трудновоспитуемым. Библия и сейчас у меня.

Анна Андреевна хорошо знает и любит Ветхий Завет и охотно обсуждает всякие тонкости с Амусиным, великим знатоком, которого я к ней привела. А О. М. побаивался ветхозаветного Бога и его тоталитарной грозной власти. Он говорил — и эту мысль я впоследствии нашла у Бердяева — что учением о троичности христианство преодолело единовластие иудейского Бога. Естественно, что мы страшились единовластия...

ИЛЛЮЗИЯ

Понятие «иллюзия» пришло к нам осенью тридцать третьего года, когда мы только обживали единственную и невосполнимую нашу квартиру в переулке, переименованном в честь наших соседей из Нащокинского в Фурманов.

Однажды к нам постучался человек с дорожной котомкой и спросил брата О. М. — Шуру. У нас гостил отец О. М., и он сразу вспомнил этого человека: носил он невероятную фамилию, состоящую из многих феодальных примет, вроде Долгопаловых, но пользовался он только первой из причитающихся ему кличек, и звали его Бублик. Я хотела отослать гостя к Александру Эмильевичу — пусть сам разбирается с Бубликом! — мне уже надоели ночлежники, которые за неимением го-

стиниц всегда заезжают в Москве к знакомым, но за Бублика вступился дед. Бублик учился в гимназии вместе с Шурой, и дед помнил его холеным розовым гимназистом. «До чего он дошел!» — чуть не плача, сказал дед. Это была старая тема: «дети, вы обнищали, до рубашки дошли»... О. М. знал, что это значит, и отпихнув меня в сторону, пригласил Бублика войти. Пришелец решил успокоить нас и тотчас объяснил, что сидел по уголовному делу, так что нам бояться нечего: страшной пятьдесят восьмой даже не пахнет... В те годы О. М. твердо помнил, что у полицейских на Западе есть подлые резиновые дубинки, но Бублик только ухмыльнулся: «Если б вы знали, что наши делают с уголовниками!» — сказал он. Впрочем, слухи о том, что делают «наши», доходили до нас еще в начале двадцатых годов — и не только с уголовными.

Бублик был неискоренимо веселый человек. Он убегал встречаться с какими-то товарищами, с которыми собирался податься на далекий север, где «нашего брата полным полно» и, значит, как-нибудь и его пристроят. Ванны он не признавал — у нас еще не было газового прибора и мы грели воду в котле на кухне — и бегал по субботам попариться в баню, чтобы потом сразу выпить дома чаю с пряником. Моей заваркой он бывал доволен, но все же предпочитал заваривать собственной рукой. Ему нравилось хлопотать по дому, он любовно прибивал гвозди, закреплял полки и натирал пол воском и мастикой до полного блеска. Он отвык от домашней работы и был рад вместе с О. М. позабавиться самыми мужскими видами работы в нашем упрощенном быту. О. М. часто посылал его с доверенностью в Гослит, и Бублик приносил домой довольно крупные деньги: нам выплачивали 60% за собрание сочинений, которое так и не увидело света, потому что О. М. не пожелал отказаться от «Путешествия в Армению», кучи стихов и многих статей. Издание, впрочем, все равно бы не осуществилось — у Бухарина не было «приводных ремней», и на каком-нибудь этапе все бы зарезали, но тактически следовало бы пойти на компромисс и постараться выпустить что угодно. Отсутствие книг позволило нашим официальным лицам распространить слух, что О. М. бросил уже в двадцатых годах поэзию и бродит по кабакам. На эту удочку попались многие у нас, и особенно на Западе. Ведь на Западе отсутствие книг означает, что писатель выбыл из строя — как им объяснить, что у нас бывает и иначе!

Но поэзия — странная штука: ее почему-то нельзя заживо похоронить, и она воскресает несмотря на усилия даже такого мощного пропагандистского аппарата, как наш. «Я теперь успокоилась, — сказала мне Анна Андреевна в шестидесятых годах. — Ведь мы узнали, до чего живучи стихи»...

Бублик приносил деньги в портфеле и требовал, чтобы я их пересчитывала — он позволял себе истратить только на бутерброд, чтобы скрасить стояние в очереди в кассе. «Бублик стал незаменимым», — говорил О. М. Он особенно ценил гостившего у нас гостя, потому что тот оказался первоклассным латинистом.

С каждым приходящим к нам в дом у О. М. был особый разговор. Кузин и биологи разговаривали о генетике, бергсоновской жизненной силе и аристотелевой энтелехии. Все они принадлежали к разряду рассказчиков, а не разговорщиков, и О. М. больше прислушивался к их рассказам, чем разговаривал. С Кузиным О. М. часто ходил на концерты — оба они были отличными слушателями музыки и умели — О. М. высвистать, а Кузин напеть — сложнейшие симфонические вещи. Человеком-оркестром был и Маргулис. Жена Маргулиса, Иза Ханцын, преподает в консерватории. Она часто вспоминает, как О. М. слушал музыку и как она ему играла. Но Иза жила в Ленинграде, а Маргулис мотался по Москве в поисках заработка. О. М. говорил, что Маргулис заменил ему печатный станок: жадный до стихов, он выпрашивал каждый новый стишок, и они расходились в списках. Начиналась эра рукописной литературы, осложненная тем, что при обысках изымались и рукописи, и книги поэтов.

Забегал к нам Чечановский, с которым я служила в начале тридцатых годов в ЗКП. Он приглашался специально для того, чтобы поспорить с марксистом. «Развитие, — говорил Чечановский, — прогресс. Мы не позволим Мандельштаму отнимать у нас прогресс»... Это именно Чечановскому поручили предложить О. М. отречься от «Путешествия в Армению». Занимался ли Чечановский слежкой — неизвестно. Похоже, что нет, да это и неважно: роковых стихов М. О. ему не читал, а каждый вечер давал сколько угодно других поводов для ареста — у нас это не так трудно... Словом, он «наговаривал на десять лет»...

Еще был Нилендер, эллинист и знаток древне-еврейского.

Бывший морской офицер, он работал в Публичной библиотеке и приходил обычно под полночь, захватив с собой на всякий случай пакетик чаю. Он переводил Софокла и все рассказывал о «золотом сечении». Однажды Шервинский пригласил О. М. с Анной Андреевной послушать перевод. Вдвоем пускать их не следовало: они чего-то там натворили, пришли с хохотом и О. М. объяснил: «Знакомства нашего на склоне Шервинский нас к себе зазвал, послушать, как Эдип в Колонне с Нилендером маршировал»... Еще встречались мы в тот год с Выготским, человеком глубокого ума, психологом, автором книги «Язык и мышление». Выготского в какой-то степени сковывал общий для всех ученых того периода рационализм... На улице мы останавливались со Столпнером, переводчиком Гегеля, который убеждал О. М., что он мыслит не словами...

Среди всех этих немногочисленных собеседников нашел свое место и Бублик. С ним тоже был свой разговор, и с полки снимались книги. О. М. воспользовался чудесной гимназической эрудицией Бублика, и они вместе упивались изгнанническими посланиями Овидия, один — предчувствуя свое будущее, а другой — уже испытав на себе прелести советского изгойства.

Бублик прожил у нас несколько недель и был очень доволен неожиданной передышкой. С его кожи сошел зеленоватый каторжный налет, он посвежел и стал похож на учителя латыни в провинциальной гимназии доброго старого времени. Но товарищи торопили, и ужас перед милицией гнал его прочь из Москвы. Мы попросили его довезти до Ленинграда отца О. М., так называемого «деда». Бублик заботливо уложил в смешной старомодный чемодан все жалкое дедово тряпье, да еще выпросил старый чайник — «чтобы сбегать когда за кипяточком» — и рваное одеяло — «нечего нам в вагоне на белье тратиться»... Чайник он заботливо привязал к ручке чемодана — «не то потеряешь»...

Мы проводили их на вокзал, а на следующий день от деда пришла негодующая телеграмма: Бублик бросил деда на перроне и исчез вместе с чемоданом. Старик оскорбился совершенно смертельно и требовал, чтобы угрозыск немедленно поймал Бублика, отобрал чемодан, вернул владельцу, а преступника предал праведному суду. Для этого О. М. должен был подать хорошо написанное заявление в угрозыск, затем пойти на прием к начальнику и крепко на него нажать, пригрозив своей

принадлежностью к писательскому сословию... Иначе, подозревал дед, чемодана не найдут... О. М., конечно, ни в какой угрозыск не пошел, а только удивлялся, почему Бублик соблазнился дедовым чемоданом с заботливо привязанным к ручке чайником, а не приличными госиздатными деньгами. Мы очень оценили благородство Бублика и купили деду новые фуфайки на остатки госиздатных денег, но старик еще долго бушевал и жаловался, что сам настоял на том, чтобы мы впустили «этого бродягу», который так его предал... Его не утешила и почтовая посылочка от Бублика, в которую он аккуратно запаковал дедовы документы, письма и мемуары... Дед на досуге писал невероятным почерком по-немецки воспоминания о своих странствиях и требовал, чтобы О. М. прочел их и издал...

Вот этот самый Бублик и объяснил нам, что такое иллюзия. В первый вечер, когда О. М. с дедом впустили этого оборванца, я лежала больная и саботировала незванного гостя. Женщины, как известно, чураются всякого неблагополучия и быстро входят в роль полновластных хозяек своих роскошных квартир — охранительницы очага, которого давно нет. Бублик понял это и решил сам приготовить себе постель на ночь. Он расстелил на кухне на полу несколько газет и подозвал О. М.: «Осип Эмильевич, вы знаете, что такое иллюзия? Вот!» — и Бублик широким жестом показал на газеты. Этого О. М. выдержать не мог и вытащил из-под меня единственный в доме тюфяк, а я расщедрилась на подушки, простыни и то самое рваное одеяло, которое исчезло потом с дедовым чемоданом.

Наша квартира с книжкой полкой да и весь наш быт — тоже были иллюзией мирного существования. Зарывшись в полушку, мы старались верить, что мы мирно спим.

ЧИТАТЕЛЬ ОДНОЙ КНИГИ

В юности О. М. всегда думал, когда говорил. Потом появилось легкомыслие. В 19 году, еще совсем молодой, он однажды сказал мне, что совсем не нужно иметь много книг: лучший читатель тот, кто всю жизнь читает одну книгу. «Это что ж — Библия?» — спросила я. «Хотя бы», — ответил он. Я вспомнила прекрасных бородатых восточных стариков, читающих всю жизнь свой Коран, единственных, пожалуй, в наше время представителей древней породы, читающей одну книгу, и никак не смогла представить себе в этой роли моего веселого спутника. «Ну я, конечно, нет, — признался он, — но все же»...

Идеальным читателем О. М. не стал — в двадцатом веке однолюбов не бывает, но эта вскользь брошенная фраза не случайна. Есть люди, у которых каждое суждение связано с общим пониманием вещей. Это люди целостного миропонимания, а поэты принадлежат, по всей вероятности, именно к этой категории, различаясь только широтой и глубиной охвата. Не это ли свойство толкает их на самовыявление и не оно ли служит мерилом подлинности поэта? Ведь есть же люди, которые пишут стихи не хуже поэтов, но что-то в их стихах не то, и это разом ясно всем, но объяснить, в чем дело невозможно. А разговоры о непризнании поэта современниками — наивны. Поэта с первых шагов узнают и те, кто рад ему, и те, кого он бесит. А раздражает и бесит он многих. Это, очевидно, неизбежно. Даже Пастернак, так долго и умело избегавший стихийного бешенства не-читателей, так умело и сознательно очаровывавший любого собеседника, не ушел под конец жизни от общей участи. Быть может, поэты вызывают эту ярость чувством своей правоты и «прямизной» суждений — «прямизна нашей речи — не только пугач для детей — а прямизна эта является следствием целостного миропонимания... Ведь всякий поэт — «колебатель смысла», то есть он не пользуется суждениями-формулами, которые в ходу у людей его эпохи, а извлекает мысль из своего миропонимания. Люди, пользующиеся приличными и общераспространенными формулами, не могут не обижаться, когда перед ними предстает мысль — сырая, неотработанная, с еще нестершимися углами... Не в таком ли смысле говорил О. М. о сырьевой природе поэзии, о том, что она — несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь? Люди, чурающиеся этого сырья, говорят: «А чем он лучше нас?» или «Очень он обидчивый, подозрительный, заносчивый — вечно спорит, всех учит»... Под эти погудки шла травля и Ахматовой, и Мандельштама, и Пастернака, и Маяковского,

пока его не сделали государственным поэтом. Все это продолжали долго говорить даже о мертвом Гумилеве. Без этого не обойтись, как ни старайся, но когда производится пересмотр, люди готовых формул сразу забывают, что они говорили неделю назад, потому что старые формулы они сменили новыми. Нельзя только забывать, что кроме не-читателей, поэт всегда окружен друзьями. Побеждают почему-то всегда они.

Говоря о «читателе одной книги», О. М. метил в ненавистную ему способность равнодушно поглощать несовместимые вещи, в ослабленное чувство выбора, в то, что он назвал «всятерпимостью» — чем была матушка-филология, и чем стала — была вся кровь, вся нетерпимость, а стала псякровь, стала всетерпимость»...

Другое имя этому — «всеядность». Первую филиппику против всеядности я выслушала тоже в девятнадцатом году в Киеве, когда О. М. накинулся на Брюсова за стихи про исторические эпохи, которые он сравнивает с пестрыми фонариками. Раз возможно такое сравнение, говорил О. М., значит, Брюсову все безразлично, а история для него только предмет любования. Таков смысл, а точных слов я не запомнила, но с Анной Андреевной они употребляли для этого формулу: «века и народы»... Сам О. М. знал или, по крайней мере, хотел знать, что для него «да», а что «нет». Все его суждения так или иначе относились к одному или другому полюсу, и в этом был своеобразный дуализм, как в древнем учении о добре и зле, как двух основах существования. Но ведь поэты не могут быть равнодушны к добру и злу и никогда не говорят, что все существующее разумно.

Острое чувство выбора и резкая избирательная способность ума О. М. отразились и на том, как он читал. В «записных книжках» к «Путешествию в Армению» есть несколько слов о «демоне чтения», который вырвался из глубины «культуры-опустошительницы». Люди, читая, погружаются в иллюзорный мир и стараются запомнить прочитанное, иначе говоря, полностью отдаются во власть печатного слова. Сам же О. М. предлагал читать, не запоминая, а припоминая, то есть выверяя каждое слово на своем опыте или соразмеряя его со своей основной идеей, той самой, что делает человека личностью. Ведь на пассивном, «запоминающем» чтении спокон веку строилась пропаганда общедоступных идеалов и подносились для массо-

вого употребления готовые, гладко отшлифованные истины. Такое чтение не будит мысли, а само превращается в своего рода гипноз, хотя у современности есть и более сильные средства для того, чтобы отнимать волю у человека.

О. М. называл чтение «деятельностью», и для него это была прежде всего деятельность отбора. Некоторые книги он перелистывал и просматривал, другие читал с интересом и любопытством, как например, Хемингуэя и Джойса. Но наряду с этим существовало настоящее формообразующее чтение, книги, с которыми он как бы вступал в контакт, которые определяли какой-нибудь период его жизни или всю жизнь. Приход новой книги, определяющей период жизни, походил на встречу с человеком, которому суждено стать другом. «Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» относится далеко не только к встрече с Кузиным, но в гораздо большей степени к встрече с немецкими поэтами: «Скажите мне, друзья, в какой Валгалле мы вместе с вами щелкали орехи, какой свободой мы располагали, какие вы поставили мне вехи»... О. М. и прежде знал этих поэтов — Гёте, Гельдерлина, Мерике, романтиков; но просто чтение — это еще не «встреча».

Встреча произошла не случайно в Армении. Долгожданный приезд в эту страну — в «Четвертой Прозе» рассказывается о первой, неудачной попытке вырваться туда, — обострил дремавшие раньше интересы к тому, что я совершенно неправильно сейчас называю натурфилософией и еще менее правильно могла бы назвать философией культуры. Это было живое любопытство к маленькой стране, форпосту христианства на Востоке, устоявшей в течение веков против натиска магометанства. Быть может, в эпоху кризиса христианского сознания у нас Армения привлекла О. М. этой своей стойкостью. . Ведь не Грузия же, жизнь которой складывалась несравненно легче. В нашей маленькой комнате в гостинице-хюраноц сразу появились книги по культуре Армении: Стржиговский, армянские летописи, Моисей Хоренский и многое, что касалось хозяйства и природы этой страны. Из всех книг о хозяйстве Армении О. М. выделял «Камеральное описание Армении» Шопена, чиновника александровского времени. Он сравнивал живой интерес к стране Шопена с равнодушием бесчисленных озлобленных и брюзжащих «командировочных», с которыми мы сталкивались в гостинице.

Через увлечение Арменией пришла тяга к Гёте, Гердеру и другим немецким поэтам. Встреча с молодым биологом Кузиным, полным в то время философских и литературных интересов — всегда чуточку буршевских — могла бы пройти незамеченной где-нибудь в Москве, но в Армении шар попал в лузу. Они разговорились во дворе мечети, где подавали в маленьких стаканчиках персидский чай вприкуску, и пришли ко мне в гостиницу, продолжая разговаривать. О. М., видимо, заинтересовался новым — биологическим — подходом к тем вещам, о которых думал сам, и вечными вопросами формообразования. Уже задолго до знакомства с Кузиным О. М. как-то написал, что изучение поэзии станет наукой только тогда, когда к ней будут применены методы биологии. Очень возможно, что в этом высказывании отразилась теория в языкознании, популярная в десятых годах, о двойных связях этой науки — с социальными науками и с биологией. Впрочем, вера в биологический подход к поэзии исчерпалась, не успев зародиться, а сохранилось любопытство к чисто описательной биологической литературе и к проблемам жизни, как таковой.

Кузин любил Гёте, и это тоже пришлось кстати. Когда же в Москве О.М. «встретился» с Данте, дружба с Кузиным и остальными биологами перешла в обычное приятельство за стаканом вина. А про Данте О. М. сразу сказал, что это и есть самое главное. С тех пор О. М. уже никогда с ним не расставался и даже дважды брал с собой во внутреннюю тюрьму. Думая о возможном аресте — а об этом думали все, кого я знала, — О. М. раздобыл себе «Комедию» маленького формата и всюду таскал ее в кармане — ведь людей арестовывали не только дома, но и на улице и в учреждениях, а иногда специально вызывали куда-нибудь, чтобы оттуда забрать на веки вечные. Один мой приятель жаловался, что не может таскать за собой на службу мешок со всем необходимым для лагерной жизни, однако, в минуту ареста, который произошел ночью дома, он так растерялся, что забыл взять с собой этот предусмотрительно уложенный мешок... Карманного Данте О. М. оставил в Москве, а с собой в Саматиху, откуда его забрали, взял другое, довольно увесистое издание. Не знаю, довез ли он эту книжечку до пересыльного лагеря на Второй Речке под Владивостоком, где он умер. Думаю, что вряд ли: в условиях ежовско-сталинских лагерей никто уже не помнил о книгах.

Случилось, что одновременно с О. М., не сговариваясь, Данте стала читать и Анна Андреевна. Когда это выяснилось, она прочла ему наизусть отрывок из «La Divina Commedia», и О. М. разволновался чуть не до слез, что слышит эти строки от Анны Андреевны, ее голосом, который он так любил.

У Ахматовой и О. М. была поразительная способность, читая поэтов, как бы вычеркивать разделяющее их время и пространство. Такое чтение по природе своей анахронично, и они вступали с автором в личные отношения. Оно равносильно общению и разговору не только с современниками, но и с теми, кто давно ушел. Такую же способность О. М. заподозрил у Данте, когда обнаружил, как тот встречается в аду со своими любимыми античными поэтами. В статье «О природе слова» О. М. поминает Бергсона, который ищет связи между однородными явлениями, разделенными только временем, и это относится к тому же — к поискам друзей и союзников через время и пространство. Вероятно, это понял бы Китс — ему ведь тоже хотелось встретиться в кабачке со всеми своими живыми и мертвыми друзьями... Ахматова, воскрешая для общения тех, кого с нами уже нет, интересовалась их жизнью, бытом, отношениями с людьми. Так впервые она преподнесла мне Шелли — на нем она как будто тренировалась... Затем у нее наступила эпоха общения с Пушкиным. С зоркостью следователя или ревнивой женщины она шаг за шагом выведывала, как поступали, думали и говорили все, кто его окружал, разобралась в психологических мотивах, как перчатку вывернула каждую, кому досталась хоть одна пушкинская улыбка. Такой личной и пристрастной заинтересованности у Ахматовой не было ни к кому из живых. И еще — она терпеть не могла писательских жен и особенно жен поэтов. Никогда не пойму, почему она сделала для меня исключение, но факт, что сделала, хотя объяснить почему — не могла. О. М., в противоположность Ахматовой, в личную жизнь своих друзей почти не вникал — я говорю о поэтах прошлого — потому что в отношении живых друзей он был до удивления наблюдательным, несмотря на кажущуюся рассеянность, и о тех, кто нас окружал, знал гораздо больше меня; я даже часто ему не верила, но он всегда оказывался прав. А вот сестрами Натальи Гончаровой, Палетикой или Анной Григорьевной Достоевской он нисколько не интересовался, и Анна Андреевна, зная его равнодушие к этим

вопросам, своими соображениями с ним не делилась. А про живых помалкивал он: пусть делают, что хотят... Разговор шел о строчках, о кусках — а это чудо вы заметили? а помните, как там? а почему... Часто они читали вместе вслух, показывали любимые места, делали, так сказать, друг другу подарки из каких-нибудь замечательных находок... Последние годы были окрашены Данте и другими итальянцами и, как всегда, русской поэзией.

Труднее сказать, какие книги-спутники были у О. М. в более ранние периоды. В Киев в девятнадцатом году он приехал с Флоренским («Столп и утверждение истины»). Видимо, там его поразили страницы о сомнении, потому что он не раз именно так говорил о сомнении, не называя, впрочем, источника. Школьником он несомненно читал Герцена, а в какой-то юношеский период его собеседником был Владимир Соловьев, который, как философ, а не поэт, очевидно, гораздо ближе О. М., чем принято думать. Отсутствие упоминания имени Соловьева в статьях объясняется более, чем просто: большинство статей написано в советское время и для печати, а ни один редактор не пропустил бы слова о Соловьеве, кроме поношения и брани. Между тем следы формообразующего влияния Владимира Соловьева разбросаны у О. М. повсюду. Они — в христианско-религиозном мировоззрении соловьевского толка, в методах и способах полемики, в разговорах, во многих устоявшихся понятиях и даже в отдельных словах. Вот, например, «толпы ночей, событий, впечатлений» из стихов Белому — прямая реминисценция соловьевской «толпы идей», мелькнувшей у него где-то в философских сочинениях. О. М. высоко чтил В. Соловьева. Когда мы жили в «Узком», санатории Цекубу, размещенном в усадьбе Трубецких, где умер Соловьев, О. М. поражался, как равнодушно советские ученые заняты своими делами, пишут статейки, почитывают газеты и слушают радио в том самом синем кабинете, где работал и умер Владимир Соловьев. Я тогда не знала ничего про Соловьева, и он с огорчением мне сказал: «Такая же дикарка, как они»... От этой профессорской толпы у О. М. появлялось ощущение варварского нашествия в священные места русской культуры. Он мало с кем разговаривал в таких местах и держался обособленно. Однажды в Болшеве к нему пристали философские и литературоведческие дамочки — просили почитать стихи и уве-

ряли его, что «вы наш поэт»... Он им ответил, что надо понимать: если существует его поэзия, значит, нет их науки, или наоборот, а поэтому миролюбивой всеядности нет места... Таких выходок было сколько угодно: в редакциях, на выступлениях — всегда закрытых, разумеется, — в частных разговорах, а они порождали целую волну рассказов о невыносимом характере, хотя характер, в сущности, был просто нетерпимым. Нетерпимости у О. М. хватило бы на добрый десяток писателей, но, к сожалению, это свойство не распределяется по карточкам... К нашей академической интеллигенции О. М. относился на редкость нетерпимо: «Все они продажные»... К концу двадцатых и в тридцатых годах власти уже научились «повышать уровень жизни» тех, кто оказался полезным, и не допускать в этом деле никакой «уравниловки». Расслоение стало очень заметным, и каждому хотелось сохранить свое с трудом добытое благополучие. За него держались особенно цепко, потому что позади осталась жестокая нищета начала революции. Этого опыта никто повторять не хотел, и незаметно образовались привилегированные, очень тонкие слои с «пакетами», дачами и машинами. Эфемерность этого благополучия они осознали значительно позже — в периоды массового террора, когда выяснилось, что все можно отнять в один миг и без всякого повода... А пока что люди, допущенные к пирогу, старались выполнять все, что от них требовали. Однажды в Воронеже О. М. показал мне газету с заявлением академика Баха по поводу выхода «Краткого курса». «Посмотри, что он умудрился написать: «Краткий курс» — эпоха в моей жизни... И он еще «краткий»... «Не написать, а подписать», — сказала я. Такие документы приносились готовые на дом, и оставалось только поставить под ними свою подпись... — «Тем хуже», — ответил О. М. А что собственно должен был сделать академик Бах? Исправить текст, написать поприличнее, чтобы не ставить свое имя под явно казенной бумажкой? Я в этом не уверена... Или выгнать журналиста, который явился за его подписью? Можно ли требовать такого от людей, зная, какие им угрожали за это последствия? Думаю, что нет. Как же быть? Не знаю. Террор тем и отличается, что все связаны по рукам и ногам, и никто не может шевельнуть пальцем.

Но сейчас возникает другой вопрос: был ли момент в нашей жизни, когда интеллигенция могла отстоять свою независи-

мость? Вероятно, такой момент был, но интеллигенция, расшатанная и расслоившаяся еще до революции, о своей независимости не думала, потому что шел процесс капитуляции и переоценки ценностей. Быть может, сейчас идет новое собирание ценностей. Они накапливаются вслепую, медленно и с трудом. Я никогда не узнаю, смогут ли их отстоять и сохранить при следующих предстоящих нам испытаниях.

КОЛЯ ТИХОНОВ

Николай Тихонов, поэт, всегда говорил убежденно, громко, выразительно. Он умел покорять людей и был одним из ловцов душ и соблазнителей. Его приход в литературу встретили радостно: Коля молодой, Коля живой, Коля непосредственный... Он новый человек, он военная косточка, он удивительный рассказчик. Многие и сейчас под обаянием этого бывшего Коли Тихонова, хотя и не понимают, что с ним случилось потом. Тихонова привел к нам Коля Чуковский, и оба юноши понравились О. М.: «Смотри, какой у Чуковского сын — добряк»... А про Тихонова: «Ничего, ничего... Кажется, он сейчас войдет в вагон и скажет: граждане, предъявите документы»... Документы О. М. произнес с ударением на втором слоге, как говорили начальники продотрядов, проверявшие в гражданскую войну поезда — нет ли там спекулянтов, везущих в город муку... И все же О. М. тоже попал под очарование Коли Тихонова, но это длилось недолго. Тихонов предстал перед нами в своем подлинном виде раньше, чем перед другими. Мне особенно запомнилась искренняя и убежденная интонация Тихонова, когда он сказал: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет. Комнату ему мы не дадим»... Это произошло после нашего возвращения из Армении; жить нам было негде, и О. М. попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату. Узнав об отказе и удивившись формулировке, я спросила Тихонова, должен ли

О. М. просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет»... Я попробовала узнать, говорит ли он от своего имени или передает чьи-то инструкции, но толку не добилась. Если инструкции — зачем же такая искренняя интонация? Эта установка не предвещала ничего хорошего, и мы уехали в Москву. А интонация Тихонова означала: мы все ведем себя, как люди, делаем все, что положено, а кто такой этот Мандельштам, который ни с кем не считается, несет черт знает что, да еще требует от нас комнат и работы... Больно много он себе позволяет, а мы потом отвечай... Тихонов был по-своему прав — для беззаветно преданного человека, как он, Мандельштам являлся аномалией, вредным порождением прошлого, лишним человеком в литературе, где места распределяют высшие инстанции и те, кому это поручено...

К этому времени мы уже понимали Тихонова. Незадолго до разговора о комнате и праве на жительство в Ленинграде мы встретили его, когда он выходил из редакции журнала «Звезда» с карманами набитыми рукописями, взятыми на рецензию. Тихонов похлопал себя по карманам и сказал: «Как на фронте»... Мы знали, что Тихонов полон воспоминаниями о гражданской войне, но не поняли, какое отношение имеет к фронту его оттопыренный карман. Дело объяснилось сразу: «Литературная война»... Свой военный пыл Тихонов перенес на скромнейшую литературную работу: зарежешь десяток графоманских романов, которыми всегда полны редакционные портфели, а заодно выявишь что-нибудь идеологически чуждое — вот и ощущение выполненного революционного долга. Чем не война? А воин при этом ничем не рискует — как его в такой войне ранят? — и заполняет без всякого мародерства свою квартирку скромным советским уютом. Чем плохо?

«Как на фронте» — любимая поговорка Тихонова. Но мы иногда слышали от него и другие варианты победных кличей. Почему-то мне пришлось зайти к нему в Москве. Он остановился в Доме Герцена, где мы тогда жили, но на «барской половине», у Павленко. Это произошло в день падения РАППа, 23 апреля 1932 года — мы узнали об этом событии утром, развернув газеты. Оно было неожиданностью для всех. Я застала Тихонова и Павленко за столом, перед бутылочкой

вина Они чокались и праздновали победу. «Долой РАППство», — кричал находчивый Тихонов, а Павленко, человек гораздо более умный и страшный, только помалкивал...

«Но ведь вы дружили с Авербахом», — удивилась я. Мне ответил не Тихонов, а Павленко: «Литературная война вступила в новую фазу»...

Из Воронежа О. М. как-то послал Тихонову стихи про кота и Кащея. Он почему-то надеялся, что Тихонов пришлет денег, получив от ссыльного и нищего товарища стихи про золото и драгоценные камни. Тихонов немедленно ответил телеграммой, что сделает для О. М. все, что сможет. На этом наши отношения кончились: видно, он не смог ничего. Я напомнила Тихонову через Суркова про эту телеграмму уже в начале шестидесятых годов: «Библиотека Поэта» отчаянно искала кому бы поручить предисловие к книге О. М., стоявшей в плане издательства. Все подряд отказывались писать это дурацкое предисловие — никто не хотел делить с редакцией ответственности за воскрешение Мандельштама. Согласись Тихонов написать предисловие, книга наверное давно бы вышла. Ведь был благоприятный момент, как раз перед выходом повести Солженицына... Кандидатура Тихонова для предисловия на редкость удачная — ни к чему не обязывает и защищает издание от нападок, которые страшны до момента выхода в свет всего тиража. Сурков уговаривал Тихонова и напомнил ему об его обещании «сделать все» в телеграмме, но тот отказался наотрез. «Он совсем превратился в китайского божка», — сказала я Суркову. Он не возражал, да и возражать было нечего.

Отказаться от Коли Тихонова, юноши с размашистыми движениями, трудно. «Тихонов и Луговской никогда ни для кого ничего не сделали, — сказала мне Анна Андреевна, — но они все же получше других»... Анна Андреевна как-то в 37 году встретила Тихонова, и они с полчаса гуляли вместе по набережной. Тихонов все время жаловался ей на проклятое время. «Он говорил то же, что мы», — сказала Анна Андреевна. Вот почему она к нему и сейчас не плохо относится. Но как говорил!... Придя домой, она не могла припомнить ни одной фразы, [illegible] ри бы выдал свое отношение к террору: все было так от[illegible]ровано, что даже Ахматовой он «не дал против себя материала»... Он только на что-то жаловался, но ни одного лишнего слова не произнес — это ли не высокая дисциплина!...

Вот я и считаю, что его нельзя ставить на одну доску с Луговским. Этот был совсем другого склада — несравненно более наивного и чистого. Фронта он боялся как огня, литературной войны не вел и в пьяном виде мог наговорить с три короба чепухи. А Тихонов всегда верен себе и делу, которому служит. На его похороны придут последние могикане и воздадут воинские почести беспартийному литературному борцу, понимавшему, что журнал «Звезда» — тот же фронт.

Жена Тихонова делала, как будто, игрушки из папье-маше. И сам живой когда-то Тихонов превратился в фигурку из папье-маше. В футляре из папье-маше никогда не содержится подлинных ценностей. Да их, наверное, никогда и не было, и Тихонову заниматься переоценкой не пришлось. Он — один из лучших представителей тех, кто стоял за «новое» на заре двадцатых годов.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Больше чем четверть века назад, в майские праздники 1938 года, я приехала в Москву из Саматихи, дома отдыха под Муромом, с известием об аресте О. М. «Надо продержаться, пока решится судьба», — сказала я и, сняв с полки несколько книг, пошла к букинисту. Книги пошли на первую и единственную посылку О. М., которая вернулась «за смертью адресата». Мне всегда хотелось, чтобы хоть что-нибудь осталось от этой книжной полки, дававшей нам иллюзию мирной жизни ведь в выборе этих книг все-таки отразились интересы О. М. тридцатых годов. И я тогда же дала Харджиеву примерный список распроданных мною книг. Список, конечно, был неточным: женщина в том положении, в котором я тогда находилась, ни на чем сосредоточиться не может. Остаток книг, то есть то, от чего отказались букинисты, находится у моего брата Жени — мне до сих пор некуда их забрать.

Мы начали покупать книги, когда я поступила служить в

редакцию ЗКП. Там мне выдавали ежемесячно «талон на бесплатное приобретение книг» — прививали журналистам культуру... «Купите что-нибудь фундаментальное», — посоветовал Чечановский, вручая мне первый талон. Он особенно рекомендовал шеститомного Ленина или начинавшее выходить собрание сочинений Сталина. На книжных полках у всех наших знакомых уже стояли все собрания классиков марксизма — они стали неизменной принадлежностью интеллигентского дома. На этом очень настаивали наши воспитатели. Ведь Сталин действительно верил, что стоит всей интеллигенции хорошенько прочесть все эти книги, как они тут же, убежденные неотразимой логикой, откажутся от идеалистических предрассудков. Спрос на марксистскую литературу стоял тогда на высшей точке. Розовый чекист, угощавший нас во время обыска 34 года леденцами из жестяной коробки, был просто поражен отсутствием марксистской литературы на нашей полке. «Где вы держите своих классиков марксизма?» — спросил он у меня. О. М. расслышал вопрос и шепнул мне: «Он в первый раз забирает человека, у которого нет Маркса»...

И никаких вообще фундаментальных классиков у нас не было, вообще ничего многотомного, хотя нас всегда подбивали чем-нибудь таким обзавестись. Бенедикту Лившицу это даже удалось, и О. М. под его влиянием взял как-то и купил многотомного Ларуса. Ведь Бен говорил: «Переводчику без этого не обойтись»... Это происходило в середине двадцатых годов, когда О. М. оставалось добывать на жизнь только переводами... Толстые тома Ларуса так и пролежали, связанные веревкой, и уехали обратно к букинисту — переводчиком О. М. не сделался... Фундаментальное и собрания сочинений никогда О. М. не соблазняли. К тому же в нем совершенно отсутствовала жилка собирательства и коллекционерства. Он не нуждался ни в редких книгах, ни «в полном охвате» какого-нибудь вопроса. Ему хотелось, чтобы у него и с ним жили те книги, с которыми он как бы вступил в личные отношения, завязал настоящий разговор. Прочие он мог даже ценить, но легко с ними расставался. Так он позволил Катаеву утащить только что вышедшую «Сестру мою жизнь». «Что мне надо, я помню, а ему нужнее», — объяснил О. М. Он всегда повторял: «Книга должна быть у того, кому она нужна»...

Мне почти никогда не удавалось соблазнить О. М. своими

книжными находками. Однажды я с торжеством вытащила из кучи букинистической рвани «Cor ardens» — ведь мне-то хотелось прежде всего восстановить все утраченные книги с моей первой полки. О. М. остался равнодушен: «Зачем всегда одно и то же»... Это было уже пережито и сюда О. М. возвращаться не хотел. Зато томику Бюргера О. М. обрадовался: «Ты всегда знаешь, что мне нужно»... Но это было неправдой — кроме Бюргера, он все мои предложения всегда отклонял.

На нашей полке, появившейся в тридцатые годы, совсем не было поэзии двадцатого века — только Анненский, акмеисты — Гумилев и Ахматова, да еще две-три случайных книги. Поэзию XX века О. М. пересмотрел в 22 году. Случилось так, что два молодых человека решили попробовать, каково быть частными издателями, и заказали О. М. антологию русской поэзии от символистов до «сегодняшнего дня». Антология открывалась Коневским и Добролюбовым, а кончалась Борисом Лапиным. О. М., как обычно, искал у поэтов удач: у Добролюбова «Говорящих орлов», у Бальмонта «Песни араба, чье имя ничто», у Комаровского «На площадях одно лишь слово — лаки», у Бородаевского «Стрижей», у Лозина-Лозинского «Шахматистов». Он с удовольствием переписал 2-3 стихотворения Бори Лапина — что-то про умный лоб и «звезды в окнах ВЧК» и еще «Как, надкусывая пальцы астрам, Гриль-Траль целовал цветы»... Загвоздкой был Брюсов. Он не подбирался, а обойтись без него было невозможно. В те годы он казался гораздо крупнее, чем сейчас, — нам не хватало ломоносовской «далековатости», чтобы правильно оценить явление. Ведь на близком расстоянии масштабы всегда искажаются. Читая Брюсова, которого нужно было очень широко представить, О. М. выходил из себя: «Что это значит — «ты должен быть жарким, как пламя, ты должен быть острым, как меч»? — раздраженно спрашивал он, а когда дело доходило до строк про Данте, которому подземное пламя обожгло щеки, О. М. бросался к издателям отказываться от работы. А они, как нарочно, приносили в карманах целые вороха брюсовских стихов. Но это были славные мальчики — поспорив, они успокаивались и прятали свои сокровища обратно в карман, и свою тайную антологию для ублажения собственной души. О. М. потом часто вспоминал их — они казались чистыми ангелами по сравнению с любым советским редактором. Антологию запретили,

потому что О. М. не включил в нее поэтов, которым уже тогда покровительствовало государство, то есть пролетарских. Их имена канули в вечность, и мне не припомнить, о ком шла речь. Кроме того, цензор настаивал на том, чтобы снять целую груду «буржуазных, классово-чуждых» стихов. От всей этой работы осталось только несколько листков верстки. Это была самая приятная из всех заказных работ — единственная по-настоящему осмысленная: мне кажется, что каждому поэту в молодости следует собрать собственную антологию родной поэзии.

«Что это значит?» — частый аргумент О. М. против раздражавших его стихов. Он так спросил меня про стихи Маяковского: «наш бог — бег, сердце — наш барабан»... Мне нравился этот треск, пока я не задумалась о том, что это значит. А вообще к Маяковскому О. М. относился хорошо и рассказывал, как они когда-то подружились в Петербурге, но их растащили в разные стороны: поэтам разных направлений дружить не полагалось. К этому времени относится фотография О. М. с Маяковским, Лившицом и Чуковским. Она была напечатана в какой-то газете для иллюстрации того, какие кретины лезут теперь в литературу. В сущности, появлением читателей и переменой отношения к поэзии, проявившейся с такой отчетливостью к первой войне или к началу революции, мы обязаны символистам, их огромной учительской работе. Я сама — ровесница века — уже принадлежу к выученному ими поколению. Именно в тех кругах, где они имели влияние — а эти круги все время расширялись — по-новому раскрылись и Толстой, и в особенности Достоевский, началось изучение Пушкина, воскресли Тютчев, Баратынский, Фет и многие другие. Русская бытовщина теряла читателя, но еще сохраняла позиции в самой литературе, в писательских кругах... Именно она пошла походом на все сделанное символистами, на тот культурный подъем, который обусловила их деятельность, хотя даже она уже не могла посягнуть на самих символистов. Долгое время казалось, будто культура «серебряного», как его называют, века уже совершенно вытоптана, сейчас опять появляются какие-то проблески. Что-то с ними будет? Куда мы идем?

В тридцатые годы О. М. уже не возвращался к двадцатому веку русской поэзии, а на полке собиралась поэзия девятнадцатого. О. М. любил первоиздания поэтических сборников, и это нисколько не противоречит тому, что я сказала об отсутствии у него коллекционерской жилки. В первых изданиях стихов всегда видна рука автора, его оценка стихов, его отбор, его расположение вещей. В первоизданиях у нас были: Державин, Языков, Жуковский, Баратынский, Фет, Полонский и другие. И у них О. М. отыскивал удачи. У Мея он отметил «Помпеянку» — «ты, помпеянка, мчишься по воздуху»... У Случевского — «Ярославну» и «Казнь в Женеве», где строчки про старуху звучат почти, как Анненский... У Полежаева — «Цыганку». Не помню, чем он восхитился у Аполлона Григорьева, которого тоже читал по первоизданию: он случайно раздобыл книжечку — не «Гимны» ли? — изданную всего в пятидесяти экземплярах. У Фета он любил множество стихов, а среди них «Змея», где «чешет косу, моет шею чернобровая вдова». В этом выборе, вероятно, подсознательно действовала власть оценок первого учителя, Владимира Васильевича Гиппиуса, о котором О. М. рассказывает в «Шуме Времени». Анна Андреевна у Фета выбрала для себя: «моего тот безумства желал, кто свивал этой розы завои»... Они обменивались любимыми стихами, дарили их друг другу... А с Майковым случилось то, что с Брюсовым: ничего выбрать не удалось... Уголок полки, где стояли русские поэты, непрерывно пополнялся, но заказчика на антологию уже не было и быть не могло.

Второй по количеству раздел книг — итальянцы. Вместе с Данте пришли Ариост, Тасс, Петрарка. Они были не только в подлинниках, но и в немецких прозаических переводах. Первое время, когда О. М. еще не овладел языком, он иногда прибегал к переводам. Среди них он ценил только один, не вспомню чей, — уж не Горбова ли — русский, прозаический перевод «Чистилища», изданный в десятых годах. Стихотворные переводы он не выносил. Слишком уж редкая удача, когда перевод входит в литературу как вошел Гнедич... Все издания были скромные, с небольшим фактическим комментарием, вроде оксфордского 1904 года. Мы бы купили, конечно, более новые издания, но их и сейчас не достать. Из итальянской прозы я помню Вазари, Боккачио, Вико, но это, вероятно, не все.

Латинских поэтов накопилось довольно много — Овидий, Гораций, Тибулл, Катулл... Почти все они покупались в изданиях с немецкими переводами, потому что немцы, как переводчики, точнее французов.

В Армении О. М. вернулся к немцам и в тридцатых годах

усиленно их покупал — Гёте, романтиков — Бюргера, Ленау, Эйхендорфа, обоих Клейстов, Гердера и еще, и еще. Завел он и Клопштока, потому что, как он говорил, это звучит, как орган. Кроме того, завелись Мерике и Гельдерлин. Еще он добыл кое-кого из писавших по средне-немецки. Французов было гораздо меньше. От прошлого остались Шенье, Барбье и вечный Вийон. Заново он купил Верлена, Бодлера и Рембо. В юности он как-то пробовал переводить Малларме — ему посоветовал Анненский: учитесь на переводах. Но ничего из этого не вышло, и О. М. убеждал меня, что Малларме просто шутник. И еще — Гумилев и Георгий Иванов, будто дразнили его такой строчкой: «и молодая мать — кормящая сосна», то есть со сна... Хорошо, когда люди друг друга дразнят...

О. М. привез из Ленинграда свои юношеские старофранцузские книжки еще в 22 году, когда ему заказали перевод старофранцузского эпоса. Недавно Саша Морозов разыскал в каком-то архиве вольный перевод плача по Алексее и Алисканс. Это не просто перевод — в обеих вещах как-то странно заговорила судьба, и О. М. это чувствовал. Алексей — это обет нищеты, а Алискансом он как бы дал клятву не прятаться, когда надо защищать жизнь. С рукописями О. М. был всегда исключительно небрежен, ничего не хранил — «сохранит тот, кому нужно» — и верил в архивы и редакции: эти стихи он отдал в единственном списке в редакцию журнала «Россия» и не позволил мне снять копию. Кроме обычной небрежности здесь было еще что-то: он боялся этих стихов, как тех двустиший, где предсказана тяжкая судьба женщине. От таких стихов он прятался — никогда их не вспоминал и дома не держал. Так ребенок закрывает глаза и думает, что его не видят, или птица прячет голову под крыло. А какое тут, кстати, предсказание? Как иначе могла сложиться наша судьба в этом мире? Хорошо еще, что я до чего-то дожила и сохранила стихи. Приходится это считать удачей — теперь уже стихи не пропадут. И Анна Андреевна выстояла... Не чудо ли это?

Из русских книг О. М. жадно покупал русских философов — Чаадаева и славянофилов. С германской философией явно не ладилось: однажды купил томик Канта, понюхал, сказал: «Наденька, это не для нас» и закинул за книги, чтобы не соблазняться. С русскими было совершенно иначе — он с ними жил. До нас довольно рано дошел слух о том, как вырос в изгнании

Бердяев. О. М. все спрашивал про него и пытался достать книги, но с каждым днем это становилось труднее и опаснее. Так мы и жили, отрезанные от современности — на сухом пайке. Оставалось только прошлое, и мы пользовались им, как могли.

В короткий период, от тридцатого года до ссылки, О. М. вплотную занялся древнерусской литературой. Он собрал летописи в разных изданиях «Слово», конечно, которое он всегда очень любил и знал наизусть, кое-какие повести, а также русские и славянские песни в разных собраниях — Киреевского, Рыбникова... Старорусскую литературу О. М. всегда хватал с жадностью и знал и Аввакума, и несчастную княжну, вышедшую замуж за брата царской невесты. На полках появился Ключевский, включая ранние работы, вроде «Сказания иностранцев», а также архивные материалы, которые у нас довольно широко издавались: документы пугачевского бунта, следственные дела декабристов и народовольцев: Анна Андреевна тоже отдала этому дань, а в период ежовщины только и читала его «Ссылку и каторгу». Тенишевское училище всетаки дало хорошие знания древнерусского языка в литературы — они как-то в крови были. Работая в педагогических вузах, я часто думала, какую роковую роль сыграло разрушение средней школы. Мне кажется, что ни я, ни О. М. советской школы бы не кончили — не смогли бы — и уж во всяком случае за всю жизнь не накопили бы тех простых представлений и ненапряженных знаний, которые нам дала русская гимназия.

Новым для О. М. были армянские летописцы. Ему удалось достать у букинистов Моисея Хоренского и еще кое-что, но очень мало. Зато с биологией ему повезло — он достал Линнея, Бюффона, Палласа и Ламарка. Завелся у него и Дарвин — «Путешествие на Бигле» — и кое-кто из философов, основывающихся на биологии, например, Дриш.

Философии культуры и биологии О. М. не чурался, но с Гегелем у него не вышло ничего, как и с Кантом. Марксом он увлекался еще гимназистом, и на этом дело кончилось. Перед самым арестом 34 года он отклонил принесенную ему в подарок «Диалектику природы», ошеломив дарителя, Лежнева, озорной выходкой. Этот Лежнев когда-то издавал журнал «Россия», и О. М. у него сотрудничал. Именно он заказал ему «Шум

Времени», а потом отклонил: ему мерещились совсем иные воспоминания и совсем другое детство, о котором впоследствии он написал сам. Это была история еврейского местечкового подростка, открывшего для себя марксизм. Лежневу повезло: его книгу, которую никто не хотел печатать — хотя она была не хуже других — прочел и одобрил Сталин. Он даже позвонил Лежневу по телефону, но не застал его дома. После этого звонка Лежнев, надеясь на повторный, просидел ровно неделю дома, не отходя от телефона. Он надеялся на повторение чуда, но чудеса, как известно, не повторяются. Через неделю ему сообщили, что второго звонка не будет, но уже отданы распоряжения: книга печатается, сам он принят в партию — поручитель Сталин — и назначен ведать литературным отделом «Правды». Из полного ничтожества, когда всякий мог пихнуть его сапогом, как лишенца и бывшего частного издателя, Лежнев вознесся и чуть не сошел с ума от радостного умиления. Кстати, из всех гарунальрашидовских чудес это оказалось самым прочным: Лежнев до самой смерти пребывал на этом посту, или на равнозначащем...

Узнав о своей судьбе, Лежнев решился, наконец, отойти от телефона. Он бросился сначала к парикмахеру — за неделю сидения дома он успел изрядно обрасти бородой, а потом — к нам с подарком и с рассказом о поворотном событии своей жизни, и о том, как он пришел к марксизму. Издавая «Россию», он об этом ведь и не помышлял. Оказывается, Лежнев изучил новооткрытые книги Энгельса, в частности, «Диалектику Природы», и прозрел. Он даже зашел в книжный магазин и купил экземпляр этой книги, потому что надеялся, что О. М. тоже прозреет. Лежнев был предельно искренним и доброжелательным. Я даже позавидовала тогда: искреннее исповедание веры, когда оно еще с ходу избавляет от всех неприятностей и тут же начинает приносить регулярный доход — наверное удивительно приятная вещь...

О. М. шлепал по комнате в домашних туфлях и, присвистывая, поглядывал на Лежнева. От подарка он только лениво отмахивался. Лежнев настаивал, и О. М. прибег к последнему средству: «Не надо, — сказал он, показывая на меня. — Она читала и говорит, что мне не надо»... Лежнев только ахнул: разве можно доверять жене выбор литературы по таким коренным идеологическим вопросам! «Можно, — сказал О. М. — Она лучше знает. Она всегда знает, что мне читать»... Возмущенный Лежнев ушел и, столкнувшись со мной лицом к лицу в Ташкенте, где мы оба были в эвакуации, не поклонился. Вероятно, он считал меня злым гением О. М. Надо отдать ему справедливость, он не напомнил правительству, чтобы меня тоже изъяли. Как вел себя Лежнев в «Правде», я не знаю, — наверное, как все, но мне он всегда казался порядочным и честным человеком. Я даже верю, что у него открылись глаза, когда он прочел «Диалектику Природы»: эта книга была как раз по нем.

Спрятавшись за мою спину, О. М. отклонил лежневский подарок, и марксистской литературы у нас на полке не оказалось. Кстати, задолго до Лежнева, биологи показывали О. М. эту книгу и жаловались ему, как она осложнила им жизнь. А что Лежнев целую неделю не брился, это не удивительно — так бы поступил любой советский гражданин, даже рискуя, что его выгонят за прогул со службы.

Зато у нас стояли на полке архитектурные альбомы, и среди них роденовская книжка о французской готике. Кто-то прислал нам в 37 году несколько изданий музеев из Италии. О. М. им очень обрадовался, но удовольствие испортил Костырев: он посоветовал остерегаться сношений с империалистическими странами, потому что там все шпионы. «Цель у них ведь была, когда они вам посылали эти книги!»...

На нижней полке стояли детские книги О. М. — Пушкин «в никакой ряске», Лермонтов, Гоголь, Илиада... Они описаны в «Шуме Времени» и случайно сохранились у отца О. М. Большинство из них пропало в Калинине, когда я бежала от немцев. Как мы метались в двадцатом веке, зажатые между Гитлером и Сталиным!

Книг было гораздо больше, но всех я все равно вспомнить не могу: Винкельманна, например, какой-то прелестный розарий и еще, и еще... Букинисты знали, на что нас надо зазывать. Они соблазняли О. М. презабавно «Пляской смерти», но она стоила дорого, и мы не купили. «Ничего, — сказал старый букинист. — Это пойдет Леонову — он покупает все книги дороже пятидесяти рублей...» Я никогда Леонова не видела, и пусть эта сплетня останется на совести того, кто ее пустил.

НАША ЛИТЕРАТУРА

В сороковые годы кабинетом марксизма-ленинизма в Ташкентском университете заведывала стриженая старушонка на костылях. Рассказывали, что ее переехал шалый велосипедист и врачам пришлось отнять ногу, потому что началась гангрена, но Усова клялась, будто это сделали нарочно, потому что старуха всем надоела. Мне старуха оказала большую услугу, и я не верю злоязычнице Усовой.

Охромев, старуха, член партии с пятого года и в недавнем прошлом крупный работник, поневоле засела в стенах университета. Никто к ней серьезно не относился и, разумеется, с ней не считались, но все же ее побаивались: в новой государственности и в реальной обстановке она разбиралась, как слепой щенок, но, свято храня заветы прошлого, готова была поднять шум по всякому поводу. Трудно себе представить, как она уцелела в ежовщину, скорее всего про нее забыли, потому что она пролежала больше года в больнице, но если бы случайно вспомнили, то не постеснялись бы явиться с ордером прямо в палату. Такие случаи бывали. Когда я стояла в очереди на букву «М» в Бутырской тюрьме, моя однофамилица рассказала мне, что ее мужа, семидесятилетнего старика — уж не юриста ли? — забрали прямо из Боткинской, где он лежал с воспалением сердечной сумки. Скорее всего хромая старуха с невероятным партийным стажем была таким анахронизмом, что в роковые годы никто про нее не вспомнил.

Я готовилась к кандидатскому экзамену по философии и сидела в кабинете марксизма за столиком, заваленным книгами. Это были сочинения, требующиеся по программе, и я быстро их просматривала. Старуха вошла в кабинет и не поверила своим глазам: кто-то читает в подлиннике ту литературу, которая сыграла такую огромную роль в ее жизни! Ей, вероятно, вспомнилась подпольная юность и тот трепет, с которым она в первый раз открыла заветный «Капитал».

«Эх, если б аспиранты так читали, как вы! — сказала она мне.

— Им ничего не всучишь, кроме словаря». Я смутилась незаслуженному комплименту: способ подготовки к экзамену с помощью философского словаря был известен и мне. «Нет, нет, — сказала старуха, — вы их не знаете: конспекты, словарь и больше ничего». Она выдала мне все книги на дом и обошла моих экзаменаторов, агитируя их в мою пользу: «Вы не знаете молодых — им нужно, чтобы слово в слово, а мы — люди старые — к этому не привыкли. Споткнетесь и все тут — зарежут... Но я им рассказала, как вы читаете, и про их аспирантов тоже»... Второй пункт — разоблачение аспирантов — был самым существенным. Боясь связываться с вредной старухой, мои экзаменаторы не решились меня провалить, хотя сделать это было легче легкого: ведь я не владела искусством перебрасываться с преподавателем вопросами и ответами, словно теннисными мячами, и вполне могла перепутать все съезды... А ведь в кулуарах уже шли разговоры, что мне не следует доверять и надо получше проверить мои знания. Это был, правда, не приказ сверху, который нельзя нарушить, а встречный план молодых преподавателей: им просто не хотелось пропускать меня, чужую, в привилегированное сословие кандидатов, получающих отличную зарплату, иначе говоря — «в кадры»... Что ни говори, а чутье у них было правильное: они за версту узнавали чужого, как бы он ни прятал глаза. Словом, старуха спасла меня, и она знала, что делает: не легко беспомощному человеку барахтаться среди интригующего и кипящего страстями молодого поколения. Кроме того, она наверное почуяла, что между мною и ею есть нечто общее: ведь в те годы никто не читал ни ее, ни моей литературы! И то, и другое вышло из употребления, и мы обе надеялись, что наша литература все-таки воскреснет. И она, и я верили в незыблемость наших ценностей; хотя мои были и остаются подпольными, а подпольная литература ее юности стала государственной, и та, и другая потеряли читателей.

Прошло около двадцати лет. Старуха, наверное, уже давно умерла, но у нее еще есть единомышленники — люди двадцатых годов, которые упорно надеются, что молодежь, опомнившись, снова будет искать ответов на все вопросы в диалектической азбуке их юности. Они надеются, что эту азбуку забросили только потому, что она была подменена «Четвертой Главой». Есть и такие — те, что помоложе, им сейчас нет и ше-

стидесяти, — которые мечтают о воскрешении именно «Четвертой Главы» и всего, что ей сопутствовало. Они довольно одиноки, но их утешает учение о тезе, антитезе и синтезе. Они надеются дотянуть до синтеза и снова развернуться с полной мощью. И наконец, есть молодежь, которая помнит о славных днях своих отцов, ныне находящихся в отставке. «Цель не оправдывает средства», — сказал кто-то из студентов группы, в которой я преподавала. «А я считаю, что оправдывает», — строго сказала красивая девушка, живущая в хорошей квартире и пользующаяся всеми льготами, которые может предоставить областной город своему почетному жителю — лечебницей, санаториями и тайно-закрытыми распределителями. Отец этой девушки вышел в отставку после Двадцатого Съезда и выбрал для жительства областной город, где я работала. Единственная из всей группы, она знала, чего хочет, и только она прочла Солженицына и решительно высказалась против печатания таких книг. Если старуха-библиотекарша огорчалась, что аспиранты не читают «Капитал», эта интересовалась только «Четвертой Главой» и порядком. Обе надеялись на возвращение прошлого.

А я, со своей стороны, с трепетом и надеждой слежу, как увеличивается число людей, читающих стихи и «Четвертую Прозу». Неприкосновенный фонд идей образуется обычно в молодости, и люди редко его пересматривают. Я и мои антагонисты продолжаем стоять на своем. Мы — теза и антитеза. Синтеза я не жду, но хочу понять, кому принадлежит будущее.

ИТАЛИЯ

На вопрос, что такое акмеизм, О. М. ответил: «Тоска по мировой культуре». Это было в тридцатых годах либо в Доме Печати в Ленинграде, либо на том самом докладе в воронежском Союзе писателей, где он заявил, что не отрекается ни от живых, ни от мертвых. Вскоре после этого он написал: «и ясная

тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане»... Тосканская земля названа всечеловеческой.

В этих стихах быть может яснее, чем где-либо, определено его отношение к Италии, к Средиземноморью. Мне попалась заметка Глеба Струве, где он задается вопросом, бывал ли О. М. в Италии, и перечисляет все «итальянские мотивы», как он выражается, в стихах Мандельштама. В Италию О. М. ездил дважды, когда учился в Гейдельберге и в Сорбонне. Но эти одинокие юношеские поездки, краткие — всего на несколько недель и поверхностные — оставили чувство неудовлетворенности: «все равно, что не ездил»... Но дело не в этом, а в том, какую роль играла для О. М. «всечеловеческая земля» Италии, вернее, все Средиземноморье. «Историю нельзя начать, — писал он в юношеской статье о Чаадаеве. — Ее вообще немыслимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там, в лучшем случае, «прогресс», а не история, механическое движение часовой стрелки, а не священная связь и смена событий». Эти слова относятся к Чаадаеву, но мысли несомненно близки и О. М. Средиземноморье было для него священной землей, где началась история, которая путем преемственности дала христианскую культуру Европы. Мне не совсем понятен выпад О. М. в «Путешествии в Армению», заставивший насторожиться всех марксистов: «Растение в мире — это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие»... Понятие «развитие», очевидно, прочно связалось с позитивистами — Контом, Стюартом Миллем и всеми теми, кого читали и чтили люди поколения его матери, и кто пробил у нас почву для марксизма. Во всяком случае у О. М. было два ряда явлений — у него был как бы положительный ряд и отрицательный. К положительному ряду относятся: гроза, событие, кристаллообразование... Он применял эти понятия и к истории, и к искусству, и даже к становлению человеческого характера. Отрицательный ряд — все виды механического движения: бег часовой стрелки, развитие, прогресс. Сюда можно прибавить смену кинокадров, которую в «Разговоре о Данте» он сравнивает с «метаморфозой ленточного глиста». В этом сравнении выпад против логического блеска модного в наши дни Эйзенштейна, против его механических красот. Такое движение было

для О. М. равнозначно неподвижности, буддизму, понятому по Владимиру Соловьеву «походу варварских телег». Именно поэтому современную ему Москву он называл буддийской — «я возвратился, нет, считай насильно был возвращен в буддийскую Москву»... В постоянно возникавших у нас разговорах о новой жизни и о будущем тысячелетнем царстве непрерывного прогресса О. М. впадал в ярость и бросался в спор. В этих теориях он чуял давнишнюю «всеславянскую мечту об остановке истории». Я не знаю, в какой мере О. М. сохранял веру в целесообразность исторического процесса — до середины двадцатого века это было чересчур трудно, — но цель истории он видел во всяком случае не во всеобщем счастье. К идее всеобщего счастья он относился так же, как и к личному: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой?» Теория всеобщего счастья казалась ему наиболее буржуазной из всего наследства девятнадцатого века.

Вторым постоянным толчком для споров был вопрос о преемственности, которую он искал повсюду — в истории, в культуре, в искусстве. Здесь опять помогала аналогия с часами: часы заводятся и движение начинается из ничего, а событие немыслимо без преемственности.

О. М. отличался какой-то смешной мальчишеской прямолинейной конкретностью: раз найдено уподобление и часовая стрелка напомнила ему «дурную бесконечность», антипатия распространилась и на такую полезную вещь, как часы; он не любил и никогда не имел часов. «Зачем часы, — говорил он, — ведь я и так могу сказать, который час». Действительно, внутренний отсчет времени шел у него с поразительной точностью и он никогда не ошибался больше, чем на несколько минут. Это, кажется, свойство горожан, а он и действительно был горожанином... Единственный вид часов, которые он допускал в дом, когда я уж очень настаивала, это — ходики. Маятник, гирька на цепочке и картинка на циферблате смягчали его ненависть к механическому счетчику. Ходики напоминали ему кухню. Кухня всегда была его любимой комнатой в квартирах, но сам он никогда ее не имел. Нравились ему еще аптечные песочные часы, ему очень хотелось купить их для ванной комнаты, но из квартиры с ванной нас настолько быстро убрали, что мы не успели их раздобыть. В детских стихах

появились часовые стрелки, но они отеплились сравнением с усами, бегающими по тарелке: бывают ведь люди, плоские, как тарелка...

А к машинам у О. М. никакого отвращения не было — он интересовался ими, любил их умную работу, охотно разговаривал с инженерами и огорчался, что среди них у него не было читателей. Действительно, в те годы техническая молодежь, если в ней пробуждались литературные интересы, шла за ЛЕФ'ом. Иные читали Пастернака, полученного ими от того же ЛЕФ'а. Сейчас положение изменилось, и, кроме того, техническая интеллигенция уже не ощущается, как представители века, как самые современные люди... Те, что поумнее даже стесняются, что попали в технократы. Миф о величии промышленности, о ее решающей роли в истории, об «исторической необходимости» и надстройке, находящейся в полной зависимости от базиса, уже почти рассеялся. Эпоха социального детерминизма как будто кончается, но еще остался нерассеянным порожденный ею миф о культуре и цивилизации с их противопоставленностью и несовместимостью. В том ли болезнь нашей культуры, что у нас появились более усовершенствованные орудия, чем сотню лет назад?

Уже Блок говорил о гибели цивилизации, сменившей культуру, и сравнивал нашу эпоху с падением Рима. Лишенная целостности, индивидуалистическая цивилизация рухнула, по Блоку, увлекая в своем падении гуманизм и его этические ценности. На смену идут варварские, не тронутые цивилизацией массы, которые сохранили «дух музыки» и несут с собой новую культуру. Интересно, что массы эти для Блока — германские и славянские, словно он уже в восемнадцатом году предчувствовал фашизм... Блоковская концепция близка к Шпенглеру. Блок, несмотря на свое бытовое христианство и на «дух музыки», остается в сущности позитивистом: ведь личность для него признак не христианской культуры, а только гуманизма, так же, как и этические ценности и гуманность. О. М. теорией Шпенглера не обольстился ни на миг. Прочтя «Закат Европы», он почти мельком сказал мне, что аналогии Шпенглера, по всей вероятности, к христианской культуре не применимы. У него никогда не было чувства конца, в котором один из главных источников блоковского пессимизма. Под культурой

О. М. понимал идею, лежащую в основе исторического процесса; история же для него была путем испытания, действенной проверкой добра и зла.

Убеждение, что культура преемственна, как благодать, и что без нее вообще нет истории, привело к тому, что у О. М. была своя святая земля: Средиземноморье. Отсюда постоянные возвращения к Риму и Италии в его стихах: Рим это место человека во Вселенной и шаги звучат там, как поступки... В сферу Средиземноморья он включал Крым и Закавказье. В стихах об Ариосто он сказал то, что было его мечтой: «в одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше черноморье...»

«Земля, по которой учились первые люди», была местом настоящего паломничества О. М. При всей своей любви к путешествиям, он наотрез отказывался от поездок в Среднюю Азию и на Дальний Восток. Его тянуло только в Крым и на Кавказ. Древние связи Крыма и Закавказья, особенно Армении, с Грецией и Римом казались ему залогом общности с мировой, вернее, европейской, культурой. Большинство путешествующих писателей — а поездки на окраины пользовались у нас большой популярностью — выбирало обычно мусульманский мир. О. М. считал эту тягу к мусульманскому востоку не случайной у наших людей. Детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре — все это больше подходило для людей нашей эпохи, чем христианское учение о свободе воли и самоценности личности.

Сам О. М., чуждый мусульманскому миру — «и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых востока» — искал лишь эллинской и христианской преемственности. Феодосию он полюбил не только за ее своеобразный пейзаж, но и за имя, за остатки генуэзской крепости и за порт со средиземноморскими кораблями. Когда-то О. М. сказал Харджиеву, что считает себя последним христианско-эллинским поэтом в России. Это слово «последний» — единственное его высказывание, в котором чувствуется страх конца культуры... А я думаю, что он хотел бы, чтоб его похоронили в Крыму, а не на земле изгнания — под Владивостоком.

Вполне понятно, почему стихи вернулись в Закавказье. У О. М. есть признание, что он работает, когда в груди ощущается «Колхиды колыханье», то есть ощущение связи с миром

истории и культуры. Только при таких условиях может появиться «песнь бескорыстная...» Стремился он в Армению настойчиво и долго, предпочтя ее даже Грузии, вероятно, как христианский форпост на востоке, но о значении Грузии для русской поэзии говорил неоднократно.

Как и все хорошее в нашей жизни, поездку в Армению устраивал Бухарин. В первый раз он пытался отправить нас в Армению еще в конце двадцатых годов. Наркомом просвещения был тогда Мравьян. Он пригласил О. М. в Эриванский университет «читать страшный курс-семинарий». Первая поездка сорвалась из-за неожиданной смерти Мравьяна, да и преподавания О. М. испугался до смерти — он не представлял себе, что может кого-нибудь учить, и сознавал, что никаких систематических знаний у него нет. Когда в тридцатом году, на вопрос Коротковой, белочки-секретарши из «Четвертой Прозы», куда мы хотим ехать, О. М. ответил: «в Армению», она вздохнула и, серьезно посмотрев на О. М., сказала: «Опять в Армению? Значит, это очень серьезно...» О. М. не случайно помянул эту секретаршу в «Четвертой Прозе»: в ней чувствовалась душевная внимательность и доброта, которые были не в моде в наших учреждениях. По контрасту мне вспоминается «секретарша нечеловеческой красоты» в уничтоженных со страха, — вполне обоснованного, — драматических сценах Ахматовой. Эта секретарша там все время повторяет фразу, которую мы слышали везде и повсюду: «Вас много, а я одна»... В этой фразе отразился весь стиль эпохи в преломлении мельчайшей чиновницы.

Редактор американского издания О. М., Филиппов, со свойственной всем редакторам проницательностью, решил, что в Армению О. М. сбежал от строительства пятилеток... Это — дешевая политическая спекуляция. На окраинах строительство ощущалось гораздо сильнее, чем в центре, и против него О. М. уж во всяком случае ничего иметь не мог. С чего бы ему сердиться на планомерную организацию хозяйства? Разве в этом дело?

Крым, Грузия и Армения в понимании О. М. были только Черноморьем, приобщенным через связи с Средиземноморьем к мировой культуре. Мерилом же всех явлений оставалась Италия. Он не случайно выбрал Данте, чтобы изложить свою поэтику: Данте для О. М. — это источник, от которого пошла вся

европейская поэзия, и мера поэтической правоты. В записных книжках к «Разговору о Данте» есть несколько заметок об «итальянской прививке» у русских поэтов. Эти заметки не попали в основной текст, вероятно, потому, что О. М. избегал слишком большой откровенности и не любил обнажать свою мысль: ее ход он как бы оставлял для себя. В кремлевских соборах он заметил их итальянскую природу: «и пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою душой» и «Успенье нежное — Флоренция в Москве»...

Про Рублева он сказал, когда смотрел «Троицу», что Рублев несомненно знал итальянских мастеров, и это выделяет его среди других иконописцев его времени. Небольшую повестушку — это была радиопередача — о юности Гёте, куда О. М. подобрал эпизоды, характерные для биографии не только Гёте, но вообще всякого поэта, он закончил итальянским путешествием. Такое паломничество к святым местам европейской культуры казалось ему необходимым и решающим этапом в жизни каждого художника.

Почему же О. М., неудовлетворенный своими юношескими поездками в Италию, отказался в двадцатых годах от поездки заграницу? Всесильный тогда Бухарин дал поручительство, второе он получил у Воронского — заграничный паспорт был обеспечен. Эти поручительства пролежали без толку у меня в сундуке до самого обыска 34 года, когда их сунули в портфель и вместе с рукописями стихов увезли на Лубянку, «приобщили», так сказать, к делу...

В молодости я не до конца понимала связь между поступками О. М. и тем, что он писал. Сейчас многое для меня яснее, чем в те дни, когда он был жив и повседневные ссоры, взаимные насмешки и пререкания занимали все наше время и мысли. Объяснение отказа от поездки в Европу я нашла в статье о Чаадаеве, о котором О. М. рассказывает, что он побывал на Западе, в «историческом мире» и все же вернулся. Он нашел дорогу обратно — и в этом О. М. видит его заслугу. С такой же наивной прямолинейностью, с которой О. М. не терпел в доме часов, он, вспомнив о возвращении Чаадаева, отказался от соблазна еще раз посетить Европу. Мысль у О. М. всегда переходила в поступок, но, боясь моих насмешек, он не всегда открывал мне подоплеку. Но я уже при его жизни знала, что и стихи и проза как бы определяли его поведение, вернее, многое из сказанного им прозвучало для него, как обет. Таков был обет нищеты в стихах об Алексее, обещание продолжать борьбу, как бы это ни было опасно и неприятно, в «Алисканс» и отказ от Европы в статье о Чаадаеве. Эта статья написана в ранней юности, но миропонимание уже успело оформиться, и обеты, данные мальчишкой, сохраняли силу до самой смерти.

СОЦИАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

В самом начале тридцатых годов О. М. как-то мне сказал: «Знаешь, если когда-нибудь был золотой век, это — девятнадцатый. Только мы не знали».

Мы действительно многого не знали и не понимали, и знание далось нам дорогой ценой. Почему за поиски совершенных форм социальной жизни люди всегда так жестоко расплачиваются? Недавно я услышала: «Известно, что все, кто хотел дать людям счастье, приносили им величайшие несчастья»... Это сказал юноша, который сейчас не хочет перемен, лишь бы не навлечь на себя и на других новых несчастий. Таких, как он, сейчас — толпы, разумеется, среди более или менее зажиточных кругов. Это — молодые специалисты, представители точных наук, чей труд нужен государству. Они живут в наследственных квартирах в две, а то и три-четыре комнаты или ждут ордера от своего института. Деятельностью своих отцов они напуганы, но еще больше боятся перемен. Их идеал — тихо просидеть всю жизнь за своими вычислительными машинами, не думая о том, зачем нужны их вычисления и к чему они приведут, а досуг посвящать кто чему — литературе, женщинам, музыке или поездкам на юг. Недаром старый остряк Шкловский, получив ордер на новую квартиру, сказал, обращаясь к другим счастливцам, въезжавшим в тот же дом: «Теперь надо молить Бога, чтобы не было революции...» Виктор Борисович попал в точку: предел личного счастья достигнут. Только бы им насладиться... Только бы покой... Чуточку покоя... Нам его всегда не хватало.

Формула молодых специалистов, не желающих перемен,

найдена превосходно: ведь, действительно, погоня за совершенством приводит черт знает к чему. Недавно человек другой судьбы, пожилой и много испытавший, активно боровшийся за «новое» — но не у нас — и потому сохранивший чувство ответственности за свершившееся, признался: «Раз в жизни мы захотели осчастливить народ, и никогда себе этого не простим». Впрочем, думаю, что он себе все простит и постарается взять от жизни все, что ему следует за заслуги... А там, внизу, те самые массы, про которых наговорили столько чепухи — музыка, нетронутые цивилизацией, механизированные и все прочее — ломают голову, откуда бы добавить к зарплате, чтобы тоже мирно прожить. Кое-кто тянет в дом на дело — укрепить венцы или купить обувку; а другие больше насчет четвертинки. Откуда достают они деньги, чтобы глушить себя водкой? Жил рядом со мной в Пскове маляр, бывший партизан, пожилой человек, еще и сейчас сталинец чистой воды. В дни получки он матом кроет обманувшего его бригадира, а к вечеру шумит в коридоре коммунальной квартиры: «Смотрите, как живет Григорий Семеныч: все у него есть! Все ему Сталин обеспечил»... Жена уволакивает его в комнату, где они живут вчетвером, и там похвальба продолжается: «квартиру дал, орден дал, жизнь дал, почет и уважение дал... А кто дал, сами знаете... Цены снижал...» Семейные праздники в этом семействе проходят чинно — собираются сестры жены с мужьями, вспоминают раскулачиванье — им удалось сбежать с родительского хутора сначала в прислуги, а потом на государственную службу. Жена маляра — самая бойкая — во время финской войны она служила в столовой МГБ в прифронтовой полосе и помнит, что «финны злые». Они пьют за Сталина и утверждают, что раньше, в его, сталинское, время, у них все было, а теперь одни недостатки... Искалеченные зятья и пожилые женщины с маленькими детьми, рожденными после войны... Жена маляра прислуживала мне всю зиму, а весной донесла по привычке на свою соседку, сдававшую мне комнату, что у нее живет непрописанная. Потом она горько плакала, просила у меня прощения и ходила в церковь замаливать грех. Это могучее прошлое, которое постепенно сходит на нет. Эти, если и хотят перемен, то только возвращения молодости, которая кажется им сейчас радужной, и того, кто научил их простейшим формулам: «спасибо за счастливую жизнь»... И музыка у них есть — телевизор, предмет

первейшей необходимости. Нас, конечно, осчастливили, но никто в этом не раскаивается.

В начале двадцатого века возникло, как я понимаю это сейчас, убеждение, что уже пора создать такие совершенные, вернее, идеальные формы социальной жизни, которые должны, обязаны, не посмеют не обеспечить всеобщего благоденствия и счастья. Эта идея была порождена гуманизмом и демократическими тенденциями девятнадцатого века, но именно они-то оказались препятствием к осуществлению царства социальной справедливости: ведь девятнадцатый век был разоблачен, как век высоких слов и компромиссных действий, лавирования и общей неустойчивости. По контрасту двадцатый искал спасения и свершения своих идей в прямолинейности, железном социальном порядке и дисциплине, основанной на повиновении авторитету. Все строилось наперекор прошлому. Жажда органического строя и одной идеи, которая лежала бы в основе миропонимания и всей деятельности, терзала людей в конце прошлого и в начале этого века. Любимое детище гуманизма — свободная мысль — расшатывала авторитеты и была принесена в жертву новым идеалам. Рационалистическая программа социальных преобразований требовала слепой веры и подчинения авторитету. Так был восстановлен авторитет и возникла идея диктатуры. Энтузиазм — не пустое слово. Он реально существовал. Диктатор силен только тогда, когда располагает кадрами слепо верующих исполнителей. Купить их нельзя — это было бы слишком просто, а вот, когда они уже есть, можно добавить и прикупить — особенно, если некуда податься. Но всякая идея имеет начало, кульминацию и спад. Когда наступает спад, остается инерция: юноши, которые боятся перемен, опустошенные люди, жаждущие покоя, кучка стариков, напуганных делом рук своих, и мельчайшие исполнители, которые механически повторяют внушенные им в молодости слова.

О. М. никогда не отказывался от гуманизма и его ценностей, но и ему пришлось пройти большой путь, чтобы назвать девятнадцатый век — золотым. Подобно всем своим современникам, он пересмотрел наследство девятнадцатого века и предъявил ему свой счет. Думаю, что в формировании идей О. М. огромную роль играл личный опыт, опыт художника, столь же сильно определяющий миропонимание, как и мистический опыт. Поэтому в социальной жизни он тоже искал гар-

монии и соответствия частей в их подчинении целому. Недаром он понимал культуру, как идею, дающую строй и архитектонику историческому процессу... Он говорил об архитектуре личности и об архитектуре социально-правовых и экономических форм. Девятнадцатый век отталкивал его бедностью, даже убожеством социальной архитектуры, и где-то он говорит об этом в статьях. В демократиях Запада, высмеянных еще Герценом, О. М. не находил гармонии и величия, к которым стремился. Ему хотелось отчетливого построения общества, «лестницы Иакова», как он выразился в статье о Чаадаеве и в «Шуме Времени». Эту «лестницу Иакова» он почувствовал в организации католической церкви и в марксизме, которыми увлекался одновременно еще школьником. Об этом он писал и в «Шуме Времени», и в письме к своему школьному учителю В. В. Гиппиусу из Парижа, куда уехал учиться по окончании Тенишевского училища. И в католичестве, и в марксизме он почуял организационную идею, связывающую в целое всю постройку. В Киеве в девятнадцатом году он как-то сказал мне, что лучшее социальное устройство мерещится ему чем-то вроде теократии. Именно поэтому его не отпугивала идея авторитета, обернувшаяся диктаторской властью. Смущала его в те годы, пожалуй, только организация партии. «Партия — это перевернутая церковь...» Это значило, что партия строится, как церковь с ее подчинением авторитету, только без Бога... Сравнение с иезуитским орденом тогда еще не напрашивалось.

Новые формы государственности начали впервые ощущаться после гражданской войны. Энгельс правильно заметил, что «смертоубийственная промышленность» всегда самая передовая. Об этом свидетельствует история пороха, а в наше время — расщепление атома. Точно так самыми «передовыми», то есть наиболее характерными и лучше всего выражающими идею государства, являются те учреждения, которые занимаются человекоубийственным промыслом во славу «социальной архитектуры...» Первая встреча О. М. с новым государством — это посещение Дзержинского и следователя, когда он хлопотал в 22 году об арестованном брате. Эта встреча заставила его крепко задуматься над сравнительной ценностью «социальной архитектуры» и человеческой личности. «Архитектура» тогда только намечалась, но уже обещала быть неслыханно величественной, почище египетских пирамид. И ей нельзя было от-

казать в единстве замысла. Юношеская мечта О. М. как будто начала осуществляться, но, как всякий художник, О. М. никогда не терял ощущения действительности, поэтому величие государственных форм социализма его не ослепило, а скорее испугало. К этому времени относится стихотворение «Век», где он возвращается к прошлому и спрашивает, как связать «двух столетий позвонки», и статья «Гуманизм и современность». В этой статье говорится, что мера социальной архитектуры — человек, но что бывают эпохи, которые строят не для человека: «Они говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич, как цемент, что из него надо строить, а не для него». Как пример враждебной человеку социальной архитектуры он приводит Ассирию и древний Египет: «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя; воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве...» Современность напомнила О. М. Египет и Ассирию, но он еще надеялся, что будущие монументальные формы надвигающейся государственности будут смягчены гуманизмом.

Сохранились две фотографии О. М. На одной — еще молодой человек в свитере, у него озабоченный вид и серьезное лицо. Этот снимок сделан в 22 году, когда он впервые открыл ассирийскую природу нашей государственности. На втором снимке — старик с бородой. Между этими двумя фотографиями прошло только десять лет, но в 32 году О. М. уже знал, чем обернулись его юношеские мечты о красивой «социальной архитектуре», авторитете и преодолении наследства девятнадцатого века. К этому времени он уже успел сказать про ассирийского царя: «он взял мой воздух себе. Ассириец держит мое сердце» и написать стихи: «Мы живем, под собою не чуя страны». Одним из первых он вернулся к девятнадцатому веку, назвав его «золотым», хотя знал, что наши идеи разрослись из одного из семян, брошенных в девятнадцатом веке.

Под самый конец жизни О. М. успел еще раз вспомнить о пресловутой «социальной архитектуре» и посмеяться над самим собой: «украшался отборной собачиной египтян государственный строй, мертвецов наделял всякой всячиной и торчит

пустячком пирамид. Ладил с готикой, жил озоруючи и плевал на паучьи права мудрый школьник и ангел ворующий, несравненный Виллон Франсуа...»

А, может, мы в самом деле ассирийцы и потому относимся с таким равнодушием к массовому избиению рабов и пленных, заложников и ослушников? Услыхав об очередном избиении, мы говорим друг другу: «Ведь это массовое явление... Что тут поделаешь!..» Мы уважаем массовые кампании, мероприятия, начертания, решения и распоряжения. Ассирийские цари тоже бывали добрые и злые, но кто остановит руку царя, когда он подает знак к истреблению пленных или разрешает архитектору строить себе дворец?

А не были ли эти избиваемые пленные той самой массой, которою мы сейчас пугаем друг друга? Всюду, где есть железный порядок, там появляется «масса», но на производстве люди живут своей жизнью и остаются людьми. Я всегда замечала, что больница, завод, театр — эти замкнутые учреждения — живут своей особой, вполне человеческой жизнью, которая их вовсе не механизирует, не делает «массой»...

НЕ ТРЕБА

«Мы, оказывается, живем в надстройке», — сообщил мне О. М. в 22 году вскоре после возвращения из Грузии. Еще недавно О. М. писал об отделении культуры от государства, но гражданская война кончилась, и молодые строители нового государства начали, пока теоретически, распределять места всем явлениям жизни. Тут-то культура и попала в надстройку над базисом, и последствия не замедлили сказаться. Клычков, дикий человек кротчайшего нрава, цыган с ярко-синими глазами, растерянно говорил О. М. про Воронского: «Уперся и не сдвинешь. Говорит — нам этого не надо». Воронский, как и все другие, отказывался печатать О. М. — ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи О. М. для этого не годились.

Формула: «нам этого не надо» еще смешнее прозвучала по-украински. В 1923 году О. М. пришел в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой украинской рубахе отказал. Почему? «Не треба», — равнодушно ответил он. Это изречение стало у нас поговоркой, а вышитые рубахи вошли в моду, сменив косоворотку, с середины двадцатых годов и стали чем-то вроде формы у ответственных работников ЦК и комиссариатов.

Полный порядок в надстройке был наведен в тридцатом году, когда в «Большевике» появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, что бы отклонялось от государственной точки зрения. Этим в сущности цензура лишилась всякого значения. Цензура, которую столько проклинали, является на самом деле признаком относительной свободы печати — она запрещает печатать антигосударственные вещи. Даже будучи дурой, как ей полагается, она все-таки не может уничтожить литературу. Сталинский редакторский аппарат действовал гораздо более целесообразно: он выбрасывал все, что не отвечало прямому государственному заказу. В редакции ЗКП, где я работала в момент появления сталинской статьи, начался лихорадочный пересмотр рукописей — мы крошили и резали груды материалов. Это называлось «перестраиваться в свете указаний товарища Сталина». Я притащила номер «Большевика» со сталинским письмом и показала его О. М. Он прочел и сказал: «Опять «не треба», но на этот раз окончательное». Он был прав. Это письмо ознаменовало переломный момент в строительстве надстройки. Его и сейчас не забыли хранители сталинских традиций, которые защищают советскую печать от мандельштамов, заболоцких, ахматовых, пастернаков и цветаевых. Довод «не треба» не перестает жужжать в наших ушах и по сей день.

А Сергей Клычков долгие годы был нашим соседом и по дому Герцена, и на Фурмановом переулке, и мы всегда дружили с ним. Ему посвящена третья часть «Стихов о русской поэзии»: «Полюбил я лес прекрасный...» Случилось это так: он прочел «там без выгоды уроды режутся в девятый вал» и сказал: «Это про нас с вами, Осип Эмильевич...» В карты ни тот, ни другой не играл — у них был другой «девятый вал» и ставка крупнее всякой карточной.

Клычкова очень рано отстранили от редакционной работы,

потому что по своей мужицкой природе он не мог стать чиновником и хлопотать о чистоте надстройки. Жил он переводом какого-то бесконечного эпоса, а по вечерам надевал очки с отломанной лапкой — он привязывал вместо нее веревочку — и читал энциклопедию, как ученый сапожник — Библию. Мне он сказал самое лестное, что может услышать о себе женщина: «Вы, Наденька, очень умная женщина и очень глупая девчонка...» Это было сказано по поводу того, что я прочла Луппполу эпиграмму О. М. на него.

О. М. ценил «волчий», отщепенский цикл Клычкова и часто, окая по-клычковски, читал оттуда кусочки. Эти стихи отобрали при обыске и они пропали, потому что Клычков не догадался их во время спрятать. Они исчезли, как все, что попадало на Лубянку. Исчез и сам Сергей Антонович. Жене сказали, что он получил десять лет без права переписки. Мы не сразу узнали, что это означает расстрел. Говорят, что он смело и независимо держался со следователем. По-моему, такие глаза, как у него, должны приводить следователей в неистовство. Следователи тогда твердо знали, что если они нашли человека виновным, значит, он виновен, поэтому в суде большой надобности нет. Им случалось пристреливать людей при допросе, и про Клычкова говорят, что он погиб именно так.

После смерти Клычкова люди в Москве стали как-то мельче и менее выразительны. Клычков дружил с Павлом Васильевым и называл его своим злым гением, потому что Павел таскал его к бабам и спаивал. Однажды в «Красной Нови» редакционные девки нечаянно напечатали стихи Клычкова под фамилией Мандельштама. Им пришлось пойти вдвоем в редакцию, чтобы отругать девок и перевести гонорар на имя Клычкова. Оба они были умные мужики и очень глупые мальчишки — им и в голову не пришло, что когда-нибудь встанет вопрос об авторстве этих стихов. Девкам не хотелось давать исправления — по ошибке, мол, напечатали «Мандельштам» вместо Клычкова... Они, то есть девки, испугались, что им достанется от начальства за небрежность, а то чего доброго, их выгонят со службы. Вот О. М. и Клычков и не стали настаивать на исправлении, а теперь эти стихи заканчивают американское издание О. М. Хотелось бы предупредить редакторов следующего издания об этой ошибке, да до них не дотянешься...

В те дни, когда решалась участь Клычкова и Васильева, мы

с О. М., ожидая поезда на станции Савелово, случайно достали газету и прочли, что смертная казнь отменяется, но сроки заключения увеличиваются до двадцати лет. О. М. сначала обрадовался — казни всегда вызывали у него ужас — а потом сообразил, в чем дело: «Как они, вероятно, там убивают, если им понадобилось отменять смертную казнь!» — сказал он. В 37 году нам стало ясно, что людей отбирают для уничтожения по принципу «треба» или «не треба...»

ЗЕМЛЯ И ЗЕМНОЕ

Женщина, вернувшаяся после многолетних скитаний по лагерям, рассказывала, что она со своими товарками по беде искала утешения в стихах, которые, на свое счастье, помнила наизусть, и особенно в юношеских строчках О. М.: «но люблю эту бедную землю, оттого, что другой не видал...»

Наша жизнь не располагала к отрыву от земли и к поискам трансцендентных истин. «Всегда успеешь, — говорил мне О. М. на мои разговоры о самоубийстве, — всюду один конец, а у нас еще помогут...» Смерть была настолько реальнее и проще жизни, что каждый невольно стремился хоть на миг продлить свое существование — а вдруг завтрашний день принесет облегчение! На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше думают о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни. Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бытия отступают на задний план. Стоило ли нам бояться сил природы и вечных законов естества, если страх принимал у нас вполне осязаемую социальную форму? Как это ни странно, но в этом — не только ужас, но и богатство нашей жизни. Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье. Может, в том, как мы цеплялись за жизнь, было нечто более глубокое, чем в том, к чему обычно стре-

мятся люди... Я не знаю, как это назвать — жизненной силой, что ли... Но я всегда вспоминаю свой разговор с Сонькой Вишневской, вдовой Вишневского. Мы как бы подытожили с ней все, что с нами произошло: «Вот мы и прожили жизнь, — сказала Соня, — я — счастливую, ты — несчастную...» Бедная, глупая Сонька! Не глупая, впрочем, а просто идиотка... У ее мужа был призрак власти в руках — к нему ходили на поклон писатели, потому что он распоряжался какими-то деньгами и сообщал своим «приверженцам» новые приказы правительства. Его пускали в ЦК и несколько раз ему случалось быть на приеме у Сталина. Он пил не меньше Фадеева, жадно втягивал ноздрями государственный воздух и позволял себе фронду-минимум: требовал, чтобы напечатали Джойса, и посылал деньги сначала какому-то ссыльному морскому офицеру в Ташкент, а потом — через моего брата — в Воронеж. У него была машина, квартира и дача, которую подло отобрали у Соньки после его смерти. Соня до смерти осталась верна тому, кто дал ей эту роскошь, и гневалась на Хрущева за то, что наследникам стали платить половину гонорара, который весь, по ее мнению, принадлежал ей. Про Соню рассказывали груду анекдотов, но она все же была славная баба и никто не сердился, когда она во весь голос кричала, что вредители убили ее мужа в Кремлевской больнице. А на самом деле ей очень повезло, что он вовремя умер, не успев передать свое наследство какой-нибудь Сониной конкурентке. Соне многие завидовали и пытались выбить кусок из ее рук. Это действительно называлось удачей и счастьем, в этом она была права.

Мне тоже хотелось, если не «счастья», то хоть благополучия: «о сколько раз ей милее уключин скрип, лоном широкая палуба, гурт овец», мирная жизнь с ее простым отчаянием, мыслями о неизбежности смерти и тщете всего земного... Нам это было не дано, и, может, именно это имел ввиду О. М., когда сказал следователю, что потерял с революцией страх...

Акмеизм для О. М. был не только «тоской по мировой культуре», но и утверждением земного и общественного начала. Как у всякого человека целостного мировоззрения, в каждом его суждении видна связь с общим пониманием вещей. Разумеется, это не продуманная и разработанная система взглядов, а скорее то, что он назвал в одной из своих статей «мироощущением художника». «Я понял, — сказал мне Т., прекрасный

художник, — сидит себе человек и режет ножиком кусок дерева, а вышел Бог»... И он же про Пастернака: «Зачем ему нужно было менять религию? Зачем ему посредники? Ведь у него было свое искусство». Подобно тому, как мистический опыт определяет религиозное мировоззрение, так и рабочий опыт художника открывает ему мир вещей и духа. Не этим ли опытом художника объясняется то, что взгляды О. М. на поэзию, на роль поэта в обществе и на «слияние умственного и нравственного начала» в целостной культуре и у отдельного человека не потерпели за всю жизнь существенных изменений, и ему не пришлось отказываться от своих ранних, печатавшихся еще в «Аполлоне» статей? В основном он пронес через жизнь единство взглядов и мироощущения. В стихах, несмотря на отчетливое деление на периоды, сохраняется то же единство, и они нередко перекликаются с прозой даже более ранних периодов. Поэтому-то проза и может служить комментарием к стихам.

Верность земле и земному сохранилась у О. М. до последних дней, и воздаяния он ждал «только здесь на земле, а не на небе», хотя и боялся не дожить до этого. «Хорошо, если мы доживем», — сказал он мне. В одном из последних стихотворений, уже готовясь к смерти, он вспомнил, что «под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище — раздвижной и пожизненный дом».

Читая «Самопознание» Бердяева, одного из лучших наших современников, я не могла не обратить внимания, насколько разно относились эти два человека к жизни и к земному. Быть может, это происходило потому, что один — художник, а другой жил отвлеченной мыслью, кроме того Бердяев внутренне связан с символистами, и хотя у него уже намечаются разногласия с ними и некоторое в них разочарование, он все же не порвал с их «родовым лоном», а для О. М. бунт против символизма определял всю сущность его жизни и искусства.

Для Бердяева «жизнь — это обыденность, состоящая из забот», он «был устремлен к полноте жизни и красоте, но в жизни преобладала проза и уродство» (50 и 141 стр.). Понятие красоты Бердяева прямо противоположно тому, которое я видела у всех художников и поэтов, оторвавшихся от символизма. Ни для живописца, ни для поэта нет прозаической обыденности; именно в ней он видит красоту — впрочем, это слово почти не употреб-

лялось в моем поколении. Символисты — Вячеслав Иванов, Брюсов — в значительной степени присвоили себе жреческое отношение к жизни, и потому обыденность не совпадала у них с красотой. Возвращение на землю следующих поколений значительно расширило их мир, и он уже больше не делился на уродливую прозу и возвышенную поэзию. Я вспоминаю Ахматову, которая знает, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда», и Пастернака с его горячей защитой обыденного в романе. Мандельштаму вся эта дилемма была бесконечно чужда. Он не искал выхода из земного, обычного, пространственного и временного в сферу чистого духа, как Бердяев и символисты, и постарался в своей первой попытке дать нечто вроде поэтики, обосновать привязанность к земле с ее тремя измерениями. Он говорит, что земля для него «не обуза, отнюдь не несчастная случайность, а Богом данный дворец». Далее следует полемический выпад против тех, кто, подобно Бердяеву, рвался отсюда в лучший мир и считал жизнь на земле признаком богооставленности. В том же «манифесте» — «Утро акмеизма» — О. М. пишет: «что вы скажете о несчастном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает, как бы его перехитрить»... «Перехитрить» значит здесь — уйти из времени и трехмерного пространства. Мандельштаму или, как он себя называет, зодчему, трехмерное пространство жизненно нужно, потому что он чувствует свой долг перед хозяином [illegible] чтобы строить, а строят только в трехмерности. Отсюда его отношение к миру вещей. Этот мир не враждебен художнику или, как он говорит, строителю, потому что вещи даны для того, чтобы из них строить. Строительным материалом [illegible]. Он «дух бы возжаждал иного бытия» и просится в «крестовый свод» — участвовать в радостном взаимодействии со [illegible]ных. О. М. слова «творчество» не употреблял, такой [illegible] у него не было. Он с юности ощущал себя «строителем» — «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». Отсюда не отталкивание от материи, а ощущение ее тяжести, ее предназначенности участвовать в строительстве. Бердяев неоднократно говорит о высшем назначении человека на этой земле — о его творчестве, но не раскрывает, в чем творчество заключается. Это, вероятно, потому, что у него нет опыта художника: ощущения тяжести вещей и слова. Его опыт мистический, который уводит его к концу вещного мира. Близкий к мистическому опыт художника раскрывает ему Творца через его творение, Бога — через человека. Мне кажется, этот путь оправдан учением В. Соловьева и Бердяева о Богочеловечестве. И не потому ли всякому подлинному художнику свойственно то чувство правоты, о котором говорил О. М.?

У Бердяева, как он с этим ни борется, есть презрение к «массовому человеку». Это тоже сближает его с символистами. Уж не идет ли это от Ницше, который на символистов имел такое огромное влияние? Бердяев жалуется, что «мы живем в век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей» (65). Бердяев «любил стушевываться». Ему было «противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве». Читая это, я вспомнила пушкинские слова — «и средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», которые были совершенно неправильно поняты всей вересаевской сволочью. Ведь в них выражено простейшее чувство единения с людьми — такой же, как все, ничуть не лучше, плоть от плоти, кость от кости, разве что не такой ладный, как другие... Мне кажется, что это чувство единения с людьми, своей одинаковости с ними и, пожалуй, даже некоторой зависти к тому, что все они очень уж складные, — неотъемлемый признак поэта. В юношеской статье «О собеседнике» О. М. говорит о разнице между литературой и поэзией: «литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи... Содержание литератора переливается в современника на основании физического закона о неравных уровнях. Следовательно, литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение — нерв литературы. Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть лучше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно...» И О. М. искренно чувствовал себя равным людям, таким же, как все люди, а может и хуже других людей: «я с мужиками бородатыми и т. д., прохожий человек...» Позиция символистов была учительской — и в этом их культурная миссия. Отсюда их стояние над толпой, их тяга к сильным личностям. Даже Блок не избежал сознания своей исключительности, которое перемежалось, правда, у него с естественным для поэта ощущением связи с улицей, толпой, людьми. Для Бердяева, как для философа, а не художника, естественно со-

знание своего превосходства, но тяга к аристократизму и сильной личности — дань времени.

О. М. не любил и не позволял себе никаких выпадов против «мещанства». Мещан-бюргеров он скорее уважал и не случайно назвал Герцена, клеймившего их, барином. Но особенно его удивляли наши нападения на мещан и мещанство... «Чего они хотят от мещан, — сказал он как-то. — Ведь это самый устойчивый слой — на нем все держится». В сущности, у него было прямое отталкивание только от одной категории людей — это от литературных дам, державших салоны, и от их итеэровских сестер. Этих он не переносил за их претенциозность, и они ему отвечали тем же... В «Путешествии в Армению» есть место, которое могло бы показаться выпадом против мещанства. Речь идет о соседях по Замоскворечью... Но это не мещанство с его устойчивым бытом и привычками, а косная мрачная толпа безрадостных людей, которая добровольно и охотно пошла в новое рабство. Здесь он солидарен с Бердяевым, который заметил, что «после первой мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие» (64). Но Бердяев считает, что это результат «демократического века», и в этом он не прав. Вся наша история последних десятилетий была предельно анти-демократична, и эти процессы особенно четко выразились именно у нас.

Ведь весь «вождизм», которым болела первая половина двадцатого века — это отказ от демократизма. Издали он не заметил, как затоптали простого человека, и не видел развития того, что мы называли «гепеушным презрением к людям». Ведь вождь был не один, а всякий, у кого в руках была хоть какая-нибудь власть: любой следователь и любой управдом... Мы не понимали, что такое искушение властью. Кто захочет быть Наполеоном, скажем? Но в том-то и дело, что какой-нибудь директор института стремится вовсе не наверх, а дико цепляется за свое директорство и из него извлекает все наслаждение властью. Крошечные диктаторы развелись повсюду. Ими кишела и еще кишит наша земля, но они все же исчезают, потому что люди уже насладились этой игрой, ее время прошло.

Бердяев, подобно символистам, не признает «групповой морали» и «родового начала», потому что оно противоположно свободе (103). Здесь его свобода приближается к тому своеволию, которое расшатывало дореволюционную интеллигенцию.

Ведь культура — это не только верхний слой общества, но и то, что передается из поколения в поколение, та самая преемственность, без которой рушится жизнь. «Родовое» часто невыносимо и приобретает застывшую форму, но видно в целом оно не так уж страшно, раз род человеческий все-таки устоял и существует. А угроза этому человеческому роду намечается не от родовой морали, а от чрезмерной изобретательности его подвижных слоев. О. М. называет поэта «колебателем смысла», но это не бунт против устоев и преемственности, а скорее отказ от застывшего образа, от омертвевшей фразы, которая, застыв, искажает смысл. Это тот же призыв к жизни, к живому наблюдению, к регистрации событий — против омертвения. Не в этом ли смысле он говорит о «культуре-приличии»? В искусстве это, очевидно, повторение того, что уже было и кончилось, но что с радостью принимается людьми, потому что они предпочитают быть подальше от «колебателей смысла».

Главная проблема Бердяева — свобода, за которую он боролся всю жизнь, но этот вопрос для О. М. не существовал. Вероятно, как всякий художник, он не представлял себе, что есть люди, лишенные внутренней свободы; вероятно, он считал свободу неотделимой от человека, как такового. А в социальной области Бердяев стремился к примату личности над обществом (135); для О. М., вероятно, вопрос стоял о л и ч н о с т и в о б щ е с т в е, подобно тому, как он боролся за положение в обществе поэзии и поэта. Это значит, что общество он признавал данностью и высшей организационной формой.

Смешно сказать, но и в таких мелочах, как отношение к женщине или, вернее, отношение с женщинами, Бердяев и О. М. соотносятся, как символист и акмеист. У символистов были «Прекрасные дамы» в поэзии, жрицы и то, что мы с Анной Андреевной называли «мироносицами». Они еще во множестве водились в моей юности и были невероятно претенциозны, потому что сознавали величие своего «служения». Чепуху они несли неслыханную, вроде примечаний Е. Р. к «Автобиографии», где у змеи почему-то появляются когти, у женщин змеиные лица, а у мужчин чудятся плащи и мечи... Все эти женщины необыкновенные и отношения с ними тоже необыкновенны. У нас дело было попроще.

Бердяеву чужды радости. Хотя Мандельштам не искал

счастья, все ценное в своей жизни он называл весельем, игрой: «Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря чудесной милости христианства — есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу». И еще: «слово чистое веселье, исцеленье от тоски».

Я хотела бы сказать, как понимал О. М. слово, но мне это не по силам. Думаю только, что он знал, что такое «внутренняя форма слова», и разницу между словом-знаком и символом. Он холодно отнесся к знаменитым стихам Гумилева о слове, но не объяснил почему. И число понимал, вероятно, иначе, чем Гумилев. Между прочим, О. М. всегда учитывал число строк и строф в стихотворении и число глав в прозе. «Разве это важно?» — удивлялась я. Он сердился — для него мое непонимание было нигилизмом и невежеством: ведь не случайно же у людей есть священные числа — три, например, или семь... Число тоже было культурой, и получено, как преемственный дар, от людей.

В Воронеже у О. М. начали появляться стихи в девять, семь, десять и одиннадцать строк. Семи- и девяти-строчья часто входили целым элементом в более длинное стихотворение. У него появилось чувство, что к нему приходит какая-то новая форма: «Ты ведь понимаешь, что значат четырнадцать строк... Что-то должны означать и эти семь и девять... Они все время выскакивают»... Но в этом не было мистики числа, а скорее испытанный способ проверки гармонии.

Все, что я говорила о противопоставленности Бердяева и О. М. относится только к тем особенностям Бердяева, которые он разделял с символистами. Но он совсем не сливается с ними — только наряду с философской мыслью встречаются чисто вкусовые высказывания, напоминающие родимые пятна эпохи. Очевидно, все подвластны своему времени, и хоть Бердяев, как и О. М., говорил, что никогда не был ничьим современником, все же он жил во времени и с ним. Но именно он сказал самое главное о символистах: для них не существовало ни этических, ни социальных проблем. От этого они отказались, и О. М. именно поэтому бунтовал против «всеядности» Брюсова, против зыбкости и случайности ценностей. Бердяев во всем, кроме вкусовых элементов, преодолел символистов, но все же остался под обаянием этих великих душеловцев.

Обидно, что О. М. не достал книг Бердяева, хотя искал их. Он не прочел своего современника, и я не знаю, как бы он принял его учение. К несчастью, в нашей изоляции мы были отрезаны от всякой мысли. Это одно из величайших несчастий, которое может выпасть на долю человека.

АРХИВ И ГОЛОС

«Мироощущение для художника — орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реальное — это само произведение» («Утро акмеизма»).

Кое-что из стихов и прозы О. М. пропало, но большая часть сохранилась. Это — история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовало слизнуть и меня, и бедные клочки, которые я берегла.

В молодости люди не берегут своих бумаг. Разве может мальчишка представить себе, что те листки, которые он замарал, когда-нибудь понадобятся? А, может, и хорошо, что пропадают молодые стихи — это своеобразный отбор, и его необходимо делать всякому художнику. В Киев О. М. приехал с ручной корзинкой. В ней его мать держала нитки и шитье, и он таскал ее с собой, как единственную вещь, уцелевшую от матери. На корзинке висел большой замок. О. М. сказал мне, что в ней письма матери и кое-какие бумаги. Он сам не знал, что он туда сунул. Из Киева О. М. попал со своим братом в Крым. Шура играл в карты с солдатами, проигрывая одну за другой рубашки брата. Солдаты в отсутствие О. М. добрались до корзинки, стащили замок, а потом раскурили бумаги. О. М. дорожил письмами матери и сердился на брата. О своих бумагах он не думал — все было в памяти.

В первые годы нашей совместной жизни у О. М. не было ни клочка исписанной бумаги. «Вторую книгу» он собирал по памяти: вспоминал стихотворение, диктовал или записывал, смотрел, некоторые сохранял, другие выбрасывал. До этого он отдал кучку черновиков в «Петрополис», их увезли заграницу и напечатали «Тристии». Нам не приходило еще в голову, что человек может умереть, а с ним вместе его память. Кроме

того, отдавая стихи в редакции, О. М. верил, что им обеспечено вечное хранение. Он не представлял себе всей халтурности и распущенности наших редакций.

Мать подарила мне очень милые чемоданы и сундучок с наклейками европейских отелей. Чемоданы ушли к сапожникам, которые шили нам сапоги из жесткой чемоданной кожи. По тем временам это было роскошью, и мы одно время щеголяли в светло-желтых чемоданных обувках. А сундук, небольшой и изящный, ни для чего не пригодился: откуда взять вещи, чтобы положить в него? И я начала кидать в него разные бумажки, даже не зная, что это называется писательским архивом.

Заболел отец О. М., и нам пришлось ехать в Ленинград. Из больницы старик не мог вернуться в свою чудовищно запущенную комнату. Мы перевезли его к младшему брату О. М. — Евгению Эмильевичу. Собирая вещи, я наткнулась на такой же сундук, как мой, только чуть побольше, и тоже с наклейками и ярлыками. Оказалось, что О. М. купил его где-то в Мюнхене, когда ему захотелось выглядеть элегантным туристом. Эти сундучки были в моде до первой войны. В этот сундук дед свалил свои гроссбухи вперемежку с обесцененными царскими деньгами и керенками. На дне я обнаружила кучку рукописей: клочки ранних стихов и листочки скрябинского доклада... Мы увезли рукописи вместе с сундучком в Москву. Так начался архив. В сундук летели ненужные бумажки: черновики стихов, письма, статьи. О. М. не возражал, и груда росла. В сундук не попадала черная повседневная работа: переводы стихов и прозы, журнальные статьи, рецензии для издательств на получаемые книги и рукописи — преимущественно иностранные. Рецензии все погибли в Ленгизе — О. М. верил, что они там сохранятся. Две или три случайно сохранились в сундуке, по недосмотру, так сказать. Журнальные и газетные статьи понадобились, когда О. М. собирал книгу статей. Тогда я и брат мой Женя переписали их в библиотеке, вероятно с цензурными искажениями. Почему-то не удостоился архива и «Шум времени». Должно быть, сундук появился позже.

Перелом в отношении к бумагам произошел после «Четвертой прозы», вернее, это был первый сигнал, напомнивший о необходимости что-то делать с бумагами. Второй сигнал — арест 34 года.

Мы уезжали в Армению, и мне не захотелось везти с собой

единственный экземпляр «Четвертой». Время хоть и было нежнейшим, но за эту прозу О. М. бы по головке не погладили. Пришлось искать верного человека, чтобы ее оставить. Это была наша первая проба хранения не дома. Впрочем, не совсем первая. В Крыму в девятнадцатом году О. М. написал два стихотворения, которые не захотел хранить, и они погибли у его друга Лени Л. Этого человека я один раз видела в Москве, и он сказал, что стихи целы. Случилось это году в двадцать втором. А потом и стихи и Леня пропали. Я помню только строчку или две из этих стихов. Но, видно, они никогда не выплывут. Вот это и научило меня присматривать за всеми местами, где лежат рукописи, и хранить их в множестве копий. «Четвертую прозу» мы никогда не держали дома, а в нескольких местах — и я переписывала ее от руки столько раз, что запомнила наизусть.

Мы вернулись из Армении, стихи пошли густо, и О. М. сразу ощутил свое изгойское положение. Мне запомнился разговор в Ленинграде. На Невском, в конторе «Известий», представитель этой газеты, человек, как будто дружественный, прочел: «Я вернулся в мой город» и сказал О. М.: «А знаете, что бывает после таких стихов? Трое приходят... В форме...» Мы это знали, но терпеливая советская власть пока не спешила... Стихи распространялись с невероятной быстротой в довольно узком, правда, кругу. О. М. считал, что это и есть способ хранения: «Люди сохранят». Меня это не удовлетворяло, и время показало, что я была права. Уже тогда я начала делать списки и прятать их. В основном я их рассовывала у себя во всякие щели, но несколько экземпляров всегда отдавала на хранение. Во время обыска 34 года мы увидели, где ищут, а стихи уже были зашиты в подушку, упрятаны в кастрюлю и в ботики. Туда не заглянули. К несчастью, во всех этих местах были копии и притом не полные: не расшивать же подушку ради каждого нового стихотворения... Из подушки, приехав из Воронежа, я вынула стихи об Ариосто.

Воронеж — это новый этап жизни и новое отношение к хранению. Эра идиллических подушек кончилась, а я ведь еще помнила, как летел пух из еврейских подушек во время деникинских погромов в Киеве... Память О. М. с возрастом ослабела, и мы уже знали, что она погибает вместе с человеком, а цена жизни на нашей таинственной бирже падала с каждым днем. Надо было искать людей, готовых хранить рукописи, но их

становилось все меньше. У меня появилась профессия: все воронежские три года я переписывала стихи и раздавала их, но серьезного места хранения у меня не было, кроме моего брата Жени, да и то он их дома не держал. Вот тут-то и подвернулся Рудаков.

Сергей Борисович Рудаков, генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев. Вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться с временем, и у него даже была своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени изысканные стихи не без влияния Марины и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к О. М. Он появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О. М. Когда мы ехали с вокзала с О. М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии и вообще славный мальчик. После болезни О. М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это.

В Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устраиваться — он не терял надежду, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 37 году погибших. Он снял койку в одной комнате со славным рабочим парнем Трошей, а ел и пил у нас. Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку. Без меня Рудаков тщательно собирал все варианты писавшегося при нем «Чернозема». Когда я приехала, мы с О. М. начали восстанавливать пропавшие во время обыска стихи, а Рудаков все списывал себе в тетрадку. На утро он приносил стишки, написанные смешным каллиграфическим почерком с завитушками на кусочке псевдо-ватмана. Он презирал мой куриный почерк и полное отсутствие эстетики рукописи. Писать чернилами, например, Рудаков считал зазорным — только тушью... Он еще рисовал тушью силуэты, не хуже пропойц, промышлявших этим на бульварах, и с гордостью демонстрировал нам свои шедевры. А мне, показывая красиво выполненную рукопись стихотворения О. М., говорил: «Вот это будут хранить в архивах, а не ваши с О. Э. каракули...» Мы только посмеивались и мальчишку не обижали.

Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали и, может, именно из-за этого относились мягче, чем следовало, к некоторым неприятным его чертам. Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил с вторым нашим постоянным посетителем — Калецким, тоже ленинградцем и учеником всех наших знакомых — Эйхенбаума, Тынянова и других... Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произнести. Однажды он с ужасом сказал О. М.: «все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся, они не способны выдержать ни малейшего испытания — мертвый, разлагающийся советский бюрократизм... А что если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война...» Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: «Я верю в партию». Калецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ», — тихо сказал он. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его «квантом» и пояснял: «Это самая маленькая сила, способная выполнять работу»...

Вторая тяжелая черта Рудакова — вечное нытье. В России, по его мнению, среда «всегда заедала талантливых людей», и он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза... О. М. таких разговоров не терпел: «а почему вы сейчас не пишете? Если человеку есть, что сказать, он всегда скажет...» На этом всегда вспыхивали споры, Рудаков жаловался на условия — комната, деньги, настроение — сердился и уходил, хлопнув дверью... Через часок-другой он все же являлся как ни в чем не бывало...

У Рудакова оказался резко выраженный учительский темперамент. Он учил всех и всему: меня — переписывать рукописи, О. М. — писать стихи, Калецкого — думать... Всякое новое стихотворение он встречал буйной теорией из своей ненаписанной книги, в которой звучало: «почему вы меня раньше не

спросили?» Я видела, что он часто мешает О. М., и мне часто хотелось его выставить. О. М. не позволял: «А что он будет есть?» — спрашивал он, и все продолжалось дальше. И все-таки и Рудаков и Калецкий были большим утешением. Если б не они, мы бы почувствовали изоляцию гораздо раньше. Оба вернулись в Ленинград в начале 36 года, и мы остались одни. Тогда-то и пришла к нам Наташа. В Воронеже, когда мы жили у агента, жарившего мышей, Рудаков заболел скарлатиной и в больнице познакомился с «барышнями», которых отчаянно от нас скрывал. С Наташи, одной из этих «барышень», он даже, уезжая, взял слово, что она к нам не придет, но она слова не сдержала и хорошо сделала... Словом, мальчишка был чудак, но в наше время знакомства с чудаками кончаются плохо. Это ему я отдала на хранение все самое ценное из автографов, а Ахматова свезла на саночках архив Гумилева.

Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился кто-то из его родственников, сказал, что он по убеждениям толстовец и не может воевать. Рудаков своей властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб. Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 53 году, встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эмме Герштейн, что ее под занавес арестовали и все забрали. Потом версия изменилась — ее забрали, а «мама все сожгла»... Как все произошло на самом деле установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц.

Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделать нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку — Рудакову-Финкельштейн — к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова: нельзя ли ее, мол, напечатать, но добиться от нее толку было невозможно. Больше всего повезло Харджиеву — он проник к ней, она дала ему письма Рудакова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий обольститель, Цирцея, красивый и очаровательный, когда захочет, человек. Но в письмах Рудакова, которые он писал ежедневно, как дневник, и тщательно нумеровал для потомства, ничего существенного для нас не оказалось. Несчастный мальчишка был, очевидно, тяжелым психопатом. Письма полны безумных речей вроде: в

комнате О. М. сошлась вся поэзия — не помню мировая или русская — он, О. М. и книжка Вагинова — тоже великого поэта... Он учит О. М. писать стихи, объясняет ему все, и в ужасе, что все похвалы достанутся не ему, а Мандельштаму... Сам Мандельштам ведет себя по-державински: он то кричит, что он царь, то жалуется, что он червь... В одном из писем Рудаков объявляет себя наследником Мандельштама: будто О. М. ему сказал: «Вы мой наследник и делайте с моими стихами все, что сочтете нужным...» Я цитирую эти письма по памяти, копии находятся у Харджиева. Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы — не случайность — так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы принимали за чистую коммерцию — выгодно продавать автографы — оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои. Но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходило в списках. Такая попытка начисто сорвалась у Севы Багрицкого и кончилась скандалом, когда мать опубликовала «Щегла», как стихотворение Севы. Хуже было бы, если б я послушалась в свое время Рудакова — он действовал на меня через Эмму Герштейн, с которой подружился — и отдала ему все без исключения бумаги О. М. Он мотивировал это тем, что все бумаги должны быть в одном месте, но мы с Харджиевым рассудили, что лучше не концентрировать их — одно место провалится, сохранятся списки в другом... У Рудакова погибло несколько стихотворений, почти все воронежские черновики и множество автографов «Тристий». О. М., видно, предчувствовал, какая судьба ждет его архив, когда писал в «Разговоре о Данте»: «Итак, сохранность черновиков — закон энергетики произведения. Для того, чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в иную сторону...»

В истории с Рудаковым я виню не глупого мальчишку, каковы бы ни были его цели. Виноваты те, кто создал нам такую «счастливую жизнь». Если б мы жили как люди, а не как загнанные звери, Рудаков был бы одним из многих бывающих у нас в доме, и вряд ли ему пришло бы в голову похищать архив Мандельштама и объявлять себя его наследником, а вдове — торговать гумилевскими письмами к Ахматовой.

Рудаков — один из важнейших моментов хранения архива, но, кроме него, было еще много и удач и бед. Мелькнули эпизоды, годные для сценария: Наташа, уносившая письма О. М. ко мне в жестяной коробочке из-под чаю, когда наступали немцы и уже горел Воронеж. Нина, уничтожившая список стихов О. М. в дни, когда она ждала вторичного ареста своей свекрови, и ее друг Эдик, хваставшийся, что сохранил те листочки, которые я ему дала, хотя хвастаться было нечем, потому что он жил у своего тестя — ташкентского самоубийцы... А я раздавала списки и гадала, который из них сохранится. Мой единственный помощник в этом деле был мой брат, и мы всё ходили и перекладывали с места на место основной фонд... Я таскала за собой в чемодане кучку черновиков прозы, перекладывая ее грудами языковедческих записок к диссертации, чтобы неграмотные стукачи, если они залезут без меня, не поняли, что к чему, и стащили не то, что требуется. Изредка у меня пропадали бумаги, и это продолжается и сейчас, но, вероятно, по какой-то другой причине. Запомнить всех бумаг я не могу, но мне бросилось в глаза, что у меня недавно исчезла целая папка с наклейкой «материалы к биографии». Они сохранились в копии, но куда девались подлинники, понять нельзя. В книге, купленной мной за двести рублей было четыре автографа, а осталось два: это издание «Камня» с вписанными Каблуковым вариантами и вложенными автографами. Еще исчезло письмо ко мне Пастернака, где он писал, что в современной литературе — дело было сразу после войны — он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы. Мне сдается, что это письмо и автографы просто стащены любителями и не пропадут. Во всяком случае, после этих пропаж я перестала держать дома — а дома-то у меня нет! — что бы то ни было, и опять меня мучит мысль: где уцелеет, а где пропадет...

Так или иначе, я дошла бы до финиша с небольшими потерями, но финиша все еще не видно. Только от одного способа хранения мне пришлось отказаться просто по возрасту: до 56 года я все помнила наизусть — и прозу, и стихи... Для того, чтобы не забывать, надо твердить каждый день какие-нибудь куски, и я это делала, пока верила в свою жизнеспособность. Теперь поздно... И в заключение я расскажу новеллу уже не про себя.

Женщина, про которую я рассказываю, жива, и поэтому я не называю ее имени. В 37 году в газетах каждый день появлялись статьи против ее мужа, видного сановника. Он ждал ареста и сидел у себя дома, не смея выйти, потому что дом был окружен шпиками. По ночам он сочинял послание в ЦК и ночью жена заучивала его кусками наизусть. Его расстреляли, а она добрых два десятка лет скиталась по лагерям и тюрьмам. Вернувшись, она записала послание мужа и отнесла его туда, куда оно было адресовано, и там оно кануло, надеюсь, не в вечность... Сколько нас таких — твердивших по ночам слова погибших мужей?

И еще о голосе... Фонотеку Сергея Игнатьевича Бернштейна уничтожили, а его выгнали из Зубовского института за формализм. Там были записи Гумилева и Мандельштама. Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших. Фотографии — их очень мало — я хранила наравне и теми же методами, что и рукописи, а записи голоса были не в моем распоряжении. Я хорошо помню чтение О. М. и его голос, но он неповторим и только звучит у меня в ушах. Если бы его услышать, стало бы ясно, что он называл «понимающим исполнением» или «дирижированьем». Фонетическим письмом и тонированием можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертона и тембр. Но какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад!

Впрочем, голос сохранился в самом строении стихов, и сейчас, когда немота и безгласие кончается, тысячи мальчишек уловили звучание стихов, услышали их тональность и невольно повторяют авторские интонации. Ничего развеять по ветру нельзя.

К счастью, этими стихами еще не завладели актеры, дикторы и школьные учителя. Один раз до меня донесся наглый голос дикторши станции «Свобода». Она читала «Я пью за военные астры». Этот милый шуточный стишок всегда был предметом спекуляции у нас для всяких Никулиных и присных, а теперь его использовала зарубежная дикторша и читала с такими подлыми «выразительными» интонациями — она их переняла у наших дикторов — что я с отвращением и тоской выключила радио.

СТАРОЕ И НОВОЕ

В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев. Он влюбленными глазами смотрел на О. М. и говорил: «Я знаю, чего вам не хватает — принудительного местожительства»... Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным из мрамора-лабрадора, поразившим воображение писателей, еще помнивших бедствия революции и гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое — новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. «Я люблю модерн», — зажмурившись говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове. Вселившись в дом, Катаев поднялся на три этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский. Этажи в доме указывали на писательский ранг. Вишневский, например, настоял, чтобы ему отдали квартиру находившегося в отъезде Эренбурга — он считал, что при его положении в Союзе писателей неудобно забираться под самую крышу. Мотивировка официальная: Вишневский страдает боязнью высоты. Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае, две пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм... Ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев двадцатых годов окончательно вышли из моды — «все должно выглядеть, как прежде...» А в конце войны обещали премии тем преподавателям, которые умудрятся завести себе хорошие платья...

Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами — они появились в продаже впервые после революции. Всё «как прежде», даже апельсины! Но наши родители не имели электрических холодильников, они держали продукты в комнатных ледничках и им по утрам привозили бруски донного льду. А Катаев привез из Америки первый писательский холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники и комфорта. Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабников тоже бывают дети. А я вспоминала старое изречение Никулина, которое уже перестало смешить меня: «Мы не Достоевские — нам лишь бы деньги»... Никулин пил испанское вино и говорил об испанских диалектах. Он только что съездил посмотреть на испанскую революцию.

Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием, а сейчас они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии. Катаев поделился с нами своим планом: «Сейчас надо писать Вальтер-Скотта...» Это был не самый легкий путь — для него требовались и трудоспособность, и талант.

Жители нового дома с мраморным, из лабрадора, подъездом понимали значение тридцать седьмого года лучше, чем мы, потому что видели обе стороны процесса. Происходило нечто похожее на Страшный суд, когда одних топчут черти, а другим поют хвалу. Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю. Да и кому туда хочется?... Поэтому они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к тридцать седьмому надо приспосабливаться. «Валя — настоящий сталинский человек», — говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным. И сам Катаев, тоже умудренный ранним опытом, уже давно повторял: «Не хочу неприятностей... Лишь бы не рассердить начальство...»

«Кто сейчас помнит Мандельштама? — сокрушенно сказал нам Катаев. — Разве только я или Женя Петров назовем его в разговоре с молодыми — вот и все...» О. М. на такие вещи не обижался, да к тому же это была истинная правда, за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговорах с посторонними. Новая Москва обстраивалась, выходила в люди, брала первые рекорды и открывала первые счета в банках, покупала мебель и писала романы... Все были потенциальными выдвиженцами, потому что каждый день кто-

нибудь выбывал из жизни и на его место выдвигался другой. Каждый был, конечно, кандидатом и на гибель, но днем об этом не думали — для подобных страхов достаточно ночи. О выбывших забывали сразу, а перед их женами, если им удавалось закрепиться на части жилплощади, сразу захлопывались все благополучные двери. Впрочем, жен оставалось все меньше — в тридцать седьмом уже начали не только рубить под корень, но и выкорчевывать.

О. М. хорошо относился к Катаеву. «В нем есть настоящий бандитский шик», — говорил он. Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток — фольклором Мыльникова переулка, ранней богемной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в «Двенадцати Стульях» — Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем.

К концу двадцатых годов — с первыми успехами — у всех прозаиков моей юности, кроме Тынянова и Зощенко, начало прорываться нечто грязно-беллетристическое, кондовое... У Катаева эта метаморфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые тридцатые годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки была самой дружественной и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить. Он сидел на третьем откидном сидении и непрерывно говорил — таких речей я еще не слышала. Он упрекал О. М. в малолистности и малотиражности: «Вот умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего! Нет, у писателя должно быть двенадцать томов — с золотыми обрезами!..» Катаевское «новое» возвращалось к старому: все написанное — это приложение к «Ниве», жена «ходит за покупками», а сам он, кормилец и деспот, топает ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства. Я долго не понимала, где кончается шутка

и начинается харя. «Они все такие, — сказал О. М., — только этот умен».

Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду: «правда по-гречески называется мрия...»

В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама: «Как он держал голову — совсем, как О. Э.»... От этого зрелища Катаев помолодел и начал писать стихи. Вот в этом разница между Катаевым и прочими писателями: у них никаких неразумных ассоциаций не бывает. Какое, например, дело Федину до верблюдов или стихов? Из тех, кто был отобран для благополучия, быть может, один Катаев не утратил любви к стихам и чувства литературы. Вот почему О. М. ездил с ним по Москве и пил испанское вино в июне 37 года. А провожая нас в переднюю, Катаев сказал: «О. Э., может, вам дадут наконец остепениться... Пора...»

В эпоху реабилитаций Катаев все порывался напечатать стихи О. М. в «Юности», но так и не посмел рассердить начальство. Но другие ведь даже не порывались.

Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось писать «Вальтер-Скотта»? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы.

А в то лето мы действительно были бы не прочь «остепениться». Строились планы на будущее: хорошо бы обменять квартиру, чтобы не жить на пятом этаже без лифта... С обменом спешить не надо — пусть Ставский раньше исполнит свое обещание и переселит Костырева... О. М. отчаянно поспорил с Евгением Яковлевичем по вопросу, который всем нам казался весьма актуальным: стоит ли брать переводы? Е. Я. говорил, что на первое время это совершенно необходимо, а если «вам противно, пусть переводит Надя...» О. М. утверждал, что не переносит этого занятия и не находит себе места, когда «переводит Наденька». Разрешил спор Луппол, главный редактор Гослита. Он сказал, что пока сидит за редакторским столом, Мандельштам не получит ни строчки переводов и вообще никакой работы. Вскоре Луппола забрали и он погиб, а за его стол сел кто-то другой, но это ничего не изменило: люди уходят, а «принципиальные установки» сохраняют силу — они проч-

нее людей. «Принципиальная установка» — это стена, и пробить ее нельзя по сегодняшний день.

Ответ Луппола нас не отрезвил — мы по-прежнему надеялись, что все образуется. Нарбута уже не было. Маргулиса уже не было. Клычкова уже не было. Многих уже не было. О. М. бормотал гумилевские строчки — «горе, горе, страх, петля и яма», но потом снова радовался жизни и утешал меня, что все образуется. «Чего ты ноешь? — говорил он. — Живи, пока можно, а там видно будет... Ведь не может же так продолжаться!» Который уж год эта фраза: «ведь не может же так продолжаться» — единственный источник нашего оптимизма. Об этом знал уже Лев Толстой и, услышав эти слова от Безухова, презрительно сказал, что «они» всегда себя так утешают.

«Один добавочный день» длился немногим больше недели.

Анна Андреевна, читая Библию, узнала, что «горе, горе, страх, петля и яма» буквальная цитата из пророка Исайи: «Ужас, и яма и петля для тебя, житель земли» (24, 17).

МИЛИЦЕЙСКАЯ ВЕНЕРА

«Разве пожарные умирают?» — спросила Татька, племянница О. М. «Разве богатые умирают?» — перефразировал О. М., сообразив в Воронеже, что деньги и благополучие все-таки способствуют долголетию. «Разве в Москве тоже прописываются?» — спрашивал О. М., когда я напоминала ему, что пора подумать о прописке. А тут приехал на денек-другой Костырев, и О. М. сообразил, что тянуть больше нельзя. Он спустился в домоуправление и тотчас прибежал обратно: «Дай свой паспорт!» — сказал он. «А мой зачем?» Оказалось, что после моего отъезда в мае в Воронеж Костырев навел порядок и приготовился к встрече: он выписал меня. До этого я числилась жительницей Москвы, а в Воронеж только ездила. Домоуправление даже не знало, что паспорт я обменяла в Воронеже. Как-то это сошло мне с рук... Сам же Костырев успел получить постоянную прописку вместо временной. Для «постоянной» ему полагалось прожить какой-то солидный срок, но он сумел опередить время. «Для Костырева, — сказал управдом, — нам велели сделать исключение...» Наша квартира была кооперативной, и мы заплатили за нее крупные деньги. По закону мы стали собственниками, и без нашего разрешения у нас никого прописывать не разрешалось. Вот с этими кооперативными квартирами начались осложнения, то есть семьи исчезнувших пробовали удержаться в них и противиться вселению новых жильцов — поэтому уже подготовлялся новый закон, отменявший все права кооперативных застройщиков. Закон еще не был издан, о нем заговорили где-то на самом верху, и появился он едва ли не в конце 38 года, но у нас даже не изданный закон имеет обратную силу. Да причем тут законы! Костыревская прописка указывала, что ему помогают захватить квартиру, и это было плохим предзнаменованием, но О. М. почему-то ничуть не огорчился. Он стал фаталистом советского толка: «Захотят — все образуется, не захотят — ничего не поделаешь!» Его фатализм распространялся и на меня — вот тогда-то и была произнесена фраза: «Ты вернешься в Москву, если вернут меня. Одну тебя не пустят...» Через четверть века после смерти О. М. мне все же разрешили поселиться в Москве, хотя его еще как будто не пускают, если не считать щелку, куда ему разрешили заглянуть и которая называется журналом «Москва».

Костырев — деталь, один из винтиков сложного механизма. Это был человек без лица, один из тех, кого нельзя узнать на улице или в автобусе, но чье лицо примелькивается во многих [illegible]. При любой исторической конъюнктуре для него бы нашлось гороховое пальто, но наше время благоприятствовало этому роду людей, и он стал и писателем, и теперь [illegible] одновременно. Поселившись в комнате О. М., он непрерывно выстукивал на машинке свои дальневосточные рассказы и на той же машинке переписывал стихи. Однажды, печатая «Разрывы круглых бухт», он сказал мне: «О. Э. любит Крым только потому, что не побывал на Дальнем Востоке». По его мнению, каждому писателю следовало побывать на Дальнем Востоке. А в это время уже потянулись эшелоны с заключенными к Второй Речке во Владивостоке — начала осваиваться Колыма, и мы это знали. У человека, к которому приставили такого крупного работника, как Костырев, были большие шансы попасть на Дальний Восток, но пока речь шла не о Колыме, а только о прописке в Москве.

Районная милиция отказала с необычайной быстротой. Нам объяснили, что еще остается центральная на Петровке. «Если откажут, — сказал О. М., — вернемся в Воронеж». Мы даже созвонились с нашей бывшей хозяйкой, чтобы она придержала для нас на всякий случай комнату. На Петровке нам вручили отказ и объяснили, почему О. М. не пускают в Москву: судимость. Не надо путать «судимость», чисто советское понятие, сейчас как будто отмененное, если приговор не превышает пяти лет, с поражением в правах по постановлению суда. Судимость — это клеймо на всю жизнь и не только на том, кого судили, но и на членах семьи. Я десятки раз заполняла анкеты с вопросом, есть ли судимость у меня или у ближайших родственников. Чтобы скрыть «судимость» родственников, выдумывали себе ложные биографии. Сказать или не сказать про погибшего отца — одна из основных тем семейных разговоров, когда дети в случайно уцелевших семьях кончали школу. Несколько лет я живу без клейма отраженной судимости, но на мне есть еще клеймо литературное.

На Петровке мы впервые узнали, какие последствия влечет за собой судимость. «Куда вы едете?» — спросил милицейский чин, вручивший О. М. отказ: он должен был отметить на «деле», куда мы отправляемся. «Обратно в Воронеж», — ответил О. М. «Поезжайте, — сказал милицейский чин, но тут же прибавил: — Только вас там не пропишут». Оказалось, что по приговору «минус двенадцать» перед О. М. закрывалось двенадцать городов, но отбыв три года, он лишался права жить в семидесяти с лишним городах — и при этом на всю жизнь.

«А если б я остался в Воронеже?» — спросил О. М. Милицейский объяснил, что «у нас еще имеются недочеты в работе», поэтому про О. М. могли забыть, но только на время, а потом все равно выселили бы из запрещенного города. Сейчас нас это уже не удивляет: мы привыкли к тому, что прописка — это высокий барьер, через который могут перескочить только призовые скакуны. Никто, кроме вызванных на работу, не может прописаться ни в одном городе, и для прописки нужен паспорт, а есть много категорий людей, лишенных этого документа. Такие вообще не могут двинуться с места. Многие среди нас и сейчас не понимают, что паспорт в нашей стране — тоже настоящая привилегия. Но в 37 году это было новшество, и О. М. серьезно сказал: «Прогресс».

«Попробуй еще раз подать без меня, — посоветовал мне О. М., когда мы вернулись домой. — Ведь у тебя никакой судимости нет...»

Это был первый и единственный случай, когда он попробовал отделить мою судьбу от своей. И я решила попытать счастья: это тоже был первый и единственный случай, когда мне захотелось спасти квартиру.

За столиками в большом зале сидели главные милиционеры города. Получив отказ, я захотела узнать причину. «Судимость», — сказал милицейский. «У меня нет судимости», — возмутилась я. «Как нет? — удивился чин и порылся в бумагах. — Вот, Осип, судимость...» «Это мужчина — Осип, — упорствовала я, — а я женщина — Надежда...» Чин признал мою правоту. «В самом деле, — сказал он, но тут же пришел в ярость: — а при чем здесь, что он мужчина? Он вам кто? Муж?»

Милицейский встал и хлопнул кулаком по столу: «А вы знаете, что такое пятьдесят восьмая статья?» Он что-то еще кричал, а я в страхе убежала, хотя прекрасно понимала, что ярость у него напускная и он, отказывая мне, просто выполняет инструкцию и не знает, что мне ответить на мои домогательства. Мы все и всегда выполняли инструкции и, если нам перечили, внезапно меняли тон. Кое-кому повезло, и инструкции, которые они выполняли, были вполне невинного свойства, вроде отказа в медицинской справке, снятия студента со стипендии или отправки кончившего вуз в неугодное ему место. Другие по приказу начальства били наотмашь кулаком, выселяли и арестовывали. Вопрос решался только профессией выполнявшего приказы. Я бы не испугалась, если б на меня накричал просто желчный милиционер, но устами этого говорило государство, и с тех пор я не могу без дрожи войти в милицию, тем более, что наши нелады продолжаются, и я всегда живу не там, где меня сочли бы полномочной гражданкой. От Мандельштама я унаследовала бездомность и полное отсутствие корней. Именно поэтому меня забыли выкорчевать.

Мандельштам ждал меня на улице. Что нам оставалось делать, как не вспомнить гумилевскую пародию на стихи о Венении, которая называлась «Милицейская Венера»: «человек родится, он же умирает, а милиция всегда нужна». И мы пошли домой — в дом, который уже не был нашим домом.

СЛУЧАЙНОСТЬ

Судьбы наши не захотели разделиться, но именно то, что тогда они не разделились, отделило мою гражданскую судьбу от мандельштамовской: бродячая и бездомная, в чужом кругу, среди чужих людей, я меньше о нем напоминала, чем живи я в писательском доме или вообще в Москве. За мной, конечно, всюду следовало мое досье, личное дело, заведенное на меня органами, но я числилась «за Москвой», и провинциальные доносы меня не сгубили. Благодаря Костыреву, который выгнал меня из дому, и накричавшему на меня милиционеру я уцелела. Если б я осталась в Фурмановом переулке, писатели, соблазненные жилплощадью или из чисто государственных побуждений, непременно напомнили бы обо мне властям предержащим.

Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели. Я много наблюдала таких случайностей, когда часами стояла в очередях с передачей денег или за справкой в прокуратуре. Однажды я видела женщину, у которой случайно забрали сына вместо его однофамильца и соседа, которого в момент ареста не было дома. Женщине удалось пробиться куда-то и доказать, что в ордере, по которому забрали ее сына, стояло имя и отчество его соседа. Ей пришлось для этого свернуть горы, и она это сделала. Уже пришел приказ об освобождении, но тут выяснилось, что сына нет в живых. Он погиб по дикой случайности, а сосед случайно выжил и скрылся.

Женщина — дело было в прокуратуре — рыдала и выла, узнав о смерти случайно забранного сына. Прокурор вышел из своей клетки и накричал на нее с такой же напускной яростью, как милиционер — на меня. Кричал он из воспитательных целей: разве можно выполнять ответственную прокурорскую работу, не обеспечив себе тишины? Обязанности прокурора заключались в том, что он давал справки — одному говорил:

десять лет, другому: десять без права переписки. Справок о смерти здесь не выдавали; женщина, у которой умер сын, отличалась, видно, неслыханной хваткой, раз добилась объяснения, почему не возвращается ее сын. О смерти обычно узнавали случайно или не узнавали вовсе, а что такое — «без права переписки» тогда еще не понимали.

Вокруг кричащего прокурора и воющей женщины собрались люди из очереди. Они тоже не одобряли крикунью. «Что уж тут плакать, — резюмировала какая-то терпеливая баба, тоже справлявшаяся о сыне, — теперь уж не воскресишь... Только нас задерживает». Скандалистку вывели, и снова водворился порядок. У советского человека развито особое уважение к учреждениям, или, как это называлось раньше, присутственным местам. Если бы сын умер дома, никто не возмутился бы крику и причитаниям матери, но внутренняя дисциплина не позволяла шуметь в присутственных местах. Все мы отличаемся поразительной выдержкой. Мы умели прийти на службу после ночного обыска и ареста близких и там улыбаться, как всегда. Улыбаться нам полагалось. Нами руководил инстинкт самосохранения, страх за своих и особый кодекс советских приличий. При втором аресте сына Анна Андреевна нарушила этот кодекс: она взвыла в присутствии тех, кто пришел за Левой. Вообще же она держалась хорошо и даже заслужила одобрение Суркова: «Анна Андреевна так поразительно держала себя эти годы...» А попробуй держи себя иначе, когда там у тебя заложник... Случайность ли, что почти никто из нас не нарушал правил советского приличия? А вот О. М. их не соблюдал совершенно. У него не было никакой выдержки. Он шутил, кричал, ломился в закрытые двери, ярился и не переставал удивляться тому, что происходит, до последней минуты.

Сейчас моя выдержка и самодисциплина ослабели, и я пишу эти страницы, хотя нам объяснили, что вспоминать те годы надо умеючи. Единственная разрешенная форма подобных воспоминаний — показ того, что человек в любых условиях остается верным строителем коммунизма и умеет отличать главное — нашу цель — от второстепенного — своей собственной искалеченной и растоптанной жизни. О правдоподобии этой концепции не позаботился никто: без этого можно обойтись... Выдвинули ее, как будто, люди, проведшие полжизни в лагерях, а те, кто их на каторгу загнал, одобрительно

кивнули. Мне только раз пришлось столкнуться со сторонником этой концепции — между мной и ими стоят непроницаемые социальные перегородки, и эта встреча могла состояться только случайно.

«Что это еще за Солженицын? Ваши все о нем говорили», — спросил меня мой сосед по купе — я ехала в Псков из Москвы, и меня провожала целая ватага, взволнованная и радостная, потому что накануне мы узнали, что Твардовский наконец добился разрешения напечатать рассказ Солженицына в «Новом Мире». Поглядев на своего насупленного спутника, я сразу поняла, что между нами существует незримая связь на манер сообщающихся сосудов. Есть, впрочем, разница: жидкость в сообщающихся сосудах колеблется, пока не сравняются уровни, а наше с ним душевное состояние никогда не бывает на одном уровне — чем выше у него, тем ниже у меня, и наоборот.

Я рассказала про Солженицына и узнала его приговор: зря печатают... «Читали рассказ «Самородок»?... Можно бы обойтись без него, но все-таки есть воспитательная идея...» На мои возражения он сказал: «Надо понимать — это была историческая необходимость». «Почему необходимость, — возразила я, — ведь говорят, это случайность: плохой характер Сталина». «С виду вы человек образованный, а Маркса плохо читали. Забыл, что ли, что случайность — это неосознанная необходимость...» Это означало, что не будь Сталина, кто-нибудь другой загнал бы в лагеря всех этих людей...

На моем спутнике была военная куртка без погон, и желтое одутловатое лицо, как у людей, всю жизнь просидевших за письменным столом и страдавших бессонницей. А сидеть он привык на кресле: качнувшись всем корпусом к собеседнику, он вдруг слегка приподнимал руки, словно искал для опоры ручек кресла.

В разговорах моих друзей он уловил еще имя Пастернака. «Тот самый Пастернак?» К истории с книгой Пастернака он отнесся с профессиональной четкостью: это был просто грубый недосмотр. «Как могли допустить... Подумайте, до чего довели: за границу переслал. Прохлопали...» Самого Пастернака он не читал и «читать не собирался». «Кто же его читает? Я в курсе литературы, приходится... И то не слышал...» Я возразила, что он не слышал ни про Тютчева, ни про Баратынского. Он вынул записную книжку: «Как вы сказали? Ознакомлюсь...»

Про себя он сначала сказал, что он врач, сейчас на пенсии — по возрасту как будто рановато на пенсию — и занимается в помощь милиции работой с малолетними правонарушителями. «Почему не медициной?» «Так пришлось». Медицина оказалась далеким прошлым, а в своей деятельности ему почему-то приходилось выслушивать и сторонников и врагов прошлого режима. «Где ж это враги могли разговаривать?» — спросила я, но ответа не последовало. Выйдя в отставку, он выбрал Таллин, где ему случалось бывать «по долгу службы», и ему дали там трехкомнатную квартиру, а живут при нем жена и младший сын. «Что-то я не слышала, чтобы врачам давали трехкомнатные квартиры на такую семью», — сказала я. «Бывает», — лаконично ответил он.

Вспомнив про семью, он поделился со мной, как с педагогом, своим горем. Старшие двое у него удачные. Он себе устроил вроде отпуска и ездил их навещать: дочь замужем за секретарем обкома, сын сам работает в обкоме. А вот младший, родившийся после войны, никуда не годится — тунеядец, хочет бросить школу и идти работать на завод. «Почему ж тунеядец, если хочет работать?» — спросила я. Оказалось, что сын не хочет жить с отцом — товарищи ему наговорили; мало того, он еще действует на мать, и она тоже стала чего-то ершиться. «А все потому, что старшие нужду знали во время войны: аттестата ведь не хватало. Младший в довольстве рос — апельсины, шоколад. Вот и вырос таким. Рожать его не надо было...» Он не сумел мне объяснить, как будет при коммунизме, когда дети не будут знать нужды: все ли они отобьются от рук? А товарищи сына видно запомнили деятельность отца, приезжавшего в Таллин по долгу службы.

Мне было ясно, что я разговариваю с «обломком сталинской империи». Случайность ли, что сын взбунтовался против своего отца? Случайность ли, что отцу не хочется ворошить прошлого, этой «исторической необходимости», ради которой он потусердствовал? Повесть Солженицына, как оселок: по реакции каждого читателя можно судить о его прошлом или о прошлом его семьи. Прошлое еще не изжито и не осмыслено. Слишком много народу принимало в нем участие, прямое или косвенное, или, по крайней мере, молчало о том, что знали, чтобы теперь мы осмелились прямо взглянуть ему в глаза. Совершенно ясно, чего хотят «обломки империи», которые сейчас сидят в безвестности

и занимаются в помощь милиции воспитанием трудновоспитуемых. Они ждут прихода своих модернизированных единомышленников, чтобы благословить молодое и незнакомое племя.

Люди, просто молчавшие или закрывавшие глаза на то, что происходит, тоже стараются как-то оправдать прошлое. Эти обычно обвиняют меня в субъективизме: вы затрагиваете только одну сторону, а ведь было еще многое другое: строительство, постановки Мейерхольда, челюскинцы — мало ли что... Я могла бы прибавить, что еще существовало и небо, и звезды, но все же надо извлечь смысл из того, что свершилось. Мы пережили тяжкий кризис гуманизма девятнадцатого века, когда рухнули все его этические ценности, потому что они были обоснованы только нуждами и желаниями человека, или попросту его стремлением к счастью. Зато двадцатый век продемонстрировал нам со школьной наглядностью и то, что зло обладает огромной силой самоуничтожения. В своем развитии оно неизбежно доходит до абсурда и самоубийства. К несчастью, мы еще поняли, что зло, самоуничтожаясь, может уничтожить всякую жизнь на земле, и об этом не следовало бы забывать. Впрочем, сколько бы ни кричали люди об этих простых истинах, их услышат только те, кто сами не хотят зла. Ведь все уже было, и кончалось, и начиналось снова, но всегда с новой силой и с бо́льшим охватом. К счастью, я уже не увижу, что готовит нам будущее.

МОНТЕР

«Сдаваться еще рано», — сказал наутро О. М. и пошел в Союз писателей к Ставскому, но тот его не принял: раньше, чем через неделю, — передал он через секретаря, — он принять О. М. не сможет, потому что занят по горло. Из Союза О. М. бросился в Литфонд, и там на лестнице с ним случился припадок стенокардии. Вызвали скорую помощь и доставили О. М. домой, приказав лежать. О. М. только этого и хотел: он

надеялся дождаться приема у Ставского и через него добиться прописки. Ему было невдомек, что, умывая руки, все эти ставские, которые служат посредниками между нами и нашими хозяевами, всегда говорят, что они заняты: минутки не могут уделить... Точно так Сурков в 59 году, когда меня выгнали в последний раз из Москвы, объяснил, что никак не может вырвать минутки, чтобы поговорить о моем деле с товарищами. Мне это, впрочем, грозило только бездомностью, а в сталинское время речь шла о жизни и смерти.

В довольно хорошем настроении О. М. полеживал на «бессарабской линейке», и каждый день к нему приходил врач из Литфонда. Дней через десять его отправили к консультанту Литфонда, профессору Разумовой, женщине с умным лицом, в комнате которой висели этюды Нестерова. Нас удивило, с какой легкостью она дала справку о том, что О. М. нуждается в постельном режиме и общем обследовании. Конечно, она не обязана была знать юридическое положение О. М., но после воронежских и чердынских мытарств, отношение Разумовой, да и других врачей Литфонда показалось нам удивительным — словно снова возникла в России интеллигенция с ее отношением к ссыльным.

Тут-то О. М. и завладела безумная мысль — перехитрить судьбу и любым способом зацепиться за Москву, единственный город, где у нас все-таки была крыша над головой и мы могли как-то существовать. Его спутало то, что и сам Литфонд шел ему навстречу: посылал врачей и справлялся о здоровье. Как это объяснить? Быть может, кто-нибудь из работников сочувствовал О. М., а, может, они просто испугались, увидав, как протекает припадок — как бы их потом не обвинили, что они не оказали вовремя помощь... И то, и другое было вполне реально. Так или иначе, Литфонд старался чем-то помочь, а в наших условиях — это вещь удивительная: уравниловки ведь у нас не было и нет, и каждому положено лишь то, чего он заслужил.

Приехал Костырев, покрутился, стуча дверями, и ушел, сообщив моей матери, что пробудет несколько дней в Москве. Вскоре он вернулся и оставил свою дверь к нам в комнату открытой. Мы — у нас еще сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом из Ленинграда в Крым — решили, что Костырев просто подслушивает, но оказалось, что он ждет посе-

тителя. Этого посетителя он к себе в комнату не провел, но остановился с ним в нашей комнате, где мы сидели за шкафом. Разговаривал он с пришедшим о проводке. Посетитель, очевидно, монтер, советовал проводку менять, и у меня даже мелькнула мысль, что Костырев становится чересчур хозяйственным. «Что-то не то», — вдруг сказал О. М., насторожившись. Я не успела остановить его: мне показалось, что у него снова начались галлюцинации, потому что он выскочил из-за шкафа и подошел прямо к монтеру: «Нечего притворяться, — сказал он, — говорите прямо, что вам нужно — не меня ли?»

«Что он делает, — в отчаянии шепнула я Рудакову, в полной уверенности, что О. М. бредит. Но, к моему удивлению, монтер принял это, как должное. Еще две-три реплики, и они показали друг другу документы. Тот, кто минуту назад изображал монтера, потребовал, чтобы О. М. шел за ним в милицию. У меня было смешанное чувство ужаса и радости. Мелькнули две мысли: «Уж не вышлют ли его этапом?» и «Слава Богу, это не галлюцинации»...

О. М. увели в милицию. Рудаков побежал за ним. Но доставить преступника в участок не удалось: по дороге его опять хватил припадок. Вызвали скорую помощь, и наверх его внесли на кресле, которое раздобыли в нижней квартире у Колычева. Пока врач возился с О. М., сыщик-монтер сидел в комнате. Когда О. М. отлежался, он показал странному гостю все свои медицинские справки. «Дайте ту, с треугольной печатью», — сказал сыщик и, забрав справку Разумовой, пошел к Костыреву звонить по телефону. Получив инструкцию, он вернулся к нам: «Пока лежите» — и ушел.

Несколько дней О. М. пролежал. Каждый день, утром и вечером, приходили наш монтер или его сменщики — все в штатском. Кроме них приезжали врачи. Днем О. М. развлекался: «Сколько у них со мной хлопот!» и рассуждал о том, что к нам пришли бы ночью, если б он во время не сообразил, что за птица этот монтер... Ночью настроение портилось. Однажды, проснувшись, я увидела, что он стоит, закинув голову и растопырив руки, у стены, в ногах у кровати. «Чего ты?» — спросила я. Он показал на распахнутое окно: «Не пора ли?... Давай... Пока мы вместе...» Я ответила: «Подождем», и он не стал спорить. Хорошо ли я сделала? От скольких мучений я бы избавила и его, и себя...

Утром мы выдержали визит монтера, который обещал прислать «своего врача». Вечернего сыщика мы дожидаться не стали и ушли из дому. Ночевали мы у Яхонтова, развлекаясь, как могли. Днем я пришла домой, чтобы приготовить вещи к отъезду, но Костырев сбегал в милицию, и на этот раз туда потащили меня. «Где Мандельштам?» «Уехал». «Куда?» «Не знаю...» Мне приказали покинуть Москву в двадцать четыре часа. За свою работу Костырев получил комнату О. М. размером в 16 метров. Там и сейчас живут его вдова и дочь. Хотелось бы, чтобы дочка прочла про своего отца, но у таких родителей дети книг не читают, разве что «по долгу службы», если они тоже попали в «Литературный отдел» Лубянки. В этом случае лучше, чтобы эта рукопись ей не попадалась.

Три дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области. Выбрали мы Кимры. Соблазнила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной Рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки. В квартире на Фурмановом мы больше не показывались. Вещи на вокзал обещали привезти братья — Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич. Чтобы проститься с моей матерью, мы вызвали ее на бульвар. Увидав маму, О. М. встал и пошел с протянутой рукой ей навстречу. «Здравствуйте, моя нелегальная теща», — сказал он. Мама только ахнула.

В начале июня мы покинули Москву.

В сущности, милиция проявила необычайную гуманность и мягкость: больному, незаконно проживавшему в Москве, дали отлежаться, а потом предложили уехать. Обычно так не церемонятся, да и больные не решаются задерживаться в запрещенных городах. Кроме того, в нашем случае милиция поступила совершенно законно — ведь людям с судимостью запрещено жить в больших городах. Я же потеряла «связь с Москвой», потому что ездила в провинцию к человеку с судимостью. «Должно же защищаться государство», — сказал мне как-то Нарбут. Но в том-то и дело, что, защищаясь, оно создало слишком много законов, чтобы оградить себя от человека.

Еще вопрос: преувеличивал ли О. М. свои болезни, пытаясь обмануть государство? Несомненно. Ведь понадобился еще целый год бродяжничества и восемь месяцев тюрьмы и лагеря,

чтобы отправить его на тот свет. У нас имеют право жаловаться на несмертельные недуги только те, кто полезен государству. Политические преступники должны умирать на ногах. О. М. слег в постель, когда он мог еще держаться на ногах, и вел себя так, будто он нужный человек, которого государство лечит, пестует и холит. Следовательно, он свои болезни преувеличивал и старался обмануть государство. А оно имело не только законное, но и моральное право защищаться от такого недисциплинированного гражданина.

Наше государство опекает двести миллионов граждан и не собирается потакать тем, кто ему не служит верой и правдой. Государство — это самодовлеющая сила, которая лучше нас знает, что нам нужно. Когда все народы пойдут по нашему пути, они узнают, что свобода — это осознанная необходимость.

ДАЧНИКИ

«Рано что-то мы на дачу выехали в этом году», — сказал О. М., укрывшись от московской милиции в Савелове, маленьком поселке на высоком берегу Волги, против Кимр. Лес там чахлый. На пристанционном базаре торговали ягодами, молоком и крупой, а мера была одна — стакан. Мы ходили в чайную на базарной площади и просматривали там газету. Называлась она «Эхо инвалидов» — нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. Чайная освещалась коптящей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу, но О. М. при таком освещении читать не мог из-за глаз. Все мы достаточно в нашей жизни насиделись при коптилках, так что со зрением у нас не очень хорошо... Да и книг мы с собой почти не взяли, потому что не собирались пускать корней и жили как настоящие дачники. Это была временная стоянка — она нам понадобилась, чтобы передохнуть и оглядеться.

Савелово — поселок с двумя или тремя улицами. Все дома в нем казались добротными: деревянные, со старинными на-

личниками и воротами. Чувствовалась близость Калязина, который в те дни затоплялся. То и дело оттуда привозили отличные срубы, и нам тоже хотелось завести свою избу. Но как ее заведешь, когда нет денег на текущий день? Жители Савелова работали на заводе, а кормились рекой — рыбачили и из-под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река — по ночам они баграми вылавливали сплавляемый с верховьев лес. Волга еще оставалась общей кормилицей, но сейчас уже навели порядок и реки нас не кормят...

Мы предпочли остаться в Савелове — конечной станции Савеловской дороги, а не забираться в Кимры, облупленный городок на противоположном берегу, потому что переправа осложняла бы поездки в Москву. Железная дорога была как бы последней нитью, связывавшей нас с жизнью. «Селитесь в любой дыре, — посоветовала Г. М., испытавшая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую «судимость», — но не отрывайтесь от железной дороги: лишь бы слышать гудки»...

Запрещенный город притягивает, как магнит. Прописка разрешалась, начиная со сто пятой версты от режимных городов, и все железнодорожные пункты в этой зоне забивались до отказа бывшими лагерниками и ссыльными. Местные жители называли их «стоверстниками», а женщин более точно: «стопятницами». Это слово напоминало им о мученице Параскеве-Пятнице, о сто пятой версте. Я сообщила это слово Анне Андреевне, и оно попало в поэму. Но узнала я его не в Савелове, а в Струнине, где поселилась после ареста О. М. Так называли меня там рабочие на текстильной фабрике, где я обслуживала двенадцать банкоброшных машин, и меняя с кем-нибудь дневную смену на ночную, — ведь все предпочитают работать днем, а не ночью, — ездила в Москву с передачами или за справками, которых нигде не давали.

Среди московских стоверстников и стопятниц особой популярностью пользовался Александров — «юродивая слобода» из стихов О. М., — потому что они пересаживались в Загорске на электричку и успевали за один день съездить в Москву, чтобы раздобыть денег или «похлопотать», а вечером вернуться с последним поездом на свое законное место жительства: ведь человеку полагается ночевать там, где он прописан. Поездка из Александрова, благодаря электричке, занимала не больше трех

часов, вместо четырех или четырех с половиной по другим дорогам. Когда в 37 году начались повторные аресты, скопления людей с судимостью в определенных местах оказались на руку органам: вместо того, чтобы вылавливать их поодиночке, они сразу подвергали разгрому целые города. Так как такие мероприятия производились по плану и контролировались цифрами, чекисты, наверное, получили немало наград за самоотверженный труд и выполнение плана. А опустошенные городки опять заполнялись потоками стоверстников, которых в свою очередь ожидал разгром. Кто мог поверить, что городки, вроде Александрова, были просто западней? Ни у кого из нас не вмещалось в голове, что порисходит систематическое уничтожение определенных категорий людей, то есть тех, кто однажды подвергся репрессиям. Ведь каждый верил, что у него индивидуальное дело, и считал рассказы про «заколдованное место» обывательской болтовней. В Москве нас успели предупредить о побоище, происходящем в Александрове, и мы, конечно, не поверили. Мы не поехали туда, потому что О. М. не захотелось в «юродивую слободу». «Хуже места не найти», — сказал он. Кроме того, мы выяснили, что в Александрове чудовищные цены на комнаты, и не пошли по проторенной дорожке.

В Савелове ни дачников, ни стоверстников кроме нас не было, если не считать нескольких уголовников, пережидавших там грозу: охотились не на них, но в случае недохватки могли захватить и их, чтобы не срывать плана. С одним из них мы разговорились в чайной, и он очень толково объяснил нам, какие у Савелова преимущества по сравнению с Александровым или с Коломной, например: «Если шпана вся в одном месте соберется, ее сразу, как пенку, снимут...» Он оказался собразительней наивной «пятьдесят восьмой» статьи, среди которой было много людей со старыми университетскими значками, а они твердо помнили, что каждый индивидуально несет ответственность за свои преступления, и что за одно преступление никто дважды не отвечает. А поскольку они вообще никаких преступлений за собой не знали, им все мерещилось, что они добьются справедливости — ведь так вечно продолжаться не может! — а вместо этого попадали в фургон, именовавшийся «Черной Марусей» или «Черным вороном».

В 1948-53 годах я снова наблюдала «стоверстную драму», крохотную драму без содранной кожи, общего рва, без свинца

и пыток, которыми так избаловала нас наша эпоха. Я жила в Ульяновске и видела, как его аккуратно очищают от всех, кто получил «судимость». Часть из них забрали сразу, остальных лишили прописки, и они хлынули в стоверстную зону. Там пользовался популярностью город Меликес. Туда отправился и мой знакомый скрипач, бывший рамповец и бывший партиец, человек возраста О. М., делавший когда-то музыкальную политику с сестрой Брюсова. В 37 году он попал в лагерь и, отсидев восемь или десять лет, попал в конце сороковых годов в Ульяновск. Обезумев от счастья и думая, что все плохое уже позади, — сколько раз все мы попадались на эту удочку! — скрипач решил начать новую жизнь, женился — прежняя жена и дети успели от него «отмежеваться» — на моей сослуживице, хорошей женщине, и пристроился в музыкальной школе. Новый сын — лобастый мальчишка — уже тянулся к скрипке — и счастливый отец мечтал сделать из него скрипача. Он убеждал меня, что нет большего счастья, чем жить искусством и ради искусства, и цитировал по этому поводу классиков марксизма. Сыну было года три, когда отца вызвали в милицию, лишили прописки и предложили покинуть город в двадцать четыре часа. Я случайно зашла к ним именно в этот день, сразу все поняла по их лицам и так и осталась их конфиденткой: подобные истории всегда хранились в тайне, иначе могла пострадать вся семья.

В ту же ночь скрипач выехал в Меликес. Там он снял угол и даже достал несколько уроков скрипки и рояля. Вскоре среди хлынувшей в Меликес толпы бывших лагерников начались аресты. В маленьких городках такие вести распространяются мгновенно: квартирная хозяйка не преминет сказать соседке, что у нее ночью увели квартиранта. Аресты означали, что в Меликесе образовалось скопление подозрительных элементов, и местным органам спущен план очистки города. Все бросились в милицию выписываться, и вокзал переполнился беженцами. Скрипач тоже умудрился во-время убежать из опасного города. С тех пор, до самой смерти Сталина, то есть два с лишним года, он метался вниз и вверх по Волге — вплоть до Сызрани и по всем железнодорожным веткам, кочуя из города в город. В иных местах ему не удавалось даже найти угла, так как все было забито беглецами; в других не прописывали. Иногда он устраивался и даже доставал уроки в местной музыкальной

школе, но тут до него доходила весть о том, что и здесь начались аресты, и он снимался и убегал. Во время своих странствий он иногда проезжал через Ульяновск и ночью пробирался к жене. Днем высунуться на улицу или постучаться к жене он не смел — соседи бы тотчас донесли. Он дрожал от страха, худел, кашлял и снова пускался в путь вместе со своей скрипочкой. И в каждом новом городе все начиналось сначала. Он даже съездил в Москву жаловаться в Комитет искусств, где его еще помнили, что в музыкальные школы принимают людей без всякого образования, а он, с его квалификацией, остается без работы... Ему обещали посодействовать, но в том городке, где он хотел осесть, начались аресты, и он убежал. Ему даже не довелось узнать, исполнили ли московские чиновники свое обещание.

После смерти Сталина ему разрешили, как инвалиду, вернуться к жене в Ульяновск. Умер он дома, но сына скрипичному искусству не научил. Он даже не смел приблизиться к мальчику — боялся заразить его туберкулезом, полученным во время странствий по уездным городам, предпринятых для спасения жизни.

Скрипачу благоприятствовало все: оседлая жена, которую не сняли с работы, потому что она сумела скрыть свой брак, к тому же и не зарегистрированный, опытность — всегда вовремя узнавал про опасность, даже национальность: тогда первый удар направлялся на евреев. Скрипка давала ему кусок хлеба — именно кусок хлеба, а не что другое, но и это очень важно. Музыканты и вообще пострадали меньше других профессий. Но спасся он только благодаря своей неукротимой энергии. Многие на его месте так бы и остались ждать ареста в Меликесе: «разве от «них» спрячешься!» А спасся он только для того, чтобы приехать умирать домой. Ведь это тоже огромное счастье.

Глядя на удачливого скрипача, я всегда думала о том, что бы ожидало О. М., если б он выжил и вернулся из лагеря. Если б мы могли предвидеть все возможные варианты судьбы, мы не упустили бы последнего шанса нормальной смерти — открытого окна нашей квартиры на пятом этаже писательского дома на Фурмановом переулке в городе Москве.

Воронеж был чудом, чудо нас туда привело, а чудеса не повторяются.

ВОЛКА КОРМЯТ НОГИ

В детстве, читая про французскую революцию, я часто задавалась вопросом, можно ли уцелеть при терроре. Теперь я твердо знаю, что нельзя. Кто дышал этим воздухом, тот погиб, даже если случайно сохранил жизнь. Мертвые есть мертвые, но все остальные — палачи, идеологи, пособники, восхвалители, закрывавшие глаза и умывавшие руки и даже те, кто по ночам скрежетал зубами — все они тоже жертвы террора. Каждый слой населения, в зависимости от того, как на него был направлен удар, переболел своей формой страшной болезни, вызываемой террором, до сих пор еще не оправился, еще болен, еще негоден для нормальной гражданской жизни. Болезнь передается по наследству, сыновья расплачиваются за отцов, и только, пожалуй, внуки начинают выздоравливать, или, вернее, болезнь принимает у них другую форму.

Какой негодяй посмел сказать, что у нас не было потерянного поколения? Он сказал неслыханную ложь — и это тоже результат террора. Ведь у нас гибло одно поколение за другим, но процесс этот совершенно непохож на то, что было на Западе. Ведь все работали, боролись за свое положение, надеялись на спасение и старались думать только о текущих делах. В такие эпохи текущие дела — настоящий наркотик. Нужно, чтоб их было побольше. Надо в них погрузиться — тогда годы пролетают скорее, и в памяти остается серая рябь. Среди моего поколения только единицы сохранили светлую голову и память. В поколении О. М. всех поразил ранний склероз.

Это все точно, но при всем том, я не перестаю удивляться, какие мы оказались стойкие. После смерти Сталина брат Женя мне как-то сказал: «Мы еще не знаем, что́ мы пережили», и это правда. А совсем недавно я ехала в переполненном автобусе. Ко мне примостилась старушка, повиснув всей тяжестью на моей руке. «Тяжело, верно, тебе?», — вдруг спросила она. «Ничуть, — ответила я. — Ведь мы все двужильные». «Двужильные? — переспросила старушка и вдруг рассмеялась. — А правда — двужильные...» «Верно, верно», — сказал кто-то и тоже рассмеялся. С минуту все пассажиры повторяли: — «Мы

двужильные», но тут автобус остановился, все поползли к выходу и занялись «текущими делами», то есть стали расталкивать соседей. Просветление пришло и ушло: ведь мы действительно двужильные, иначе мы не могли бы пережить того, что выпало нам на долю.

В тот период, который называется «ежовщиной», аресты шли волнами со спадами и нарастаниями: быть может, в тюрьмах, забитых до отказа, просто не хватало места, а нам, еще находившимся на воле, иногда казалось, что девятый вал уже прошел, и все идет на убыль. После каждого процесса люди облегченно вздыхали: ну, теперь конец! А это значило: слава Богу, я, кажется, уцелел... Но затем поднималась новая волна, и те же люди бросались писать статьи с проклятиями «врагам народа». Чего они только не писали про тех, кого уже расстреляли, чтобы потом быть самим расстрелянными... «Сталину не нужно рубить головы, — говорил О. М., — они сами слетают, как одуванчики...» Кажется, он сказал это в первый раз, прочтя статью Коссиора и узнав, что несмотря на все свои статьи, он тоже арестован.

Летом 37 года мы были «дачниками», а «летом всегда легче», как говорил О. М. В Москву мы ездили довольно часто, иногда даже бывали на дачах у своих знакомых. Были у Пастернака в Переделкине. Он сказал: «Зина, кажется, печет пироги», и пошел справляться вниз, но вернулся печальный — к Зине нас не допустили... Через несколько лет она мне сказала по телефону, когда, приехав из Ташкента, я позвонила Борису Леонидовичу: «Только, пожалуйста, не приезжайте в Переделкино...» С тех пор я никогда не звонила, а он иногда, встретив меня возле дома на Лаврушенском, где я подолгу жила у Василисы Шкловской, забегал ко мне. Он — единственный человек, который пришел ко мне, узнав о смерти О. М

В день, когда в последний раз мы были с О. М. у него в Переделкине, он пошел провожать нас на станцию, и мы долго разговаривали на платформе, пропуская один поезд за другим. Борис Леонидович еще бредил Сталиным и жаловался, что не может писать стихов, потому что не сумел тогда по телефону добиться личной встречи. О. М. сочувственно посмеивался, а я удивлялась. После войны сталинский бред у Пастернака как будто кончился. Во всяком случае, он уже не упоминал его в разговорах со мной. А роман был задуман давно, потому что

при всякой встрече — еще до войны — Пастернак говорил, что пишет прозу «о всех нас»... Вероятно, концепция этой прозы видоизменялась с течением времени, что и видно по самому роману. Время было такое, что люди метались и не знали, на чьей стороне правда.

Шкловский в те годы понимал все, но надеялся, что аресты ограничатся «их собственными счетами». Он так и разграничивал: когда взяли Кольцова, он сказал, что это нас не касается, но тяжело реагировал, если арестовывали просто интеллигентов. Он хотел сохраниться «свидетелем», но когда эпоха кончилась, мы уже успели все состариться и растерять то, что делает человека «свидетелем», то есть понимание вещей и точку зрения. Так и случилось со Шкловским.

Лева Бруни сунул О. М. в карман деньги и сказал: «Кому нужен этот проклятый режим!» Мариэтта сделала вид, что ничего не слышала про аресты: «Кого арестовывают? Почему? Открыли заговор, взяли пять человек, а интеллигентишки подняли крик...» Ее собственная дочь кричала ей в ухо про семью Третьяковых, но Мариэтта, спасаясь блаженной глухотой, ничего не расслышала. Адалис побоялась пустить нас ночевать, что было вполне естественно, но тут же разыграла комедию: «Почему вы не идете к себе домой? Я пойду с вами, и, если придет милиция, я им все объясню... Я берусь». Растерянные люди метались, и каждый говорил то, что ему взбредало на ум, и спасался, как может. Испытание страхом — одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут.

Нам не на что было жить, и мы вынуждены были ходить по людям и просить помощи. Часть лета мы прожили на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михоэлса. Он обнял О. М. и, наперебой с Марьяшем, старался говорить все самое утешительное. Все время давал деньги Яхонтов, пока не уехал. В каждый свой приезд О. М. ходил в Союз, пытаясь повидаться со Ставским, но тот уклонился от встречи и поручил О. М. своему заместителю — Лахути.

Лахути изо всех сил старался наладить что-нибудь для О. М. Он даже отправил его в командировку от Союза по каналу, умоляя написать хоть какой-нибудь стишок про строительство. Вот этот-то стишок я и бросила в печку с санкции Анны Андреевны. Впрочем, стихи О. М. о канале никого бы не удовлетворили: он сумел выжать из себя только пейзаж.

ВЕЧЕР И КОРОВА

Мы тоже искали спасения. Люди всегда ищут спасения. Самосожженцы — это восток, а мы все-таки европейцы и не хотим сами бросаться в огонь. У нас было два плана спасения — один принадлежал мне, другой — О. М. Их объединяла одна общая черта: оба были абсолютно невыполнимы.

Мой план назывался «корова». В нашей стране, где все способы добывать хлеб национализированы, то есть находятся в руках государства, есть две лазейки для частной жизни — нищенство и корова. Нищенством мы жили, и это оказалось невыносимым. От нищих все шарахаются, и никто милостыню подавать не хочет, тем более, что собственные средства тоже добыты как милость и милостыня государства... Когда-то народ в России жалел «несчастненьких» арестантов и каторжников, а интеллигенция считала долгом поддерживать политических ссыльных, но это исчезло вместе с «абстрактным гуманизмом». И, наконец, люди боялись нас: мы были не только нищими, но и зачумленными. Все боялись друг друга — ведь ночью могли явиться за самым благополучным человеком, только что напечатавшим в «Правде» статью против «врагов народа». За одним арестом цепочкой шли другие — родственники, знакомые, те, чей телефон записан в записной книжке арестованного, с кем в прошлом году он встречал Новый год, и тот, кто обещал, но, испугавшись, не пришел на эту встречу... Люди боялись каждой встречи и каждого разговора, и тем более они шарахались от нас, которых уже коснулась чума. И нам самим казалось, что мы разносим чуму. У меня было одно естественное желание — притаиться в углу и никого не видеть, и поэтому я мечтала о корове. Это та самая «последняя коровенка» народнической литературы, которую мужик, взявши за рога, повел продавать на базар. Благодаря особенностям нашей экономики корова в течение многих лет могла прокормить семью. В маленьких домишках ютились миллионы семей, живших лоскутным участком, дававшим картошку, огурцы, капусту, свек-

лу, морковь и лук, и коровой. Часть удоя уходила на прикуп сена, но все же оставалось достаточно молока, чтобы забелить щи. Корова дает независимость людям, и они могут спустя рукава прирабатывать только на хлеб. Государство до сих пор не знает, как ему быть с этим остатком старого мира, мычащим и дающим молоко. Если дать людям сена для коровы, они лодырничают и в колхоз ходят вырабатывать только минимум; заберешь корову — народ с голоду дохнет... Корова то запрещается, то разрешается... Но постепенно их становится все меньше: у баб не хватает сил отстаивать свое рогатое сокровище...

Корова бы нас спасла, и я верила, что могу научиться доить. Мы бы канули, растворились в толпе, никогда бы не вышли из дому, так и засели бы в четырех стенах... Но хибарка и корова требуют огромных капиталовложений — они и сейчас мне не под силу. К нам в Савелове ходили женщины, предлагая срубы по самой дешевой цене, а мы только облизывались, так аппетитно они расписывали стены, крепкие и желтые, как желток. Чтобы раствориться в толпе, надо от рождения принадлежать к ней и получить дрянную хибарку с протекающей крышей и участок, обнесенный расшатанным забором, по наследству от какой-нибудь иссохшей от голода бабки. Быть может, в странах капитализма нашлись бы чудаки, которые бы собрали ссыльному поэту на мужицкий дом с коровой, но у нас это исключено. Организовать помощь ссыльному и собрать для него деньги считается преступлением, за которое недолго и самому попасть в лагерь.

К коровьему плану О. М. относился холодно, денег на его осуществление не было, да и сама идея ему не нравилась: «из таких затей никогда ничего не выходит»... Его план был прямо противоположен моему — он хотел выделиться из толпы. Ему почему-то казалось, что если он добьется «творческого вечера» в Союзе, ему не смогут не дать какой-нибудь работы. Он сохранял иллюзию, что стихами можно кого-то победить и убедить. Это у него осталось от молодости — когда-то он мне сказал, что никто ни в чем ему не отказывает, если он пишет стихи. Вероятно, так и было — он провел хорошую молодость, и друзья берегли и ценили его. Но переносить те отношения на Москву 37 года было, конечно, совершенно бессмысленно. Эта Москва не верила ничему и ни во что. Она жила лозунгом: спасайся,

кто может. Ей плевать было на все ценности мира, а уж подавно на стихи. Мы это знали, но О. М., человек чрезвычайно активный, не мог сидеть сложа руки. Впрочем, здесь дело не только в его активности: волка ведь кормят ноги, и ему не дано передохнуть до самой смерти.

Лахути ухватился за мысль о вечере. И ему она показалась спасительной. Да знаю ли я что-нибудь о Лахути, кроме того, что он был приветлив и внимателен? Ровно ничего... Но в той озверелой обстановке его приветливость казалась чудом. Самостоятельно решить вопрос о вечере ни Ставский, ни Лахути не могли. Все решалось наверху. Мы ждали в Савелове разрешения этого вопроса государственной важности и изредка наведывались в Союз, чтобы узнать мнение по этому поводу высших инстанций. В одно из посещений Союза О. М. разговаривал в коридоре с Сурковым, а выйдя на улицу, нашел у себя в кармане 300 рублей. Сурков, видно, тихонько сунул эти деньги ему в карман. Не всякий бы решился на такой поступок: за это могли быть серьезнейшие неприятности. Расценивая Суркова, пусть помнят об этих деньгах — это та луковка, за которую надо уцепиться, чтобы Богородица вытащила грешника в рай.

Вечер все не назначался. Наконец позвонили из Союза Евгению Яковлевичу. У него спросили, как найти Мандельштама, и можно ли немедленно сообщить ему, что вечер назначен на следующий день. Телеграф работал, как ему заблагорассудится, и Женя не решился довериться на его милость. Он бросился на вокзал и последним поездом приехал к нам в Савелово. В ту минуту он наверное тоже поверил в стихи и вечер.

На следующий день мы отправились в Москву и в назначенный час пришли в Союз. Секретарши еще сидели на своих местах, но про вечер никто ничего не знал: кажется, что-то слышали, а что именно не помним... В клубе все комнаты были закрыты. Никаких объявлений мы не нашли.

Оставалось только узнать, рассылались ли повестки. Шкловский не получал, но он посоветовал позвонить кому-нибудь из поэтов — приглашения часто рассылались только членам секций. У нас под рукой был телефон Асеева. О. М. позвонил ему и спросил, получил ли он повестку, и, побледнев, повесил трубку. Асеев ответил, что как будто что-то мельком слышал, но что разговаривать он не может: занят, торопится в Большой

театр на «Снегурочку»... К другим поэтам О. М. звонить не рискнул.

Загадку вечера мы так и не разгадали. Звонили действительно из Союза, но кто — неизвестно. Быть может, отдел кадров, потому что секретарши, обычно занимающиеся этими делами, никаких распоряжений не получали, хотя что-то смутно слышали. Если ж это был отдел кадров, то зачем ему понадобился Мандельштам? У нас мелькнуло предположение, что О. М. выманили из Савелова, чтобы его арестовать, но не успели получить санкции какого-нибудь начальства, может, самого Сталина, поскольку в прошлом деле имелись его распоряжения. Для облегчения работы перегруженных чекистов, людей не раз вызывали в какое-нибудь учреждение, чтобы оттуда отправить на Лубянку. Рассказы о таких случаях ходили во множестве. Гадать, что к чему, не имело смысла: не стоит себя преждевременно хоронить. Мы вернулись в Савелово и снова сделали вид, будто мы дачники.

Оба плана спасения провалились: «вечер» — с треском, а корова — потихонечку. Спасения не было даже в мечтах.

Что же касается до «Снегурочки», то вполне естественно, что Асеев назвал именно эту оперу. Поэтическое крыло, к которому он принадлежал, отдало дань увлечению дохристианской Русью. Но мы поленились узнать, что шло в тот вечер в Большом театре и не закрылся ли он уже на лето. Мне говорили, что на старости Асеев остался одиноким и покинутым. Объяснял он эту свою покинутость тем, что боролся против культа личности и поэтому потерял положение. В критических статьях о Кочетове его единомышленники тоже пишут, что он боролся против этого культа. Как выясняется, у нас не было ни одного сталиниста, и все мужественно боролись. Я же могу засвидетельствовать, что из моих знакомых не боролся никто, а люди просто старались стушеваться. Люди, не утратившие совести, поступали именно так. И для этого надо было иметь настоящее мужество.

СТАРЫЙ ТОВАРИЩ

Неудача с вечером не подкосила О. М.: «Надо все отложить до осени», — сказал он. Москва, как всегда, к июлю опустела, поэтому никаких планов спасения мы не строили, а просто думали, как бы продержаться до осени. Это тогда О. М. заявил: «Надо менять профессию — теперь мы нищие...» И он предложил ехать в Ленинград.

Раньше мы всегда разговаривали с О. М. Мне запомнились какие-то его слова и мысли. Но последний год были не членораздельные слова, а одни междометия. О чем мы говорили? Просто ни о чем: «устала, дай полежать... не могу идти... надо что-то предпринять... ничего, образуется... теперь всегда так будет... Господи!... кого взяли?... опять...»

Когда жизнь становится абсолютно невыносимой, кажется, что весь этот ужас никогда не кончится. В Киеве во время бомбардировки я поняла, что невыносимое все-таки кончается, но я тогда еще не вполне сознавала, что часто оно кончается вместе с человеческой жизнью. Что же касается до сталинского террора, то мы всегда понимали, что он может ослабеть или усилиться, но кончиться не может. Зачем ему было кончаться? С какой стати? Все люди заняты, все делают свое дело, все улыбаются, все беспрекословно исполняют приказания и снова улыбаются. Отсутствие улыбки означает страх или неудовольствие, а в этом никто не смел признаться: если человек боится, значит, за ним что-то есть — совесть нечиста... Каждый, находившийся на государственной службе — а у нас каждый ларешник — чиновник, да еще ответственный — ходил веселым добрячком: то, что происходит меня не касается — у меня ответственная работа, и я занят по горло... я приношу пользу государству — не беспокойте меня... я чист, как стеклышко... если соседа взяли, значит, было за что...Маска снималась только дома, да и то не всегда: ведь и от детей надо было скрывать свой ужас — не дай Бог, в школе проболтаются... Многие так приспособились к террору, что научились извлекать из него выгоду — спихнуть

соседа и занять его площадь или служебный стол — дело вполне естественное. Но маска предполагает только улыбку, а не смех: веселье тоже казалось подозрительным и вызывало повышенный интерес соседей: чего они там смеются? может, издеваются!... Простая веселость ушла, и ее уже не вернуть.

Приехав в Ленинград мы нашли Лозинского на уединенной даче под Лугой. Он немедленно вынул 500 рублей, на которые мы могли вернуться в Савелово и оплатить дачу до конца лета. Чем были эти пятьсот рублей? У нас никогда не было устойчивых цен — они менялись непрерывно, и никакой логики в этой скачке уловить мы не могли. В колебании цен на частном рынке есть закономерности, как в повышении или падении стоимости денег; но в таинственных вибрациях планового хозяйства сам черт ногу сломит: захотели — повысили цены, захотели — снизили... Зато в названиях сотен и тысяч, которыми мы ворочали, была настоящая магическая сила и, получив пятьсот рублей от Лозинского, мы почувствовали себя не простыми нищими, а какими-то особенными, чудесными, собирающими милостыню оптом. И, действительно, так и было, потому что простым нищим давали копейками, которые равнялись на хлеб четвертушками, а на все остальное сотыми долями мельчайшей денежной единицы.

Обедали мы у Лозинского. Под серьезными взглядами младшего поколения Лозинский балагурил, О. М. сыпал шутками, и оба хохотали, как в дни Цеха Поэтов. После обеда О. М. и Лозинский ушли в комнаты, и О. М. читал стихи. Оживившийся Лозинский пошел провожать нас на станцию. Дорога вела лесом, но по людным улицам мы не решились идти вместе: вдруг кто-нибудь увидит Лозинского с подозрительным незнакомцем! А еще хуже, если нас встретил бы кто-нибудь из Союза писателей, который знал О. М. в лицо. Компрометировать Лозинского мы не хотели и потому расстались на опушке.

Случилось так, что родившиеся в девяностых годах Ахматова, Лозинский и О. М. оказались в тридцатых годах старшим поколением интеллигенции, потому что старшие уже успели погибнуть, уехать или сойти на нет. Для окружающих эти трое очень рано стали стариками, в то время, как «попутчики» Каверин, Федин, Тихонов и другие им подобные — очень долго ходили в мальчиках, хотя были моложе лишь несколькими годами. Бабель не примыкал ни к юношам, ни к старикам —

он был отдельным человеком. О. М. и Лозинский, как бы идя навстречу общественному мнению, очень рано состарились. В 1929 году, когда О. М. служил в газете «Московский Комсомолец», которая помещалась на Тверской в старом пассаже с театром-варьете в центре, капельдинер, заметив, что я кого-то ищу, сказал: «Ваш старичок прошел в буфет». Старичку еще не было сорока лет, но у него уже сдавало сердце. Эренбург, кстати, выдумал, что О. М. был маленького роста. Я ходила на высоких каблуках и едва достигала ему до уха, а я нормального среднего роста. Эренбург, во всяком случае, был ниже О. М. И щуплым О. М. не был — плечи у него были широкие. Вероятно, И. Г. запомнил крымского О. М., истощенного тяжким голодом, а для концепции с журналистским противопоставлением — такой слабый и безвредный, а что с ним сделали! — понадобился облик тщедушного человечка, утонченно еврейского типа, вроде пианиста Ашкенази. Но О. М. совсем не Ашкенази — он гораздо грубее.

О. М. болел сердцем, которое не выдержало дикой нагрузки нашей жизни и еще неистового темперамента его владельца. Лозинского же поразила таинственная слоновая болезнь, которой место в Библии, а не в ленинградском быту. Пальцы, язык, губы Лозинского — все это удвоилось на наших глазах. В середине двадцатых годов, когда я впервые увидела Лозинского — он пришел к нам на Морскую, — он словно предчувствовал приближение болезни и говорил, что после революции все стало трудно, все устают от малейшего напряжения — разговора, встречи, прогулки... Лозинский, как и О. М., к тому времени уже побывал в тюрьмах, и он был одним из тех, у кого всегда стоял дома заранее заготовленный мешок с вещами. Брали его несколько раз, и однажды за то, что его ученики — он вел где-то семинар по переводу — дали друг другу клички. Кличек у нас не любили — это наводило на мысль о конспирации. Всех шутников посадили. К счастью, жена Лозинского знала кого-то в Москве и, когда мужа сажали, сразу мчалась к своему покровителю. То же проделывала жена Жирмунского. Если б не эта случайность — наличие высокой руки, — они бы так легко не отделались. В сущности, эти с самого начала казались обреченными, и все обрадовались, прочтя фамилию Лозинского в списке первых писателей, награжденных орденами. В этом списке он был белой вороной, но и белой

разрешили жить среди других, чуждых ей птиц. Потом выяснилось, что ордена тоже ни от чего не спасают — их просто отбирали при аресте, но Лозинскому повезло, и ему удалось умереть от собственной страшной и неправдоподобной болезни.

Все мы вышли потрясенными и больными из первых лет революции. Сначала это сказалось на женщинах, но все же они оказались живучими и, проболев полжизни, уцелели. Мужчины были, вроде, покрепче и устояли после первых ударов, но загубили сердца, и редко кто доживает хотя бы до семидесяти лет. Тех, кого пощадила тюрьма и война, унесли инфаркты или неправдоподобные болезни, как Лозинского и Тынянова. И среди нас никто не поверит, что рак не связан с потрясениями. Слишком уж часто мы видели, как над человеком разражается гроза, над ним публично издеваются, его запугивают и грозят ему черт знает чем, а через год разносится слух, что у него вовсе не сердце, а самый обыкновенный рак. Нечего и говорить, нас потрепали как следует. Только беспристрастная статистика все время твердит о неустанном повышении среднего срока жизни. Наверное, за счет женщин и детей, потому что моя женская раса действительно оказалась двужильной.

БЕСПАРТИЙНАЯ ТАНЯ

Брат О. М., Евгений Эмильевич, жил с семьей на Сиверской. Мы поехали к нему от Лозинского, потому что О. М. хотел повидать отца. С братом у него никаких отношений не было. Прилитературный делец, он забросил медицину ради более выгодной работы около писательских организаций — сбора гонораров для драматургов Литфонда и тому подобных дел, а под конец жизни стал кинематографистом. Он никогда в жизни ничем не помог О. М. и только требовал, чтобы мы забрали к себе старика отца. Он твердил об этом при каждой встрече и писал в Воронеж, в Савелово — куда угодно... О. М. написал ему не-

сколько писем из Воронежа и не поленился снять копии, зная, что сам Евгений Эмильевич письма уничтожит. В этих письмах он клеймил отношение Евгения Эмильевича к себе и просил никогда не вспоминать, что он его брат. Вплоть до 56 года Евгений Эмильевич и не думал об этом вспоминать и умел крепко отчехвостить людей, которые справлялись у него обо мне. Зато последние годы он чтит память О. М. и даже пытался завязать со мной отношения. Однажды он даже заявился и усиленно приглашал меня в гости. Это обыкновенный человек коммерческого склада, который добился в жизни всего, о чем мечтал: благополучия, денег, машины и даже киноаппарата для развлечения в часы досуга. В нашей жестокой жизни эти люди живут не обычным коммерческим трудом, а изворачиваются, и это их не украшает.

О. М. хотел видеть, кроме отца, еще и свою племянницу — дочь Евгения Эмильевича от первого брака с сестрой Сарры Лебедевой. Татька заболела во время блокады туберкулезом и рано умерла. Я знала ее прелестной девочкой, ничуть не похожей на своего отца. Воспитывала ее бабушка с материнской стороны, чудесная старуха Марья Николаевна Дармолатова, в квартире у которой и живет Евгений Эмильевич. После ареста О. М. бабушка устраивала нам с Татькой тайные свидания у Лебедевой — отец запретил ей встречаться со мной. Татька жаловалась, что Евгений Эмильевич бросил в печку с трудом раздобытый ею список стихов О. М. Достала она его у каких-то литературных мальчишек. Но списков еще было мало и при обысках их всегда отбирали. Война застала Татьку студенткой филфака, невестой юноши, писавшего стихи и чтившего О. М. Он был убит в первых боях, и Татька ходила по голодному Ленинграду, стараясь получить хоть какую-нибудь весточку о нем. И в семье Татьке жилось тяжело — отец вечно ссорился с бабушкой с позиций комсомольца, разоблачающего старорежимную старуху. А мачехи своей она чуждалась. Я не переставала удивляться, что девочка, росшая в такое тяжелое время и в такой трудной семье, преодолела все влияния «нового» и сохранила лучшие традиции русской интеллигенции, забытой, осмеянной, преодоленной высшим разумом новой этики.

Татькина мачеха, Таня Григорьева, дочь преподавателя химии самых лучших и самых прогрессивных гимназий, выросла в самой что ни на есть интеллигентской семье из того крыла, что

сохраняли стиль шестидесятников и почитали Белинского и Добролюбова. Она гордилась семейными традициями и слегка презирала бабушку Марью Николаевну за ее дворянское происхождение. Внешностью Таня тоже представляла чистый образец старой демократической курсистки: умное лицо, гладкие, бесцветные волосы, собранные в пучок, гладкие платья совершенно неопределенного цвета, какие носили до революции учительницы самой прогрессивной складки. У Тани был мягкий голос, и она любила пошутить. Его гордостью было то, что она знает названия всех деревьев, птиц и трав, потому что отец возил дочерей за город на дальние прогулки и учил их наблюдать за родной природой. Татька, по ее мнению, получала совершенно другое, недемократическое воспитание, и она подтрунивала над девочкой за то, что та не умела различить зимой породы деревьев и кустов... Выбор филологического факультета рассмешил Таню. Она признавала только те профессии, которые приносят пользу народу. Впрочем, она несколько изменила традиционную формулировку и говорила о пользе колхозам. Чтобы Татька не заразилась от бабушки религиозностью, Таня водила ее в музей Исаакиевского собора, и однажды при нас произошла настоящая драма: девочка не поверила какой-то трактовке евангельского текста, и ее довели до слез, объясняя, что надо доверять коллективному опыту лучших людей, разоблачавших поповский обман и не быть такой самонадеянной. По тексту выходило, что Евангелие проповедует не более, ни менее, как преклонение перед богатством, и умная девочка прекрасно понимала, что этого не может быть. Мы в это время случайно гостили в Ленинграде, и Татька прибежала тайком к О. М. узнать, кто же прав — бабушка или мачеха с отцом. Вероятно, с этих дней она и привязалась к дяде.

От отца у Тани остались большие связи с партийной верхушкой. Она с сестрой Наташей остались сиротами в самом начале революции, и о них заботился Енукидзе, которого они называли «Рыжим Авелем». Похоже, что это была старая партийная кличка или шуточное прозвище, данное в доме Григорьевых. В 37 году Енукидзе забрали, но Таня шла в ногу с временем и объяснила мне: «Он наверное что-нибудь наделал — власть так развращает». К этому времени она уже оперилась и в покровителях больше не нуждалась. Она даже успела их перерасти: ведь они отстали и не сумели пойти за Сталиным,

чтобы произвести все нужные революционные преобразования, о которых так мечтал ее покойный отец! Именно этим Таня объясняла аресты старых большевиков и поддерживала от всей души любые массовые предприятия, от раскулачивания до выселения дворян из Ленинграда и арестов 37 года. Чтобы быть конкретной, она во всех случаях приводила живые примеры из жизни своего института и жилуправления.

Таня была идеологическим центром дома и управляла им, не повышая голоса. Вероятно, она так же вела себя на службе, но там я знала ей подобных, а ее не наблюдала. Единственное, что огорчало Таню, это упрямство Татьки. Девочка рано научилась молчать, но не было силы в мире, которое заставило бы ее сказать хоть слово, одобряющее Танины теории. Первое крупное столкновение между Татькой и мачехой произошло во время выселения дворян, а среди них — Татькиной подруги и соседки по дому, Оленьки Чичаговой. Таня утверждала, что дворянам совершенно нечего делать в городе Ленина, и не стоит разводить нюни по поводу выселения Чичаговых. Татька молчала. Таня говорила, что при нынешнем жилищном кризисе предоставлять площадь в Ленинграде дворянам, а не рабочим — настоящее преступление. Татька молчала. Таня объясняла, что ей всегда казалось странным, каких неподходящих подруг выбирает себе Татька: что может быть общего между нею, выросшей в семье Евгения Эмильевича и Тани, с какой-то дворянской барышней! Татька молчала и все-таки пошла проводить Олю на вокзал. И Таня обвиняла бабушку в попустительстве... Вскоре после драмы разыгрался фарс. Сама Таня и ее сестра получили вызов в комиссию по чистке Ленинграда, и им предложили покинуть город. Выселение производилось по книге «Весь Ленинград», а там Григорьев числился личным дворянином. Комиссия по выселению интересовалась словом «дворянин», а не «личный» — они ведь выполняли цифровое задание, а настоящих дворян оказалось недостаточно или, во всяком случае, их приходилось искать... Сестер выручил Рыжий Авель, который к этому времени еще не потерял влияния, во всяком случае, на такое простое дело его сил хватило. «Справедливость восторжествовала», — сообщила мне Таня, когда мы встретились в Москве. «Почему ваш отец позволил записать себя личным дворянином? — спросила я. — Люди давали полтину взятки, чтобы этого не писали в документах». «Мой отец

принципиально не давал взяток», — холодно ответила Таня. А мы с Марьей Николаевной все-таки слегка злорадствовали и перемигивались: нам почуялось, что непреклонному прогрессисту Григорьеву захотелось называться дворянином и он воспользовался правом, которое давало ему окончание университета...

Мы заранее знали, какой прием мы встретим на Сиверской, и были рады, что Евгения Эмильевича не оказалось дома — он приехал только поздно ночью. Наутро разыгралась обычная сцена: он потребовал, чтобы мы забрали с собой деда. Старик, по словам Евгения Эмильевича, был непомерно тяжкой нагрузкой для его семьи, губил его, тянул всех на дно... О. М. с братом не спорил. Он уже успел поговорить с отцом и с Татькой — О. М. всегда рано вставал, — и прочесть Татьке стихи о том, как выдают замуж ясную Наташу, и оба, дядя и племянница, пожалели, что у этих стихов уже есть адресат. Как только Евгений Эмильевич поднялся и начал разговоры про отца, мы простились и ушли. Тут-то Таня осведомилась, зачем мы приехали в Ленинград. Мы объяснили, как умели, и она очень удивилась: «Не понимаю, почему два взрослых человека не могут заработать себе на хлеб!» Я попробовала ей объяснить, что вся работа находится в руках у государства, и оно не допускает к ней недостойных, но Таня осудила панику и интеллигентские выдумки. Как и Мариэтта, она не слышала ничего про аресты. Я напомнила ей про Рыжего Авеля, и тогда-то она и произнесла свое суждение... Было в ней что-то непреклонное, напоминавшее о высоких образцах: спартанка, мать Гракхов, народоволка... Уходя, я сказала: «Если вам ночью подменят большевиков фашистами, вы даже не заметите». Таня ответила, что этого не может случиться.

Так произошла последняя встреча О. М. с отцом и Татькой. Таня его забавляла: «Всё, как надо». Ведь она беспартийная большевичка. Тогда этот термин входил в моду, и все мы, если служили на приличных местах, назывались беспартийными большевиками и соответственно вели себя. Таких, как Таня, проталкивали вверх по служебной лестнице вплоть до тех высот, где разрешалось находиться беспартийным. Они представляли в учреждениях демократическую интеллигенцию, на которую приказал опираться Сталин. Всем своим обликом они

напоминали о предреволюционных жертвенных поколениях, и были нужны и семье, и государству.

С Таней я встретилась через двадцать с лишним лет, когда она с Евгением Эмильевичем явились повидаться со мной к Шкловским. Разумеется, я осведомилась, как она отнеслась к Двадцатому съезду, но за нее ответил Евгений Эмильевич. Она вначале была очень недовольна: «Что сделали, то сделали... Зачем шуметь?» — и даже не захотела взглянуть на Хрущева, когда он приезжал в Ленинград и его машина на Невском обогнала Танину... «Вы представляете — она отвернулась!» Вскоре, правда, Танюша примирилась: ведь действительно были перегибы и, наконец, диалектика...

В 38 году я посетила умирающего деда, выбрав с помощью Марьи Николаевны время, когда Евгения Эмильевича и Тани не было дома. Старик обрадовался мне. Он верил, что мы с Осей можем спасти его от нищеты, одиночества и последней страшной болезни. Я скрыла от него арест старшего сына... Вскоре Евгений Эмильевич перевез его в больницу, где он умер от рака. Врачи вызвали телеграммой среднего сына из Москвы, и тот поспел только к похоронам. По словам больничного персонала, никто ни разу не навестил старика в больнице. Он умер один. Я вспомнила рассказ Тани о том, как умирала ее бабушка: чистенькая, тихая, она, как мышка, ушла в свою каморочку и так бесшумно и легко испустила дух, что не нарушила трудового распорядка дома своих внучек. Таня часто повторяла этот трогательный рассказ, и Марья Николаевна уверяла, что она это делает в поучение ей и деду. Оба они действительно умерли, не помешав ни Евгению Эмильевичу, ни Тане: дед — в больнице летом, когда Таня была на даче, а Марья Николаевна — во время блокады. Татька тоже умерла в больнице в Вологде, куда она приехала, когда открылась дорога из блокированного Ленинграда. В дни смерти с ней находилась тетка — Сарра Лебедева. За день до ее смерти Таня умудрилась унести всю ее одежду из больницы — ведь лежала она в казенном... В те дни все жили, меняя тряпье на хлеб, и Таня сочла правильным использовать Татькино барахлишко на хлеб себе и сыну вместо того, чтоб зарывать его в землю. Это вполне рационально, но Татьку все же не в чем было хоронить. Это мне рассказала Сарра Лебедева.

Есть ступень одичания, когда с людей слезают все покровы, придуманные лицемерным обществом, чтобы скрыть истинную сущность вещей. Но мы отличались тем, что никогда не снимали своей красивой и ласковой гражданской маски. Мне часто приходилось видеть людей, сделавших карьеру за приятное интеллигентское лицо и мягкий голос. Директор Ульяновского Педагогического института радостно возглавлял погромщиков в 53 году. Когда меня выгоняли из института и специально для этого устроили заседание кафедры под председательством директора, я не могла оторвать глаз от его лица: он был как две капли воды похож на Чехова и, видимо, зная это, носил не очки, как было принято, а пенсне в тоненькой золотой оправе. Незабываемая игра лица и мягкие модуляции голоса... Описывать, как это делалось, не стоит — сочтут за карикатуру... Я открыла серию изгнанников. Задание в провинцию пришло поздно, и через несколько дней мы услышали о смерти вождя. Я еще присутствовала на траурных митингах, когда действительно все рыдали. Одна из курьерш объяснила мне: «Уж кой-как приспособились, живем, нас не трогают... А что сейчас будет!» Директор не успел завершить свое плановое задание при жизни Сталина и поэтому продолжал работу и после его смерти: ведь каждое изгнание требовало соответствующего оформления. Он успел выгнать двадцать шесть человек, причем не только евреев, но еще явных интеллигентов других национальностей. Во время травли профессора Любищева, биолога, выступившего против Лысенко, директора сняли. Его перевели в другой институт, и сотрудники очень ценят его мягкость и чеховскую внешность. Этот человек был настоящим погромщиком по призванию, а наша лицемерная эпоха охотно пользовалась им из-за его обманчивой внешности. Такого рода мимикрия очень ценилась, и на удочку интеллигентской внешности и мягкого голоса попадалось не мало простаков.

СТИХОЛЮБЫ

Мы провели в Ленинграде два дня. Ночевали у Пуниных, где все старались развеселить О. М. Вызвали даже Андроникова, тогда еще славного юнца, охотно разыгравшего перед О. М.

все свои штучки. Вечером сидели за столом, чокались и разговаривали. Все понимали, перед чем мы стоим, но не хотелось губить последние минуты жизни. Анна Андреевна казалась легкой и веселой; Николай Николаевич шумел и смеялся... Но я заметила, что у него участился тик левой щеки и века.

Днем мы пошли к Стеничу. Блок назвал Стенича русским дэнди. Среди советских писателей он прослыл циником. Не потому ли, что все боялись его острого языка? Стенич тоже разыгрывал сценки, но совсем другого рода, чем Андроников. Еще в середине двадцатых годов у него был коронный номер: Стенич рассказывал, как он боится начальства и как он его любит — так любит, что готов подать шубу директору Госиздата... Этот рассказ он подносил всем писателям, а они принимали его довольно холодно. Легче было счесть Стенича циником, хвастающим собственным подхалимством, чем узнать в изображаемом лице самого себя. Кем же был Стенич — сатириком или циником?

Стенич начинал со стихов. В Киеве в 19 году, в литературном подвале «Хлам», он читал острые стихи, из которых многие запомнили «Заседание Совнаркома», где звучала не заказная, а подлинная современность. Стихи писать он бросил, но остался одним из самых глубоких стихолюбов. Вероятно, он мог бы стать прозаиком, эссеистом, критиком, как сейчас называют эту странную профессию, словом, он бы что-нибудь сделал, но время не благоприятствовало таким, как он. Пока что Стенич жил, вращался среди людей, болтал, шумел и немножко переводил, и его переводы стали образцом для всех переводчиков прозы. Как говорится, он был «стилистом» и нашел современное звучание в переводах американцев. На самом деле он таким способом использовал свои потенции, свое острое чувство времени, современного человека, языка и литературы.

Стенич встретил О. М. объятиями. О. М. рассказал, зачем мы приехали. Стенич вздохнул, что большинство писателей в разъезде, но кое-кто живет на даче. Это, естественно, затрудняло сбор денег. Его успокоила жена — Люба. Она обещала поехать в Сестрорецк, и сразу после обеда, надев кокетливую шляпку, отправилась в путь. Стенич никуда нас не отпустил, и мы у него дождались возвращения Любы. К нему приходили люди повидать нас, среди них Анна Андреевна и Вольпе, тот самый, которого выгнали из редакции «Звезда» за то, что он

напечатал «Путешествие в Армению», да еще с концовкой про царя Шапуха, получившего от ассирийца «один добавочный день». Эта концовка была запрещена цензурой. День, проведенный у Стенича, тоже был «одним добавочным днем»...

Люба вернулась с добычей — немного денег и куча одежды. Среди прочего барахла оказались две пары брюк — одни огромные и широкие, другие точно по мерке. Огромные брюки доехали до Савелова, а там перешли во владение нашего знакомца, уголовника, объяснившего нам, почему стоверстникам нельзя селиться в таких местах, как Александров — «снимут, как пенку». Лишняя пара брюк никогда не заживалась у О. М. Всегда находился кто-нибудь, у кого нет и одной. Шкловский тогда тоже принадлежал к однобрючным людям, а его сын Никита уже готовился к такой же судьбе. Однажды мать спросила его, чего бы он пожелал, если б крестная фея, как в сказке, взялась выполнить его желание. Никита ответил без малейшего раздумья: «чтоб у всех моих товарищей были брюки...» В наших условиях отказ от вторых брюк и забота о безштанных товарищах характеризовала человека больше, чем его слова, а тем более повести, романы, рассказы, очерки и статьи... Советские писатели вообще, по моим наблюдениям, народ крепкий, но при Любе, жене Стенича, было бы непросто отказаться помочь ссыльному...

День, проведенный у Стенича, казался мирным и тихим, но и в него врывалась современность. Стенич дружил с женой Дикого. Она уже сидела, забрали и Дикого. Стенич ждал судьбы. Он боялся за Любу: что с ней будет, если она останется одна? Вечером зазвонил телефон. Люба сняла трубку. Никто не отозвался, и она заплакала. Все мы знали, что иногда таким образом проверяют прежде, чем ехать с ордером, дома ли хозяин. В тот вечер Стенича не взяли. Ему пришлось ждать судьбы до зимы. Когда мы прощались на лестничной площадке, куда выходило несколько квартир, Стенич, указывая на одну дверь за другой, рассказал, когда и при каких обстоятельствах забрали хозяина. На двух этажах он остался едва ли не единственный на воле, если это можно назвать волей. «Теперь мой черед», сказал он... В следующий наш приезд в Ленинград Стенича уже не было, и Лозинский, когда мы к нему зашли, испугался: «Знаете ли вы, что сталось с вашим амфитрионом?» Лозинский думал, что Стенича забрали, потому что мы провели у него

день. И нам пришлось сразу уйти, даже не попросив у Лозинского денег. Мне кажется, что Лозинский переоценивал детективные методы наших карающих органов. Меньше всего дела им было до реальности; опираясь на сеть постоянных стукачей и на доносы добровольцев, они составляли списки, по которым производились аресты. Им нужны были не факты, а имена, чтобы выполнить план. Во время следствий они впрок запасались показаниями арестованных против любого лица, даже против тех, кого они не собирались арестовывать. Я слышала про женщину, которая героически выдержала все пытки и не дала показаний против Молотова. От Спасского требовали показаний против Любы Эренбург, которую он никогда в глаза не видел. Ему удалось передать об этом из лагеря, и Любу поспешили предупредить. Кажется, ей сказала об этом Анна Андреевна. Люба не поверила: «Что за Спасский? Я его не знаю...» Она еще была наивной, но потом все поняла. В застенках росло и пухло дело Эренбурга, Шолохова, Алексея Толстого, которых и не думали трогать. Десятки, если не сотни, людей попали в лагеря по обвинению в заговоре, во главе которого стояли Тихонов и Фадеев. Среди них и уже упомянутый Спасский. Дикие изобретения, чудовищные обвинения — все это становилось самоцелью, и работники органов изощрялись в них, словно наслаждаясь своим самовластием. Основным же принципом следствия оставалось то, что нам поведал в конце двадцатых годов брат Фурманова: «был бы человек, дело найдется...» В тот день, когда мы сидели у Стенича, его имя уже наверное находилось в списках подлежащих аресту, потому что его телефон был записан у Дикого. Дополнительных сведений не требовалось. Принципы и цели массового террора коренным образом отличаются от обычных задач охранительных органов. Террор — это устрашение. Чтобы погрузить страну в состояние непрерывного страха, нужно довести количество жертв до астрономической цифры и на каждой лестнице очистить несколько квартир. Остальные жильцы дома, улицы, города, где прошла метла, будут до конца жизни образцовыми гражданами. Не следует только забывать новых поколений, которые не верят своим отцам, и планомерно возобновлять чистку. Сталин прожил долгую жизнь и следил, чтобы волны террора время от времени увеличивали силу и размах. Но у сторонников террора всегда остается один просчет: всех убить нельзя и среди притаившейся, полубезумной толпы отыщется свидетель.

В первый приезд в Ленинград мы еще ездили к Зощенко в Сестрорецк или Разлив. У Зощенко было больное сердце и прекрасные глаза. «Правда» заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее отовсюду гонят, как жену арестованного. Рассказа, разумеется, не напечатали, но в те годы один Зощенко мог решиться на такую демонстрацию. Удивительно, как это ему тогда сошло, но в счет записано, несомненно, было, и он сразу заплатил по всем счетам.

На вокзал мы уезжали от Пуниных. Ехали мы последним поездом и поэтому из дому вышли после двенадцати, и этой «полночью голубой» город показался Анне Андреевне «не столицею европейской с первым призом за красоту — страшной ссылкой на Енисейск, пересадкой на Читу, на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атабасар, пересадкой на город Свободный в чумный запах гниющих нар показался мне город этот этой полночью голубой — он, прославленный первым поэтом, нами грешными с тобой»... Что ж тут удивительного, что ей так показалось? Нам это всем казалось. Да так и было, только ссылку в эти сравнительно обжитые места уже почти прекратили.

Люба Стенич рассказала забытый мной эпизод: О. М. на вокзале подошел к вокзальной пальме в кадке, что-то на нее повесил и сказал: «араб-кочевник в пустыне»...

Первый приезд в Ленинград дал нам три месяца передышки. К весне, перед отъездом в Саматиху, мы снова решили смотаться в Ленинград, но на этот раз безуспешно. Утром мы зашли к Анне Андреевне, и она прочла О. М. обращенные к нему стихи про поэтов, воспевающих европейскую столицу. Это была последняя встреча Анны Андреевны и О. М. Больше они не виделись: мы условились встретиться у Лозинского, но нам пришлось сразу от него уйти. Она уже нас не застала, а потом мы уехали, не ночуя, успев в последнюю минуту проститься с ней по телефону.

После Лозинского мы долго стояли на улице, не зная, куда пойти. К Маршаку, что ли?

Самуил Яковлевич встретил нас таким певучим приветстви-

ем, что О. М. даже не заговорил про деньги. Завязался литературный разговор. О. М. прочел несколько воронежских стихотворений. Маршак вздохнул; стихи ему не понравились: «не видно, с кем вы встречаетесь, о чем разговариваете... В пушкинскую эпоху»... «Ишь, чего захотел», — шепнул мне О. М., и мы распростились... Потом не застали дома одного писателя, долго ждали его и встретили уже на улице. О. М. попросил денег, но у писателя их не оказалось: истратился — строит дачу... За все время это был второй отказ, первый — Сельвинского. Второго писателя я не хочу называть, мне кажется, что его отказ — случайность, просто недоразумение. Это был вполне приличный человек — мы всегда обращались за помощью к последним тайным интеллигентам, ленинградский же писатель был и интеллигентом, и стихолюбом, а в ту минуту у него замутилось в голове, и он обернулся членом Союза писателей...

В самые последние дни перед отъездом в Саматиху О. М. сказал мне: «Надо пойти попросить денег у Паустовского». Мы не были даже знакомы, и я удивилась. «Он даст», — успокоил меня О. М. Недавно я рассказала об этом старику. «Почему ж вы не пришли?» — огорчился он. «Не успели — О. М. арестовали», — объяснила я Константину Георгиевичу. Он успокоился. «Если б О. М. пришел, я бы все карманы вывернул», — сказал он и рассмеялся своим мелким смешком. Не сомневаюсь, что он бы дал: он ведь был типичным тайным интеллигентом, а сейчас стал явным: больше скрывать не нужно.

До меня недавно дошла сплетня: один крупный чиновник от литературы удивлялся, что за человек такой был Мандельштам — занимал деньги и не возвращал... Мандельштам ему явно не нравится... В легкомысленной молодости О. М., может, действительно не возвращал долгов, но чиновник тогда еще не родился. А то, что было в сталинские годы, не называется «занимал». Это неприкрытое нищенство, к которому он был принужден государством, иначе говоря, той жизнью, что в печати называлась счастливой. Нищенство — еще не худшая сторона этой жизни.

ЗАТМЕНИЕ

«Кому нужен этот проклятый режим!» — сказал Лева Бруни, сунув О. М. деньги на поездку в Малый Ярославец. Осенью стал вопрос о переезде из Савелова, и мы снова изучали карту Подмосковья. Лева посоветовал Малый Ярославец — там он поставил избу для жены и детей своего брата Николая, священника, потом авиаконструктора, а в 37 году — лагерника, кончившего первый срок и уже получившего второй «за преступление, совершенное в лагере», как это тогда называлось. Иначе говоря, он стал «повторником», не успев выйти на свободу даже на один миг. Высланная из Москвы Надя Бруни и ее дети жили уже несколько лет в Малом Ярославце. Они кормились огородом, потому что на корову у Левы не хватило. Лева кормил свою большую семью и всех детей брата. Самому ему, вероятно, и в мирное время перепадало не слишком много еды — это была картофельная жизнь, а после войны он умер от истощения. Это случалось с тайными интеллигентами. Леву все любили. Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба. Ведь и до смерти большинство из нас не живет, а только, притаившись, чего-то ждет и существует ото дня к ночи.

Осенью рано темнеет. Освещен в Малом Ярославце был только вокзал. Мы шли вверх по скользким от грязи улицам и по дороге не заметили ни одного фонаря, ни одного освещенного окна, ни одного прохожего. Нам пришлось постучаться раза два в чужие окна, чтобы узнать дорогу. На наш стук в окне появлялось искаженное страхом лицо. «Как пройти?» — спрашивали мы и с человеком у окна происходила метаморфоза: черты разглаживались, появлялась улыбка и с необычайной охотой нам подробно объясняли дорогу. Когда мы наконец добрались до своей цели, Надя Бруни, выслушав рассказ о том, что происходило с местными жителями при нашем стуке, сказала, что в последние недели в Малом Ярославце участились аресты и местных людей и ссыльных, поэтому народ напуган и сидит притаившись. Во время гражданской войны в домах старались не зажигать света, чтобы не привлечь

внимания бродячих кондотьеров: вдруг вздумают и заявятся на огонек... В оккупированных немцами городах тоже сидели в темноте. В тридцать седьмом году освещенное окно не играло никакой роли: аресты производились не самочинно, а по ордерам. И все же люди пораньше заваливались спать, лишь бы не зажигать лампу. Должно быть, действовал первобытный инстинкт: в темной норе безопаснее, чем на свету. И я сама знаю это чувство: услыхав машину, останавливающуюся у дома, невольно тушишь свет...

Ночной городок привел нас в такой ужас, что переночевав у Нади Бруни, мы наутро сбежали в Москву. Левиного совета мы не приняли: нужна была сила духа скромной и нежной Нади Бруни, чтобы вынести этот страх, как платком покрывший весь город. Правильнее было бы сказать — всю страну, но в деревнях и больших городах это ощущалось не так сильно.

Следующим консультантом оказался Бабель. Он, кажется, никогда не жил в писательских домах, а всегда как-то неожиданно, не так, как другие. Мы с трудом отыскали его в каком-то непонятном особняке. Мне смутно помнится, будто в этом особняке жили иностранцы, а Бабель снимал у них комнаты на втором этаже. А может, он так нам сказал, чтобы мы удивились. Он очень любил удивлять людей... Ведь иностранцев боялись, как огня: за самое поверхностное знакомство с ними летели головы. Кто бы решился поселиться у иностранцев? Я до сих пор не могу опомниться от удивления и не знаю, в чем там было дело. Бабель всегда нас чем-нибудь поражал, когда мы встречались.

Мы рассказали Бабелю о наших бедах. Разговор был долгий, и он слушал нас с необычайным любопытством. Весь поворот головы, рот, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и в людей.

Судьбу нашу Бабель решил быстро — он умел хватать быка за рога. «Поезжайте в Калинин, — сказал он, — там Эрдман — его любят старушки...» Бабель, конечно, говорил о молодых старушках, и его слова означали: Эрдман в плохом месте не поселится — его поклонницы бы этого не допустили. Эрдмановских «старушек» Бабель считал возможным использовать в случае нужды и для нас — комнату, например, найти... Для этого достаточно и местных «бабушек»... Бабель все же переоценивал власть Эрдмана над «старушками» — в Калинине мы их не обнаружили: видно Эрдман все же ездил к ним, а не они к нему. Впрочем, кто знает женские сердца...

Деньги на переезд Бабель вызвался достать сам на следующий день, и разговор перешел на другие рельсы.

Бабель рассказал, что встречается только с милиционерами и только с ними пьет. Накануне он пил с одним из главных милиционеров Москвы, и тот спьяна объяснял, что поднявший меч от меча и погибнет. Руководители милиции действительно гибли один за другим... Вчера взяли этого, неделю назад того... «Сегодня жив, а завтра черт его знает, куда попадешь...»

Слово «милиционер» было, разумеется, эвфемизмом. Мы знали, что Бабель говорит о чекистах, но среди его собутыльников были, кажется, и настоящие милицейские чины.

О. М. заинтересовался, почему Бабеля тянет к «милиционерам». Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты? «Нет, — ответил Бабель, — пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?»...

Известно, что среди «милиционеров», которых посещал Бабель, был и Ежов. После ареста Бабеля, Катаев и Шкловский ахали, что Бабель, мол, так трусил, что даже к Ежову ходил, но не помогло, и Берия его именно за это взял... Я уверена, что Бабель ходил к нему не из трусости, а из любопытства — чтобы потянуть носом: чем пахнет?

Тема: «что будет завтра с нами» — была основной во всех наших разговорах. Бабель — прозаик — вкладывал ее в уста третьих лиц — «милиционеров». О. М. обходил ее молчанием: его завтрашний день уже наступил. Только раз его прорвало: встретив случайно на улице совершенно чужого нам человека — Шервинского, О. М. вдруг объяснил ему, что с ним «так продолжаться не может...» «Я у них все время на глазах. Они совершенно не знают, что со мной делать. Значит, они меня скоро посадят...» Это был горячий и короткий разговор. Шервинский слушал молча. После смерти О. М. мне иногда случалось с ним встречаться, но он мне никогда об этом разговоре не напоминал. Я бы не удивилась, если б он забыл: приходилось забывать о неприятном — его было слишком много.

БЫТОВАЯ СЦЕНКА

Ежова знал не только Бабель, но кажется, и мы. Тот Ежов, с которым мы жили в тридцатом году в Сухуме на правительственной даче, удивительно похож на Ежова портретов и фотографий 37-ого, и особенно разительно это сходство на фото, где Сталин ему, сияющему, протягивает для рукопожатия руку и поздравляет с правительственной наградой. Сухумский Ежов как будто тоже хромал, и мне помнится, как Подвойский, любивший морализировать на тему, что такое истинный большевик, ставил мне, лентяйке и бездельнице, в пример «нашего Ежова», который отплясывал русскую, несмотря на больную ногу и даже на зло ей... Но Ежовых много, и мне не верится, что нам довелось видеть легендарного наркома на заре его короткой, но ослепительной карьеры. Нельзя же себе представить, что сидел за столом, ел и пил, перебрасывался случайными фразами и глядел на человека, продемонстрировавшего такую волю к убийству, развенчавшего не в теории, а на практике все посылки гуманизма.

Сухумский Ежов был скромным и довольно приятным человеком. Он еще не свыкся с машиной и потому не считал ее своей исключительной привилегией, на которую не смеет претендовать обыкновенный человек. Мы иногда просили, чтобы он нас довез до города, и он никогда не отказывал. А там, на правительственной даче, этот вопрос стоял остро. На нашу горку все время взлетали машины абхазского Совнаркома. Дети отдыхающих работников ЦК отгоняли чумазую ребятню — детей служащих — от машин, которые принадлежали им по праву рождения от ответственных работников, и важно в них рассаживались. О. М. как-то показал Тоне, жене Ежова, и другой цекистской даме на сцену изгнания чумазых. Женщины приказали детям потесниться и пустить чумазых посидеть в машине. Они очень огорчились, что дети нарушают демократические традиции их отцов, и рассказали нам, что их посылают в общие школы и одевают ничуть не лучше их товарищей,

«чтобы они не отрывались от народа». Дети пока что готовились управлять народом, но многих из них ждала другая участь.

По утрам Ежов вставал раньше всех, чтобы нарезать побольше роз для молодой литературоведки, приятельницы Багрицкого, за которой он ухаживал. Вслед за ним выбегал Подвойский и тоже бросался резать розы для обиженной жены Ежова. Это был чисто рыцарский дар, как говорили жильцы правительственной дачи, потому что Подвойский — образцовый семьянин и ни за чьими женами, кроме собственной, не ухаживает. Прочие дамы, за которыми никто не ухаживал, сами украшали букетами свои комнаты и обсуждали романтическое поведение Подвойского.

Тоня Ежова — кажется, ее звали Тоней — проводила дни в шезлонге на площадке против дачи. Если ее огорчало поведение мужа, она ничем этого не показывала — Сталин еще не начал укреплять семью. «Где ваш товарищ?», спрашивала она, когда я бывала одна. В первый раз я не поняла, что она говорит об О. М. В их кругу еще сохранялись обычаи подпольных времен, и муж в первую очередь был товарищем. Тоня читала «Капитал», и сама себе тихонько его рассказывала. Она сердилась на бойкую и умненькую жену Коссиора, потому что та ездила кататься верхом с молодым и нагловатым музыкантом, собиравшим абхазский фольклор. «Мы все знаем Коссиора, — говорила Тоня, — он наш товарищ... А кто этот человек? Ведь он может оказаться шпионом!» Все осуждали легкомыслие Лакобы, поселившего на такую ответственную дачу чужого человека. Вероятно, присутствие любого беспартийного на этой даче вызывало толки среди «своих», но Лакоба ни с кем не считался, потому что дача принадлежала абхазскому Совнаркому, то есть ему. Я даже слышала толки, что пора централизовать распределение мест в партийные места отдыха...

Рядом с нами, в маленькой комнате третьего этажа, жил член ЦК старшего поколения, латыш и умный человек. Он держался со всеми осторожно и отчужденно и разговаривал только с О. М. Мы часто слышали тревожные нотки в его разговорах и недоумевали. «Четвертая Проза» уже была написана, и мы знали, что с литературой дело обстоит плохо, но наш-то латыш литературой не занимался, он был просто одним из руководящих партийных работников, ни в каких уклонах его не обви-

няли — откуда же тревога и непрерывно проскальзывавшая тема: «что будет завтра?». Больше о нем я ничего не знаю, но он не мог не участвовать в «Съезде победителей», и поэтому не трудно догадаться, что с ним произошло: задним умом мы все крепки.

По вечерам приезжал Лакоба поиграть на бильярде и поболтать с отдыхающими в столовой у рояля. Эта дача с избранными гостями была для него единственной отдушиной, где он мог поразвлечься и поговорить по душам. Однажды Лакоба привез нам медвежонка, которого ему подарили горцы. Подвойский взял звереныша в свою комнату, а Ежов отвез его в Москву в Зоологический сад. Лакоба умел развлечь людей интересным рассказом. Он рассказал нам про своего предка, который пошел пешком в Петербург, чтобы пригласить кровного врага, кажется, князя Шервашидзе, к себе в Сухум на обед. Шервашидзе решил, что это конец кровной вражды и принял приглашение. За свое легковерие он был убит. На О. М. рассказ Лакобы произвел большое впечатление, ему послышался в нем какой-то второй план. Нам говорили, что в 37 году Лакобы уже не было в живых. Похоронили его на почетном месте, вроде абхазской кремлевской стены, а Сталин, разгневавшись за что-то на покойника, велел вырыть его прах и предать уничтожению. Если этот вариант правильный, можно только порадоваться за Лакобу, что он успел во время умереть.

Это Лакоба пригласил нас на правительственную дачу, потому что мы приехали с бумагой ЦК отдыхать перед путешествием в Армению. Из писателей там были Безыменский и Казин, и оба чувствовали себя вполне на месте, чего нельзя сказать про нас.

В день смерти Маяковского мы гуляли по саду с надменным и изящным грузином, специалистом по радио. В столовой собрались отдыхающие, чтобы повеселиться. По вечерам они обычно пели песни и танцевали русскую, любимую пляску Ежова. Наш спутник сказал: «Грузинские наркомы не стали бы танцевать в день смерти грузинского национального поэта». О. М. кивнул мне: «Пойди, скажи Ежову...» Я вошла в столовую и передала слова грузина разгоряченному весельем Ежову. Танцы прекратились, но кроме Ежова, по-моему, никто не понял почему... За несколько лет до этого, в 23 году, О. М. остановил Вышинского, громко смеявшегося и разговаривавшего, когда какой-то молодой поэт читал стихи. Это произошло в санатории Цекубу — Гаспре. Мы терпеть не могли санатории и дома отдыха, но изредка ездили туда, если уж совсем некуда было деваться. От них почему-то пахло смертью.

САМОУБИЙЦА

Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма — ради какой бы то ни было цели — к добру не приведет? Кто знал, что мы встаем на гибельный путь, провозгласив, что нам «все дозволено»? Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал. Теперь их попрекают «абстрактным гуманизмом», а в двадцатые годы над ними потешался каждый, кому не лень. Они были не в моде. Их называли «хилыми интеллигентишками» и рисовали на них карикатуры. К ним применялся еще и другой эпитет: «мягкотелые». «Хилым» и «мягкотелым» не нашлось места среди тридцатилетних сторонников «нового». Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотелых» на «Вороньей слободке». Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристает к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются. Нечто вроде этого случилось и с гораздо более глубокой вещью — эрдмановским «Самоубийцей», которым восхищался Горький и пытался поставить Мейерхольд... По первоначальному замыслу пьесы, жалкая толпа интеллигентишек, одетых в отвратительные маски, насел дает на человека, задумавшего самоубийство. Они пытаются использовать его смерть в своих целях — в виде протеста против трудности их существования, в сущности, безысход-

ности, коренящейся в их неспособности найти свое место в новой жизни. Здоровый инстинкт жизни побеждает, и намеченный в самоубийцы, несмотря на то, что уже устроен в его честь прощальный банкет и произнесены либеральные речи, остается жить, начихав на хор масок, толкающих его на смерть.

Эрдман, настоящий художник, невольно в полифонические сцены с масками обывателей — так любили называть интеллигентов, и «обывательские разговоры» означало слова, выражающие недовольство существующими порядками — внес настоящие пронзительные и трагические ноты. Сейчас, когда всякий знает и не стесняется открыто говорить о том, что жить невозможно, жалобы масок звучат, как хоры замученных теней. Отказ героя от самоубийства тоже переосмыслился: жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь... Сознательно ли Эрдман дал такое звучание или его цели были попроще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный — анти-интеллигентский или анти-обывательский — замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство.

А сам Эрдман обрек себя на безмолвие, лишь бы сохранить жизнь.

В Калинине он жил в маленькой узкой комнатке, где помещалась койка и столик. Когда мы пришли, он лежал — там можно было только лежать или сидеть на единственном стуле. Он немедленно отряхнулся и повел нас на окраину, где иногда в деревянных собственных домах сдавались комнаты. Навещал он нас довольно часто, но всегда без своего соавтора и антипода — Миши Вольпина. Приходил он, вероятно, в дни, когда Миша ездил в Москву.

Эрдман попался, как известно, за басни, которые Качалов по легкомыслию прочел на кремлевской вечеринке, иначе говоря, тому кругу, с которым мы жили на правительственной даче в Сухуме, где спутника жены Коссиора сразу заподозрили в шпионаже... В тот же вечер все остроумцы были арестованы и высланы, причем Миша Вольпин попал не в ссылку, а в лагерь — у него, насколько я знаю, были старые счеты с органами, и он еще мальчишкой успел им насолить... Говорят, что Эрдман подписывался в письмах к матери «мамин сибиряк» и сочинил прощальную басню: «Раз ГПУ, зайдя к Эзопу, схватило старика за ж... Смысл этой басни, видно, ясен: довольно этих самых басен!»... Такова была жизненная программа Эрдмана, и больше до нас не доходило ни басен, ни шуток — этот человек стал молчальником. В противоположность О. М., который отстаивал свое право на «шевелящиеся губы», Эрдман запер свои на замок. Изредка он наклонялся ко мне и сообщал сюжет только что задуманной пьесы, которую он заранее решил не писать. Одна из ненаписанных пьес строилась на смене обычного и казенного языков. В какой момент служащий, отсидевший положенное число часов в учреждении, сменяет казенные слова, мысли и чувства на обычные, общечеловеческие? Впоследствии об этом писал Яшин...

Услыхав об аресте О. М., Эрдман произнес нечто невнятное, вроде: «Если таких людей забирают», — и пошел меня провожать...

Во время войны, когда мы жили в эвакуации в Ташкенте, к моему брату заявилось двое военных. Один был Эрдман, другой — без умолку говоривший Вольпин. Вольпин говорил о поэзии: поэзия должна быть интересна, мне интересно читать Маяковского, мне интересно читать Есенина, мне не интересно читать Ахматову... Вольпин был воспитанником Лефа и знал, что ему интересно. Эрдман молчал и пил. Потом они встали и поднялись в балахану к Ахматовой, жившей над моим братом.

Изредка я встречаю Эрдмана и Вольпина у Ахматовой. Эрдман, увидав меня, говорит: «Это вы, я рад». Потом он пьет и молчит. Говорит Вольпин. Они работают вместе и, кажется, вполне благополучны.

Как-то летом в Тарусе жил Гарин. Он жаловался на современный театр и тосковал. По вечерам возникали споры: где обстоит хуже — в литературе, театре, живописи или музыке. Каждый отстаивал свою область и утверждал, что она занимает самое первое место по силе падения. Однажды Гарин прочел нам Эрдмановского «Самоубийцу», пьесу, которая не увидела сцены, и я услышала, что она звучит по-новому: а я вам расскажу, почему вы не разбили себе голову и продолжаете жить...

А анти-интеллигентские выпады продолжаются. Анти-интеллигентская направленность — наследие двадцатых годов, и надо с ней кончать.

Многие обидятся за упомянутые вскользь «Двенадцать

стульев». Я сама смеялась и смеюсь над разными жульническими эпизодами и ахаю, как это авторы осмелились написать, что Остап Бендер с прочими одесскими жуликами, войдя в писательский вагон, идущий по вновь открытой линии Турксиба, растворился среди своих пишущих собратий и всю дорогу проехал неузнанным и неразоблаченным. Но над «Вороньей слободкой» смеяться грех. Люди в этом разрушающемся доме, конечно, одичали, и женщины, имевшие хоть какую-нибудь рыночную цену, не могли не удрать от своих мужей. Хоть рыбы и не всегда ищут, где глубже, но все же разгуливать им по песку не так просто... И легче всего смеяться над тем, кто уже задушен.

ВЕСТНИК НОВОЙ ЖИЗНИ

Мне придется признаться в неисправимом оптимизме: подобно тем, кто в начале столетия верил, что жизнь должна, обязана, не смеет не стать лучше, чем была в девятнадцатом столетии, так и я сейчас абсолютно убеждена, что мы сейчас находимся накануне полной победы гуманизма и высокой человечности. Это относится и к социальной справедливости, и к культуре, и к чему угодно. Мой оптимизм не поколеблен даже жестоким опытом первой половины нашего неслыханного столетия. Скорее даже наоборот: то, что пережито нами, надолго отвратит людей от многих соблазнительных на первый взгляд теорий, которые утверждают, что цель оправдывает средства и что «все позволено...» О. М. приучил меня верить, что история есть проверка в действии и на опыте путей добра и зла. Мы проверили пути зла. Захотим ли мы на них возвращаться? Не крепнут ли среди нас голоса, говорящие о совести и добре? Мне кажется, что мы стоим на пороге новых дней. Я ловлю симптомы нового мироощущения. Их мало. Они почти незаметны. Но все же они есть. К несчастью, мою веру и мой оптимизм не разделяет почти никто. Люди, отличающие добро от зла, ждут скорее нового

рецидива бед и злодеяний. Я понимаю возможность рецидивов, но общий путь представляется мне ясным. Кто из нас прав? Жизнь покажет, а, может, уже кое-что показала.

Я должна, конечно, оговориться: никакого особого триумфа добра я, разумеется, не жду. Речь идет совсем о другом — меня интересуют ведущие идеи, а не крокодиловы слезы будущих жандармов. Не в них дело. Мы были свидетелями того, как восторжествовала воля к злу после того, как ценности гуманизма подверглись поношению и были растоптаны в прах. Причина, вероятно, кроется в том, что они, то есть ценности, не были обоснованы ничем, кроме восторга перед человеческим интеллектом. Думаю, что сейчас они должны получить лучшее обоснование, хотя бы потому, что мы невольно пересматриваем наш опыт и видим ошибки и преступления прошлого. Сейчас соблазны прошлого отгорели: Россия некогда спасла европейскую христианскую культуру от татар, сейчас она спасала ее от рационализма и его следствия — воли к злу. И это стоило ей больших жертв. Могу ли я поверить, что они были бесплодны?

У меня есть приятель, еще совсем молодой, но умный и мрачный не по возрасту. Из всех поэтов он больше всего ценит Блока, потому что тот метался в предчувствии гибели русской культуры. Этот блоколюбец презирает меня за бабушкины розовые очки. По его мнению, культура, как предсказывал Блок, действительно погибла, и мы похоронены под ее развалинами. Этот пессимист не замечает, какие сдвиги произошли со времени нашего первого знакомства. Он пришел ко мне сразу после Двадцатого съезда, когда растерянные люди спрашивали: «Зачем нам это сказали?» — одним не хотелось слышать про неприятное, другие — готовившиеся управлять — огорчались, что это занятие внезапно стало труднее, чем раньше; а кое-кто растерянно вздыхал, сообразив, что старыми способами уже карьеры не сделаешь и придется искать новых... Эту эпоху принято называть «оттепелью», потому что кто-то поверил, что люди получат сверху разрешение говорить полным голосом. Расчет на разрешение не оправдался, но не все понимают, что не в этом дело. Дело в людях, в каждом отдельном человеке и в его мироощущении. Сама потребность в разрешении — это остаток прошлой эпохи с ее верой в авторитет, санкцию и инструктивные указания, с ее страхом

кары и ужасом перед начальственным окриком. Этот ужас может вернуться, если опять отправят в лагеря несколько миллионов граждан, но каждый из этих миллионов будет сейчас выть. Их семьи будут выть. Их друзья и соседи будут выть. И это немало.

Мой приятель пришел ко мне в первый раз, когда я жила в черном и грязном бараке, где разместилось общежитие преподавателей чебоксарского пединститута. Всюду стоял смрад и висела керосиновая копоть. В моей комнате было холодно, как на дворе: одно из бревен второго этажа оборвалось и повисло наружу, грозя обвалиться на головы играющих детей. Ветер, пахнущий талым снегом, свободно гулял по комнате. Гость объяснил мне, что он так любит О. М., что не мог удержаться, чтоб не зайти ко мне. Он пришел прямо с улицы, не запасшись письмами от общих знакомых, по которым я могла бы определить, к какому разряду людей он относится. Но всей своей повадкой и, главным образом, выражением глаз, он сразу внушил мне доверие. Я пригласила его сесть и заговорила с ним так, как никогда бы не стала разговаривать со случайным посетителем. Я сказала: «Когда ко мне кто-нибудь заходит и говорит, что любит Мандельштама, я знаю, что это стукач. Он либо подослан, либо пришел по собственной инициативе, чтобы потом сделать хорошенький донос. Это продолжается уже двадцать лет. Со мной никогда просто не говорят о Мандельштаме: литературные люди, которые когда-то читали его стихи, никогда в разговоре со мной его не упоминают. Я говорю это вам, потому что вы произвели на меня хорошее впечатление. Вы вызвали во мне доверие. Но я не могу говорить даже с вами о Мандельштаме и о его стихах. Вы теперь понимаете, почему...»

Гость ушел. Через два приблизительно года я узнала, что у нас есть общие знакомые и передала ему приглашение зайти. Ошарашенный первой встречей, он пришел с явной неохотой, но вскоре все позабылось. Не знаю, понял ли он, что все сказанное мной при первой встрече было актом глубочайшего доверия, которое он сумел мне внушить всем своим обликом...

С тех пор прошло немного лет, а я спокойно отвечаю каждому, кто спрашивает меня про Мандельштама — и все это люди новых поколений, хотя старшие тоже иногда вдруг возьмут да что-нибудь скажут... Мы разговариваем сейчас о множестве вещей, которые раньше были под полным запретом, и большинство людей моего круга не смели, не хотели и отвыкли о них думать. Мало того, мы сейчас не желаем знать, запретны ли еще какие-нибудь темы. Мы с этим не считаемся. Мы об этом забыли. Но это еще не все. Молодые интеллигентные люди двадцатых годов охотно собирали информацию для начальства и для органов. Они считали, что это делается для блага революции, для ее охраны и для таинственного большинства, которое заинтересовано в охране порядка и в укреплении власти. С тридцатых годов и вплоть до смерти Сталина они продолжали делать то же самое, только мотивировка изменилась. Стимулом стала награда, выгода или страх. Они несли куда следует стихи Мандельштама и их доносы на сослуживца в надежде, что за это напечатают их собственные опусы или повысят их по службе. Другие это делали из самого примитивного страха: лишь бы не взяли, не посадили, не уничтожили... Их запугивали, а они пугались. Им бросали подачку, а они хватали ее. К тому же их заверяли, что их деятельность никогда не выплывет наружу, не станет явной. Последнее обещание было выполнено, и эти люди спокойно доживают свои дни, пользуясь всеми скромными преимуществами, которые они получили за свою деятельность. А сейчас те, кого вербуют, уже не верят ни в какие гарантии... К прошлому нет возврата. Поколения сменились, и новые далеко не так запуганы и покорны, как прежние. И главное — их нельзя убедить, что их отцы поступали правильно, они не верят, что «все позволено». Это, конечно, не значит, что сейчас нет стукачей. Просто изменилась пропорция. Если раньше я могла ждать удара в спину от каждого юноши, не говоря уже о растленных людях моего поколения, то сейчас среди моих знакомых может затесаться подлец, но только случайно, только хитростью, а скорее всего даже подлец не сделает подлости, потому что в новых условиях ему это невыгодно и от него все отвернутся. Среди той новой интеллигенции, которая образуется на наших глазах, уже не в чести веселая поговорка «Правда по-гречески значит «мрия»: никто не повторит сейчас с сочувствием: «лес рубят, щепки летят», и даже не скажет: «против рожна не попрешь». Иначе говоря, снова образуются ценности, которые казались навсегда отмененными, и даже тот, кто мог бы по своему характеру обойтись без этих ценностей, теперь вынужден с ними считаться. Так случилось,

и при этом неожиданно, для тех, кто помнил об этих ценностях, и для тех, кто их похоронил. Где-то ценности жили подспудно, они бытовали в тиши замкнутых жилищ с притушенными огнями. Сейчас они в движении и набирают силу. Инициатором пересмотра ценностей была интеллигенция. Пересмотрев их, она переродилась и стала чем угодно, но только не интеллигенцией. Сейчас идет обратный процесс. Он удивительно медленный, и у нас не хватает терпения. Откуда нам взять его? Мы уже натерпелись...

Никто не может определить, что такое интеллигенция, и чем она отличается от образованных классов. Это понятие историческое; оно появилось в России и от нас перешло на Запад. У интеллигенции много признаков, но даже совокупность их не дает полного определения. Исторические судьбы интеллигенции темны и расплывчаты, потому что этим именем часто называют слои, не имеющие на это права. Разве можно назвать интеллигенцией технократов и чиновников, даже если у них есть дипломы, или если они пишут романы и поэмы? В период капитуляции над подлинной интеллигенцией издевались, а ее имя присвоили себе капитулянты. Что же такое интеллигенция?

Любой из признаков интеллигенции принадлежит не только ей, но и другим социальным слоям: известная степень образованности, критическая мысль и связанная с ней тревога, свобода мысли, совесть, гуманизм... Последние признаки особенно важны сейчас, потому что мы увидели, как с их исчезновением исчезает и сама интеллигенция. Она является носительницей ценностей и при малейшей попытке к их переоценке немедленно перерождается и исчезает, как исчезла в нашей стране. Но ведь не только интеллигенция хранит ценности. В народе они сохраняли свою силу в самые черные времена, когда от них отрекались на так называемых культурных верхах... Быть может, дело в том, что интеллигенция не стабильна и ценности в ее руках принимают динамическую силу. Она склонна и к развитию и к самоуничтожению. Люди, совершавшие революцию и действовавшие в двадцатые годы, принадлежали к интеллигенции, отрекшейся от ряда ценностей ради других, которые она считала высшими. Это был поворот на самоуничтожение. Что общего у какого-нибудь Тихонова или Федина с нормальным русским интеллигентом? Только очки и вставные зубы. А вот новые — часто еще мальчишки — их сразу можно

узнать и очень трудно объяснить, каковы те признаки, которые делают их интеллигентами. Остроумец-языковед Иесперсен, наслушавшись споров о том, как отличать части речи, сказал: «Народ знает, как отличить имя от глагола, как собака умеет отличать хлеб от глины...» Итак, они появились, и это процесс необратимый — его не может остановить даже физическое уничтожение, к которому так рвутся представители прошлого. Сейчас репрессии против одного интеллигента порождают десятки новых. Мы это наблюдали во время дела Бродского.

У русской интеллигенции есть один особый признак, который, вероятно, чужд Западу. Среди преподавателей провинциальных кафедр западной филологии я только раз встретила интеллигентку. Родом она из Черновиц и зовут ее Марта. Пораженная, она спрашивала меня, почему студенты, которые ищут добра и правды, неизбежно увлекаются поэзией. Это действительно так, и это — Россия. Однажды О. М. спросил меня, вернее, себя, что же делает человека интеллигентом. Само слово это он не употребил — оно в те годы подверглось переосмыслению и надругательству, а потом оно перешло к чиновным слоям так называемых свободных профессий. Но смысл был именно этот. «Университет? — спрашивал он. — Нет... Гимназия?... Нет... Тогда что же? Может, отношение к литературе?... Пожалуй, но не совсем...» И тогда, как решающий признак, он выдвинул отношение человека к поэзии. У нас поэзия играет особую роль. Она будит людей и формирует их сознание. Зарождение интеллигенции сопровождается сейчас небывалой тягой к стихам. Это золотой фонд наших ценностей. Стихи пробуждают к жизни и будят совесть и мысль. Почему так происходит, я не знаю, но это факт.

Мой приятель, любитель Блока, в котором он черпал силу для своего пессимизма, был первым вестником возрождения интеллигенции, которая пробуждается, переписывая и читая стихи. Его пессимизм не оправдан. Поэзия делает свое дело. Все пришло в движение. Мысль живет. Хранители огня прятались в затемненных щелях, но огонь не угас. Он есть.

ПОСЛЕДНЯЯ ИДИЛЛИЯ

Москва затягивала — разговоры, новости, добывание денег... Опомнившись, мы мчались к последнему поезду, чтобы не ночевать лишний раз в запрещенном городе. Случалось, мне уступали место в переполненном вагоне и разговаривали со мной со странным сочувствием. О. М. как-то рассказал об этом Пясту. Пяст фыркнул — у него был такой смешок, похожий на фырканье: «Это потому, что она так одета, — они думают, что это она, а не вы...» Ходила я тогда в кожухе, и Пяст хотел сказать, что мне сочувствуют, потому что меня принимают за ссыльную. В Москве столько народу от нас шарахалось именно за это, что сочувствие чужих людей в смазных сапогах показалось неожиданным подарком. Кожух, кстати, играл только добавочную роль, потому что это продолжалось и в других обстоятельствах.

Еще в вагоне у нас с О. М. начинался спор, брать ли в Калинине извозчика. Мне думалось, что лучше пойти пешком и сохранить деньги на лишний день калининской передышки. О. М. держался противоположного мнения: один день ничего не меняет и все равно придется ехать в Москву «устраивать дела». Это были вариации обычной в последние годы его жизни темы: «Так больше продолжаться не может». В Калинине мы только об этом и говорили, но никаких дел не было и ничего устроить мы не могли.

Спор разрешался просто: у вокзала торчало два-три извозчика. Этих частников уже успели разорить налогами и уничтожить, как класс. На них набрасывалась целая толпа, и они исчезали с более удачными и быстрыми седоками, а нам оставалось только идти пешком.

На мостах через Волгу и Тьмаку дул пронзительный ветер — тот ветер ссылок и правительственных гонений, о котором я уже говорила. В предместье, где мы снимали комнату, осенью стояла непролазная грязь, а зимой мы тонули в снегу. Люди там могут жить только потому, что они никуда не выходят; на службу и обратно... О. М. задыхался и твердил, что мы напрасно поскупились на извозчика, а я плелась за ним.

На стук нам открывала хозяйка, высокая, сухощавая женщина, лет под шестьдесят. Хмуро оглядев нас, она спрашивала, не голодны ли мы. Хозяйка хмурилась не потому, что мы ее разбудили среди ночи. Ей было свойственно хмуриться, и она никогда не улыбалась. Быть может, ей казалось, что матери семейства, жене и хозяйке большого пятистенного дома не к лицу улыбка. Мы заверяли ее, что не голодны — закусили в Москве перед отъездом... Она молча исчезала на своей половине, но через секунду появлялась у нас в комнате с кружкой молока и остатками собственного обеда — оладьями, картошкой, капустой... Зимой зарезали свинью, и она приносила еще кусок мяса: «Ешьте — свое, не купленное...» Наши женщины своего труда никогда не считают: все, что выросло на огороде или в хлеву, это «свое», денег не стоит, Богом данное... Пока мы ели, она стояла рядом и расспрашивала, чего мы добились в Москве — возвращения или хоть работы... Говорили мы тихо, чтобы не разбудить других жильцов, мужа и жену, тоже стоверстников, спавших за дощатой, не доходившей до потолка перегородкой. Сосед наш, ленинградец, бывший секретарь Щеголева, отсиживался в Калинине после лагеря или ссылки. Когда по совету прохожих, мы постучались к Татьяне Васильевне—так звали нашу хозяйку—ленинградец вышел на голоса и узнал О. М. Хозяйка, узнав, что мы не проходимцы, сдала нам комнату, и это было большой удачей. Это у нас всегда так трудно, как, я думаю, было в послевоенной Европе, когда города стояли после бомбежек в развалинах. А, может, еще труднее.

Татьяна Васильевна жила с мужем, рабочим-металлургом. Властвовала она в доме безраздельно, и ее муж, добрый и мягкий человек, охотно ей подчинялся. Они только всегда сохраняли декорум: Татьяна Васильевна не решала ничего, пока не спросит хозяина, — нас пригласили выпить чаю, а придет хозяин, решит, сдавать ли комнату; а хозяин на все отвечал — «как мать». И против новых жильцов он не возражал, а с О. М. вскоре подружился — их объединяла общая страсть к музыке. К серебряной свадьбе сыновья—они вышли «в большие летчики» и один из них даже представлялся Сталину—подарили отцу патефон и кучку пластинок. То были все больше песни, модные тогда среди комсомольцев и военных. Старик предпочел сыновьему «горлодранству» несколько пластинок, раздобытых О. М.: Бранденбургский концерт, какую-то церковную вещь Дворжака, старых

итальянцев и Мусоргского. Пластинки добывались тогда с большим трудом и набор их был совершенно случайный, но мужчинам они доставляли массу радости. По вечерам, когда мы бывали в Калинине, они устраивали концерты, а Татьяна Васильевна ставила самовар и поила чаем с домашним вареньем. О. М. только все норовил заварить по-своему и рассказывал, что первое, на что тратил, получив деньги Шевченко, был фунт чаю... За чаем О. М. обычно просматривал газету; хозяину, как кадровому рабочему, удалось выписать «Правду».

Как я заметила, в рабочих семьях в то суровое время разговаривали гораздо более прямо и открыто, чем в интеллигентских. После московских недомолвок и судорожных оправданий террора мы терялись, слыша беспощадные слова наших хозяев. Нас ведь научили молчать, и Татьяна Васильевна на какую-нибудь уклончивую реплику О. М. говорила, с жалостью глядя на него: «Ничего не поделаешь — все вы пуганные...»

Уже отцы и деды наших хозяев работали на заводах. Татьяна Васильевна не без гордости объясняла: «мы потомственные пролетарии». Она помнила политических агитаторов, которых ей приходилось в царские времена прятать у себя в доме: «говорили одно, а что вышло!» К процессам оба относились с полным осуждением: «Нашим именем какие дела творятся», — говорил хозяин с отвращением отбрасывая газету. «Их борьба за власть», — вот как он понимал происходящее. Что все это называлось диктатурой рабочего класса, приводило обоих в ярость: «заморочили вам голову нашим классом» или: «власть, говорят, за нашим классом, а пойди, сунься — покажут тебе твой класс...» Я изложила старикам теорию о том, что классами руководят партии, а партиями вожди. «Удобно», — сказал старик... У обоих было понятие пролетарской совести, от которого они не желали отказываться.

В этой семье остро стоял вечный в России вопрос отцов и детей. Успеху сыновей наши хозяева не радовались и в его прочность не верили: «Внизу нас много — уцелеть легче, а наверх заберешься, того и гляди полетишь», — повторяла Татьяна Васильевна. Отец же смотрел в корень вещей — он не доверял детям. При них он не решался ни о чем говорить: «Враз донесут — известно, какие теперь дети...» Но до самого больного места мы добрались не сразу — чтобы узнать, что больше всего

мучало родителей, надо было раньше вместе съесть пресловутый пуд соли.

Татьяна Васильевна держала корову — «с одной рабочей зарплаты сынов не вырастишь, только корова и спасла». Корова была единственной точкой соприкосновения этой семьи с деревней, потому что вся семья уже давно перекочевала в город — «в пролетарский класс». А сено для коровы покупалось у колхозников и сделка совершалась за столом — вокруг самовара. Татьяна Васильевна за этими чаепитиями наслушалась разговоров о коллективизации, планах и трудоднях... Однажды, разгоряченная очередным разговором, она, проводив гостей, пришла к нам в комнату и рассказала О. М., как ее старшего сына еще комсомольцем послали на раскулачивание. Он пробыл в деревне довольно долго и, вернувшись, ничего не сказал родителям, ни на один их вопрос не ответил, а вскоре совсем покинул отчий дом. «Что он там творил? И не узнаешь! Зачем только растила...» Разговаривая с колхозниками, Татьяна Васильевна всегда прикидывала в уме, что там мог наделать в деревне ее первенец, а муж успокаивал ее: «Брось, мать, все они теперь такие...»

Мы вскоре заметили своеобразную черту наших хозяев — эти трезвые люди, так правильно судившие о нашей жизни, не одобряли никаких форм политической борьбы, никакой активности вообще. Читая отчеты о процессах, хозяин говорил: «Зачем лезли? Ведь зарплату хорошую получали». Он все-таки подозревал, что какая-то активность жертвами процессов проявлена была, а нас приводила в ужас мысль, что никто даже пальцем не шевельнул, чтобы помешать захвату власти Сталиным. Наоборот, все порознь помогали ему загонять в угол его очередную жертву. Но хозяин помнил, какими «они были раньше» и поэтому подозревал, что «все-таки мельтешились». А к О. М. оба относились хорошо, потому что считали его пассивной жертвой режима — «ему-то до власти никакого дела нет, он ведь просто свое сочинял...» Они были бы довольны сыновьями, если б те держались подальше от всякой политики, с властьимущими не знались и «из своего класса не уходили». Любые виды сопротивления казались им бесполезными и просто ложными. Это и называлось у них «мельтешиться». В Калинине нам пришлось впервые участвовать в выборах. Пораженный их организацией, О. М. не знал, что ему делать. Он про-

бовал утешать себя: «Это только для начала, потом народ привыкнет и все будет нормально», но затем говорил, что ни за что не станет участвовать в этой комедии. Хозяева спорили с ним. Первый их довод: «против рожна не попрешь», второй: «чем мы лучше других — все пойдут, значит, и мы пойдем», а последний и самый убедительный: «не заводись с ними, не отвяжутся». С этим нельзя было не согласиться особенно в нашем положении. И мы все пошли голосовать — хозяева в шесть утра, как им велели на заводе, а мы попозже — после завтрака.

В сущности, Татьяна Васильевна была законопослушницей, но не потому, что она уважала законы — к нашим, например, она относилась резко отрицательно, — а из-за общей жизненной установки. Она считала первой своей обязанностью — жить и ради этой цели следовало, по ее мнению, уклоняться от всяких лишних действий. Идея жертвенности или гибели ради идеи показалась бы ей высшей нелепостью. Она стояла на том, что «мы люди маленькие», которым высовываться не с руки. И мы чувствовали некоторую надменность в этой позиции: наверху — борьба, злодейство, спекуляция на имени рабочего класса, принадлежность к которому она так остро ощущала, а она здесь не причем, у нее руки чистые, рабочие... Ее дело — жизнь и труд, а те пускай душу губят... При этом религиозности мы в ней не замечали, и в церковь она не ходила, хотя лампадку перед иконами жгла.

Минутами даже мы казались Татьяне Васильевне частицей суетных верхов. Это бывало, когда она нас подозревала в отсутствии жизненной стойкости, воли к жизни. Читая какие-нибудь циничные, страшные или дикие высказывания, О. М. часто говорил: «Мы погибли...» Впервые он это произнес, показывая мне отзыв Сталина на сказку Горького: «Эта штука сильнее «Фауста» Гёте. Любовь побеждает смерть...» Он сказал еще «мы погибли», увидав на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову. «Где это видано, — удивлялся О. М., — чтобы глава государства снимался с министром тайной полиции»... Но дело было не только в том, кто был снят, но в выражении лица Ежова: «Посмотри, он способен на все ради Сталина»... Однажды за столом у Татьяны Васильевны О. М. прочел речь Сталина курсантам-выпускникам. Сталин пил за ту науку, которая нам нужна, а не за ту науку, которая нам не нужна... Слова эти звучали зловеще:

раз есть наука, которая нам не нужна и чужда, мы ее уничтожим, вырвем с корнем... И О. М. сказал привычное: «Мы погибли...» Вот тут-то Татьяна Васильевна и ее муж разъярились: «Вам только бы гибнуть... еще накликаете... вы бы как жить подумали... вот учитесь, смотрите на нас — мы же живем... никуда не лезьте и живы будете...» «Первая обязанность человека — жить», — резюмировал О. М.

После ареста О. М. я приехала в пятистенный дом на окраине Калинина за оставленной там корзинкой с рукописями. Хозяева, узнав об аресте О. М., так расстроились, что я не выдержала и заплакала. Неулыбчивая Татьяна Васильевна обняла меня и сказала: «Не плачь — как святые будут», а хозяин добавил: «Твой муж никому зла сделать не мог — последнее дело, если таких берут...» И оба они решили рассказать про это своим сыновьям, чтобы те знали, кому служат и чему поклоняются. «Только слушать они нас не станут», — вдруг вздохнул хозяин. Сыновья Татьяны Васильевны были «сталинскими соколами», добродетельными «зотовыми», которых так точно описал Солженицын. Им действительно ничего рассказывать не стоило — в них изживались идеи, которые правят миром. Сейчас, в середине шестидесятых годов, это те отцы, которые направо и налево жалуются на своих детей — внуков Татьяны Васильевны. Внуки смыкаются с дедами, отказываясь от отцов. И я вспоминаю еще одну железнодорожную встречу с другим «обломком империи». Этот всецело стоял за Двадцатый съезд, потому что при Сталине испытал кое-какие неприятности: его не арестовывали, но арестом крепко запахло... Теперь он радуется жизни и живет на хорошей пенсии, как ответственный партийный работник. Сидеть сложа руки ему, партийцу, не хочется, и он взялся за воспитание молодежи: стал агитатором в каком-то техникуме, в Ленинграде. Вот он и поведал мне, как педагогу, свои трудности. Пришел поторопить своих подопечных в день выборов — никто идти не хочет. Он говорит: «Вам надо с нас пример брать — мы революцию делали» и сообщает, что сам с раннего утра уже отголосовал... А ему отвечают: «А кто вас просил революцию делать? Раньше лучше жилось...» Вся его революционная фразеология повисла в воздухе: «Подумайте, какая молодежь пошла! А как вы с ними справляетесь?...» Я искренно ответила, что никак... Это внуки Татьяны

Васильевны, но есть ли у них за душой что-нибудь, кроме отрицательных реакций?

К Татьяне Васильевне приходили с ордером на мой арест, но меня уже там не было. Перерыли весь дом, включая чердак, сараи и погреб, но вещей не нашли, потому что я успела их увезти. Принесли женскую фотографию и внимательно вглядывались в обеих женщин — хозяйку и жиличку... Я узнала об этом через год на вокзале, когда ехала в Калинин устраиваться и жить. Эту весть о том, что за мной приходили, сообщили из Ленинграда, куда ее привез бывший секретарь Щеголева. Пожалуй, знай я об этом заранее, я бы в Калинин не поехала, но вещи мои уже лежали в вагоне, и я махнула рукой: «будь, что будет»... Да и страх уже поослабел: Ежов пал, и массовые аресты прекратились. В Калинине я прожила до самой эвакуации, почти два года, и никто меня не тронул, хотя в моем деле лежал неиспользованный ордер на мой арест. Случай, как будто, легендарный, но таких было не мало: изменились контрольные цифры на уничтожение людей, и тот, кого не успели взять, уцелел... Террор тоже проводился, как плановое хозяйство, регулирующее жизнь и смерть.

Обыск произвел на Татьяну Васильевну огромное впечатление: три толстомордых парня перевернули у нее весь дом. Татьяна Васильевна поносила толстомордых и меня за то, что я скрываю, что сидела в тюрьме, а может она даже заподозрила меня в чем-то другом: «Почему тебя выпустили — теперь никого не выпускают»... В ее голове не могло уложиться, что «они» хотели кого-то взять и не взяли, потому что не нашли... А в чьей голове это уложится? Но под конец она смягчилась и спросила, есть ли у меня, где жить. «Если негде, живи. Бог с тобой, — сказала она, — береженного, говорят, Бог бережет, да теперь все равно не убережешься...» В сущности, этим она изменила своему принципу невмешательства в беспокойную жизнь нашей страны, но я у нее не осталась, потому что мысль о толстомордых мешала бы мне спать в ее доме еще больше, чем в других.

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В своих странствиях я сталкивалась с разным народом, и всюду мне было легче, чем среди тех, кто считался цветом советской интеллигенции. Впрочем, они тоже не жаждали моего общества...

После ареста О. М. я поселилась в Струнине, текстильном поселке за Загорском. Об этом поселке я узнала случайно, возвращаясь из Ростова Великого, где хотела сначала устроиться. В первый же день я встретила там Эфроса. Он побледнел, узнав про арест О. М., — ему только что пришлось отсидеть много месяцев во внутренней тюрьме. Он был едва ли не единственным человеком, который отделался при Ежове простой высылкой. О. М., услыхав за несколько недель до своего ареста, что Эфрос вышел и поселился в Ростове, ахнул и сказал: «Это Эфрос великий, а не Ростов...» И я поверила мудрости великого Эфроса, когда он посоветовал мне не селиться в Ростове: «Уезжайте, нас здесь слишком много...» В поезде, на обратном пути, я разговорилась с пожилой женщиной: ищу, мол, комнатку, в Ростове не нашла... Она посоветовала выйти в Струнине и дала адрес хороших людей: сам не пьет и матом не ругается... И тут же прибавила: «А у нее мать сидела — она тебя пожалеет...» Поезда были добрее людей Москвы, и в них всегда догадывались, что я за птица, хотя была весна и кожух я успела продать.

Струнино находится на Ярославской дороге, по которой шли этапы. У меня была безумная мысль, что я когда-нибудь увижу в окне — то есть в щели — теплушечного поезда лицо О. М., и я сошла в Струнине и отправилась к хорошим людям. С ними у меня быстро наладились дружеские отношения, и я рассказала им, почему мне понадобилась «дача» в стоверстной зоне. Впрочем, это они и так поняли. А снимала я у них крылечко, через которое никто не ходил. Когда начались холода, они силком перетащили меня в свою комнату, загородив мне угол шкафами и простынями: «чтобы вроде своей комнатки было, а

то в общей ты не привыкла...» Насчет юдофобства я могу по своему опыту сказать, что в народе его нет. Оно всегда идет сверху. Я никогда не скрывала, что я еврейка, а во всех этих семьях — рабочих, колхозников, мельчайших служащих — ко мне относились, как к родной, и я не слышала ничего похожего на то, чем запахло в высших учебных заведениях в послевоенный период, и, кстати, пахнет и сейчас. Самое страшное — это полуобразование, и в полуобразованной среде всегда найдется почва для фашизации, для низких форм национализма, и вообще для ненависти ко всякой интеллигенции. Анти-интеллигентские настроения страшнее и шире, чем примитивное юдофобство, и они все время дают себя знать во всех переполненных людьми учреждениях, где люди так яростно отстаивают свое право на невежество. Мы давали им сталинское образование, и они получили сталинские дипломы. Естественно, что они держатся за те привилегии, которые дает диплом. Иначе им будет некуда деться.

Из Струнина я ездила делать передачи в Москву, и скудное добро мое — я продавала книги О. М. — быстро иссякло. Хозяева заметили, что мне нечего есть, и делились со мной своей тюрей и мурцовкой. Редьку там называли «сталинским салом». Хозяйка наливала мне парного молока и говорила: «Ешь, не то совсем ослабеешь». Большую часть удоя им приходилось продавать на сено, и сами они не очень-то баловались молоком. А я носила им из лесу малину и другие ягоды. В лесу я проводила почти весь день, а возвращаясь домой, замедляла шаги: мне все казалось, что сейчас мне навстречу выйдет выпущенный из тюрьмы Мандельштам. Можно ли поверить, что человека забирают из дома и просто уничтожают... Этому поверить нельзя, хотя это можно знать умом. Мы это знали, но поверить в это не могли.

Осенью ресурсы мои исчерпались, и пришлось думать о работе. Хозяин мой был текстильщиком, хозяйка — дочь ткачихи и красильщика тканей. Они очень огорчались, что я тоже впрягусь в эту лямку, но выхода не было, и когда на воротах появилось объявление о наборе, я нанялась в прядильное отделение. Работала я на банкоброшальных машинах, которые вырабатывают «ленту» из «сукна». По ночам я, бессонная, бегала по огромному цеху и, заправляя машины, бормотала стихи. Мне нужно было помнить все наизусть — ведь бумаги могли отобрать, а мои хранители в минуту страха возьмут да бросят все в печку — такое у меня случалось с самыми хорошими и литературными людьми... Память была добавочным способом хранения, и надо сказать, очень мне пригодилась в моем трудном деле. Восемь ночных часов отдавались не только ленте и сукну, но и стихам.

Чтобы отдохнуть, бабы убегали от машин в уборную. Там собирался настоящий клуб. Они умолкали и рассеивались, когда туда деловой походкой врывалась какая-нибудь делающая карьеру комсомолка. «Этой берегись» — предупреждали меня работницы. А в тихие минуты, когда были только свои, они довольно энергично вправляли мне мозги, объясняя, как им живется, что́ они потеряли и что́ выиграли... «Раньше день был долгий, но прядильщица чаек попивала — на скольких машинах она работала, знаешь?...» Здесь я убедилась, как громадна популярность Есенина, потому что при мне постоянно поминали его имя. У этого поэта была настоящая народная легенда, они считали его своим парнем и любили...

По утрам, выйдя из ворот, они сразу становились в очередь к магазину за мануфактурой или за хлебом. До войны ситец был совершенно дефицитным товаром, хлеба не хватало, и жизнь они вели нищенскую. Об этом сейчас совершенно забыли, и мои псковские сталинисты упорно твердили, что до войны нужды не знали — только сейчас, мол, с ней познакомились... У людей поразительно короткая память, когда им этого хочется.

Именно здесь, в Струнине, я узнала слово «стопятница» — все они так меня называли. Относились ко мне хорошо, особенно пожилые мужчины. Иногда кто-нибудь заходил ко мне в цех и протягивал яблоко или кусок пирога: «Ешь, жена вчера спекла». В столовой во время перерыва они придерживали для меня место и учили: «Бери хлёбово. Без хлёбова не наешься». На каждом шагу я замечала дружеское участие — не ко мне, а к «стопятнице», и здесь анти-интеллигентскими настроениями не пахло.

Однажды ночью в мой цех вошли двое чистеньких молодых людей и, выключив машины, приказали мне следовать за ними в отдел кадров. Путь к выходу — отдел кадров помещался во дворе, в отдельном здании — лежал через несколько цехов. По мере того, как меня вели по цехам, рабочие выключали машины и шли следом. Спускаясь по лестнице, я боялась обернуться,

потому что чувствовала, что мне устроили проводы: рабочие знали, что из отдела кадров нередко увозят прямо в ГПУ.

В отделе кадров произошел идиотский разговор. У меня спросили, почему я работаю не по специальности. Я ответила, что у меня никакой специальности нет. Почему я поселилась в Струнино? Потому что мне негде жить... «Образованная, а пошла к станкам...» У меня тогда не было никакого образования, кроме гимназии, и образованной я оказалась не по диплому, а по принадлежности к интеллигенции, и это они чуяли носом. «Почему в школу не пошли работать?» «Не возьмут без диплома...» «Что-то тут не то — говорите прямо...» Чего от меня хотели, я так и не поняла, но в ту ночь меня отпустили, быть может, потому, что во дворе толпились рабочие. Отпуская, меня спросили, работаю ли я завтра в ночную смену, и приказали явиться до начала работы в отдел кадров. Я даже подписала такую бумажку...

К станкам в ту ночь я не вернулась, а пошла прямо домой. Хозяева не спали — к ним прибежал кто-то с фабрики рассказать, что меня потащили «в кадры». Хозяин вынул четвертинку и налил три стакана: «Выпьем, а потом рассудим, что делать».

Когда кончилась ночная смена, один за другим к нашему окну стали подходить рабочие. Они говорили: «Уезжай» и клали на подоконник деньги. Хозяйка уложила мои вещи, а хозяин с двумя соседями погрузили меня на один из первых поездов. Так я ускользнула от катастрофы благодаря людям, которые еще не научились быть равнодушными. Если отдел кадров первоначально не собирался меня арестовывать, то после «проводов», которые мне устроили, мне конечно бы не уцелеть...

Струнино было чувствительно к нашим бедам и стопятницкой жизни. Поезда с арестованными проходили чаще всего по ночам, а утром рабочие с текстильной фабрики, переходя железнодорожные пути, внимательно смотрели под ноги — они искали записок. Иногда арестованным удавалось выбросить в окно записку. Нашедший клал ее в конверт, переписывал адрес и отсылал. Тогда родные получали весточку от своего каторжника. А если поезд останавливался днем, то каждый старался бросить что-нибудь из еды или курева в вагон, за спиной у расхаживающих часовых. Так моя хозяйка кинула детскую шоколадку... В Струнине и своих тоже много забирали, и народ

жил мрачный и насупленный. Здесь я впервые услышала, что Сталина в народе называют «рябым». Если спросить почему, отвечали: «А ты разве не знаешь, что у него оспа была. . У них на Кавказе на этот счет беда...» Пожалуй, за кавказскую оспу им бы тоже не поздоровилось, но такие слова произносились только со «своими», а стукачей они знали наперечет. В этом преимущество маленького поселка. Мы своих стукачей знали далеко не всегда.

В Савелове тоже жили законопослушники, но природная доброта мешала им покоряться безмолвно. «Русская революция не жестокая, — сказал мне раз Якулов. — Всю жестокость отсосало государство — она ушла в ЧК».

В России видно все всегда происходит наверху. Народ безмолвствует, покорно сопротивляясь, или строптиво покоряясь. Он осуждает жестокость, но уж во всяком случае никогда не одобрит никакой активности. Как эти свойства сочетаются с грозными бунтами и революциями, я не знаю. Разве это можно понять?

ШКЛОВСКИЕ

В Москве был только один дом, открытый для отверженных. Когда мы не заставали Виктора и Василису, к нам выбегали дети: маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать: дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню — там у Шкловских была столовая — кормили, поили, утешали ребячьими разговорами. Вася — альтистка — любила поговорить про очередной концерт — в те дни шумела симфония Шостаковича, и Шкловский выслушивал все рассказы подряд, а потом радостно заявил: «Шостакович всех переплюнул...» Эпоха жаждала точного распределения мест: кому пер-

вое, кому последнее: кто кого переплюнет... Государство использовало старинную систему местничества, и само стало назначать на первые места. Вот тогда-то Лебедев-Кумач, человек, говорят, скромнейший, был назначен первым поэтом. Шкловский же занимался тем же, но жаждал «гамбургского счета». Вася тоже отдавала пальму первенства Шостаковичу. И О. М. рвался послушать симфонию, но не знал, как поспеть на последний поезд.

С Варей шел другой разговор. Она показывала учебник, где один за другим толстой бумажкой заклеивались по приказу учительницы портреты вождей. Ей очень хотелось заклеить Семашку — «Все равно ведь заклеим — лучше бы сразу...» Редакция энциклопедии присылала списки статей, которые полагалось заклеить или вырезать. Этим занимался Виктор. При каждом очередном аресте везде пересматривались книги и в печку летели опусы опальных вождей. А в новых домах не было ни печек, ни плит, ни даже отдушин, и запретные книги, писательские дневники, письма и прочая крамольная литература резалась ножницами и спускалась в уборные. Люди были при деле...

Никита, самый молчаливый из детей, иногда умел огорошить взрослых. Виктор однажды рассказал, как он с Паустовским ходил к знаменитому птичнику, дрессировавшему канареек. По его знаку канарейка вылетала из ящика, садилась на жердочку и давала концерт. Хозяин снова делал знак, и певунья покорно убиралась в свой ящик. «Как член Союза Писателей», — прокомментировал Никита и вышел из комнаты. Огорошив, он всегда исчезал к себе. В его комнате жили приманенные им птицы, но он дружил с ними и дрессировкой не увлекался. Мы знали уже, что птицы учатся петь у мастеров своей породы. В Курске выловили знаменитых соловьев, и молодняку не у кого учиться. Так пала курская школа соловьиных певцов из-за прихоти людей, посадивших лучших мастеров в клетки.

Приходила Василиса, улыбалась светлоголубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а О. М. — рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для О. М., шумел, рассказывал новости. Поздней осенью он раздобыл для О. М. шубу. У него был старый меховой — из собачки — полушубок, который в прошлую зиму

таскал по нищете Андроников, человек-оркестр. Но он успел выйти в люди и обзавестись писательским пальто, и Виктор вызвал его к себе вместе с полушубком. Обряжали О. М. торжественно, под Бетховена, которого высвистывал Андроников. Шкловский даже произнес речь: «Пусть все видят, что вы приехали на поезде, а не под буферами...» До этого О. М. ходил в желтом кожаном пальто, тоже с чужого плеча. В этом желтом он попал в лагерь.

Когда раздавался звонок, то прежде, чем открыть дверь, нас прятали на кухню или в детскую. Если приходили свои, нас немедленно с радостными криками освобождали из плена, а если Павленко или соседка-стукачка, Леля Поволоцкая — та самая, которую потом от реабилитаций хватил паралич — мы отсиживались в тайнике. Они ни разу не застали нас врасплох, и мы этим очень гордились.

Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми. В этой семье знали, как обращаться с обреченными. На кухне устраивались дискуссии, где ночевать, как пойти на концерт, где достать денег и что вообще делать. У Шкловских мы ночевать избегали, потому что в доме были швейцарихи, лифтерши и дворничихи. Эти добродушные и убогие женщины спокон веку служили в охранке. Денег они за это не получали — это была их добавочная функция. Не помню уж, как мы устроились на ночь, но на концерт в конце концов пошли... А швейцарихи, когда я появилась одна, без О. М., уже после его смерти, спросили меня, где он. Я сказала: умер. Они вздохнули: «а мы думали, что вы будете первая...» Я из этого сделала два вывода: обреченность была написана на наших лицах — это первый, а второй — нечего бояться этих несчастных баб, они тоже сердобольные. Тех, которые меня тогда пожалели, быстро свезли на кладбище: они мрут как мухи на своем голодном пайке, но я с тех пор всегда дружу с их преемницами, и они никогда не сообщали милиционерам, что я ночую без прописки в квартире Шкловских. Возвращаясь после двенадцати, когда им приходилось вставать, чтобы открыть мне парадное, я всегда совала им в руку двадцать, тридцать копеек, как полагалось. Только после денежной реформы шестидесятых годов мы сообразили, что давали на чай не гривенники, а две-три копейки. Вот сила названия — ведь слово «рубль» все-таки сохранило какое-то обаяние, и мы с бóльшим трудом тра-

тили, скажем, пятерку, чем сейчас полтинник. Таксисту тоже не дашь на чай гривенник, а недавно рубль считался роскошной приплатой к счетчику... А в тридцать седьмом году чаевых мы не давали, от швейцарок шарахались, задержаться у Шкловских боялись, чтобы не подвести хозяев, падали с ног, задыхались и вечно куда-то спешили.

Иногда другого выхода не было, и мы все же оставались на ночь у Шкловских. Нам клали в спальне на пол тюфяк и меховую шкуру-овчину. С седьмого этажа, разумеется, не слышно, как к дому подъезжают машины, но когда ночью поднимался лифт, мы — все четверо — выбегали в переднюю и прислушивались: «Слава Богу, этажом ниже» или «Слава Богу, мимо»... Это прислушивание к лифту происходило каждую ночь, вне зависимости от наших ночевок. К счастью, лифт поднимался редко: обитатели дома жили обычно в Переделкине и вели солидный образ жизни, а их дети еще не успели подрасти. В годы террора не было дома в стране, где бы люди не дрожали, прислушиваясь к шелесту проходящих машин и к гулу поднимающегося лифта. До сих пор, ночуя у Шкловских, я вздрагиваю, когда слышу ночной лифт. И эта картина — полуодетые люди замерли, нагнувшись, у входной двери, чтобы услышать, где остановится лифт — незабываема.

Недавно мне приснился сон, потому что у дома остановилась машина: меня будит О. М.: «Одевайся... На этот раз за тобой...» Но я не поддалась и ответила: «Хватит. Не стану вставать им навстречу. Плевать...» И повернувшись, я снова заснула без снов. Это был психологический бунт. Это ведь тоже какая-то форма сотрудничества: за тобой приходят, чтобы утащить тебя в тюрьму, а ты добровольно поднимаешься с кровати и дрожащими руками натягиваешь платье. Хватит. Надоело. Ни одного шага навстречу. Пусть тащат на носилках, пусть убивают тут же дома... Не хочу!

Однажды среди зимы мы решили, что нельзя больше злоупотреблять добротой Шкловских. Боялись их подвести: вдруг кто донесет, а там и «загрохотать» недолго... Одна мысль, что мы можем загубить Шкловского, а с ним всю семью, приводила нас в отчаяние. Мы торжественно сообщили о своем решении и, не слушая уговоров, несколько дней не приходили. Чувство бесприютности и одиночества обострялось в геометрической прогрессии. Как-то, сидя у Бруни, О. М. не выдержал и позво-

нил Шкловским. «Приезжайте скорее, — сказал Виктор, — Василиса тоскует, места себе не находит...» Через четверть часа мы позвонили, и Василиса встретила нас с радостью и слезами. И тогда я поняла, что единственная реальность на свете — голубые глаза этой женщины. Так я думаю и сейчас.

Хочу оговориться: Анну Андреевну я никогда не отделяла, но в те дни она была далеко – Ленинград был недостижим.

МАРЬИНА РОЩА

Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Пвич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка «заяц»; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шел по улице, посвистывая, как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось и он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников — меня и О. М. Так же спокойно он взял в 1948 году у Евгения Яковлевича рукописи О. М. и сохранил их. А его брат, Сергей Игнатьевич Бернштейн, прятал в 37-38 году другого преступника — Виктора Владимировича Виноградова, которому была запрещена из-за судимости Москва. Когда у Виноградова все пришло в норму и ему, уже академику, поручили возглавлять сталинское языкознание, он почему-то забыл этот бедный дом и даже не пришел на похороны жены Сергея Игнатьевича, гостеприимной хозяйки тридцать седьмого года.

А чаще всего мы уходили от Шкловских с сестрой Василисы, Натальей Георгиевной или попросту Талей, которая все время читает и, между прочим, до сих пор помнит наизусть сотни стихотворений девятнадцатого века.

Таля получила комнату в старой квартире Шкловских в Марьиной Роще, где жила со своей дочерью Васей, маленькой альтисткой. В те дни, когда мы шли к Тале, Вася оставалась

у Василисы, а мы спали в комнате с ее матерью. В той же квартире одну из комнат занимал Николай Иванович Харджиев, и мужчины по вечерам много разговаривали и сидели допоздна. У Николая Ивановича я провела и первые дни после ареста О. М., а потом после известия о его смерти. Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть: «Ешьте, Надя, это горячее» или «Ешьте, Надя, это дорогое...» Нищий Николай Иванович пытался пробудить меня к жизни милыми шутками, горячими сосисками и дорогими леденцами. Он единственный оставался верен и мне и Анне Андреевне в самые тяжелые периоды нашей жизни. Однажды я у него увидела карандашный портрет Хлебникова, сделанный Татлиным. Татлин рисовал его через много лет после смерти Хлебникова, а он был как живой, точно такой, каким я его запомнила, когда он приходил есть с нами гречневую кашу в Дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами. Меня вдруг осенило, что и О. М. когда-нибудь воскреснет на чьем-нибудь рисунке, и мне стало легче. Но мне не пришло в голову, что все художники, которые его знали успеют умереть прежде, чем решатся написать его портрет. А бедный рисунок Миклашевского в журнале «Москва» ни на одну сотую долю на Мандельштама не похож. Как-то поразительно плохо он давался художникам, а вот на фотографиях выходил удивительно.

О. М. говорил, что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, и поэтому я настояла, чтобы его назначили редактором книги, которая уж почти десять лет не может выйти в «Библиотеке Поэта».

Полуразрушенный деревянный домишко в Марьиной Роще казался нам крепостью, но до этой крепости надо еще было добраться. Мы выходили от Шкловских вместе с Талей, но мимо швейцарих дефилировали по одиночке. Таля и дальше шла впереди, вскакивала на трамваи, ждала на остановках, пересаживалась. Мы шли поодаль, не выпуская из виду ее широкую спину. Ведь мы были конспираторами, и поэтому нам не полагалось идти рядом. В случае, если бы О. М. забрали на улице — а о таких арестах мы слышали — Наталья Георгиевна, случайная прохожая, оказалась бы не при чем. У нее даже не проверили бы документов. Она могла бы спокойно — спокойно ли? — продолжать свой путь, и мы бы не навели ищеек на дом Шкловских. Наша конспирация смешна, но всё это приходилось делать, потому что мы соблаговолили родиться в двадцатом веке. И не рядом, а вслед за Талей мы шли, как будто загипнотизированные ее качающейся походкой. Она всегда выглядела невозмутимой и, если мы не попадали в тот трамвай, куда она вскакивала первая, мы знали, что она дождется нас на остановке, где мы делали пересадку, или на конечной. Увидав нас, она опять пускалась в путь, а мы вдвоем, падая от усталости, за ней... В ее захолустном доме мы никогда никого не встречали, хотя там были еще жильцы, но мы проскальзывали так, что они о нас не подозревали. Именно для этого Тале нужно было самой открыть дверь своим ключом и осмотреться прежде, чем впустить нас. Но все же сосед, член Союза Писателей, некий Вакс, не мог не знать, что у Тали ночуют посторонние. Видно, он был порядочным человеком, что не донес на нас. А утром Вакс говорил по телефону в коридоре — он требовал у Союза Писателей материалов и средств, чтобы отремонтировать свою трущобу, которую мы считали крепостью или раем. О. М. сочинял по этому поводу шуточные стишки, где фигурировал «Вакс — ремонтнодышащий...» Стихи оборвались — в такой жизни стихи не сочиняются, а вот шуточные иногда возникали. Их почему-то ненавидел Шкловский. Ему казалось, что шуточные стихи — признак, по крайней мере, расслабления мозгов. И не потому, что время было не подходящим для шуток, а вообще: рифмы не те, и вообще не то... Шуточные стихи — это петербургская традиция, Москва признавала только пародии, а Шкловский забыл про свою петербургскую юность.

По ночам я кричала. В ту зиму я начала кричать страшным нечеловеческим криком, словно животное или птица, которую душат. Шкловский дразнил меня, что все люди кричат во сне «мама!», а я кричу «Ося!» До сих пор я пугаю этим криком соседей, да еще цветом ладоней: с того же года они в минуты тревоги вдруг становятся ярко-красными. А О. М. упорно не терял присутствия духа и продолжал шутить.

Иногда нам приходилось сидеть лишние дни в Москве, потому что не удавалось достать денег. Круг дающих все время сужался. Мы дожидались очередной получки Шкловского. Он приходил домой с деньгами, рассованными по всем карманам, и отделял нам кусок добычи. Тогда мы отправлялись проживать деньги к Татьяне Васильевне, на окраину чужого нам города Калинина.

СОПРИЧАСТНЫЙ

Осенью 37 года Катаев и Шкловский решили свести О. М. с Фадеевым, который у власти еще не был, но пользовался большим влиянием. Вернее, он был почти у власти. Встреча произошла, кажется, у Катаева. О. М. читал стихи. Фадеева проняло — он отличался чувствительностью... С трезвыми, как будто, слезами, он обнимал О. М. и говорил все, что полагается чувствительному человеку. Меня при этой встрече не было — я отсиживалась несколькими этажами выше, у Шкловских. О. М. и Виктор пришли довольные. Они улизнули пораньше, чтобы дать возможность Катаеву с глазу на глаз обработать Фадеева. Фадеев не забыл стихов — вскоре ему пришлось ехать в Тифлис с Эренбургом — на юбилей Руставели, что ли? — и он уверял, будто попытается напечатать подборку стихов О. М. Этого не случилось. Быть может, ему «не посоветовали» — у нас была такая милая формула: лицо, у которого просят разрешения что-нибудь сделать, хмурится: «На ваше усмотрение, пожалуйста...» Нахмуренное лицо равносильно отказу, но «невинность соблюдена», роковое «нет» не сказано, и отказ от действия является «инициативой снизу», вполне демократическим... Этих тончайших оттенков бюрократического управления не знала никакая власть, кроме нашей, потому, что ко всем своим достоинствам, она отличалась еще неслыханным лицемерием. Итак, мы решили, что Фадееву «не посоветовали», но скорее всего он просто никого не спрашивал, чтобы «не ввязываться...» Это более вероятно. Все же, в самом конце зимы 37-38 года, встретив О. М. в Союзе, он вдруг вызвался поговорить «наверху» и узнать, «что там думают». За ответом или, вернее, информацией мы должны были прийти в Союз через несколько дней.

К нашему удивлению, Фадеев не обманул и явился в назначенный день и час. Мы вышли из дому вместе и сели в его машину. Он предложил отвезти нас, куда нам надо, чтобы по дороге поговорить. Он сел рядом с шофером, а мы позади. Повернувшись к нам он рассказал, что разговаривал с Андреевым, но ничего у него не вышло: тот решительно заявил, что ни о какой работе для О. М. не может быть и речи. «Наотрез», — сказал Фадеев. Он был смущен и огорчен. О. М. даже пробовал утешать его: «ничего, как нибудь образуется...» В кармане у нас уже лежали путевки в Саматиху — дом отдыха, куда нас вдвоем на два месяца посылал Литфонд, по распоряжению Ставского. Он вдруг принял О. М. и предложил поехать в «здравницу», чтобы мы там отсиделись, пока не решится вопрос с работой. Эта милость судьбы окрылила нас, и мы не очень огорчились неудаче Фадеева. А он принял эту новость довольно раздраженно: «Путевки?... Куда?... Кто дал?... Где это?... Почему не в писательский дом?» О. М. объяснил: у Союза нет домов отдыха в разрешенной зоне, то есть за сто километров от режимных городов. «А Малеевка?» — спросил Фадеев. Мы понятия не имели ни о какой Малеевке, и Фадеев вдруг пошел на попятный: «Так домишко отдали Союзу... там верно ремонт...» О. М. выразил предположение, что сочли неудобным посылать в писательский дом до общего разрешения вопроса. Фадеев охотно это объяснение принял. Он был явно озабочен и огорчен. Сейчас, задним числом, я понимаю, что он думал: события, которых он ждал, приблизились, и он понял технику их осуществления. Самый закаленный человек не может глядеть этим вещам в глаза. А Фадеев был чувствителен.

Машина остановилась в районе Китай-города. Что нам там понадобилось? Уж не там ли было управление санаториями, куда мы должны были сообщить о дне выезда, чтобы за нами выслали лошадей на станцию Черусти Муромской железной дороги. Оттуда до Саматихи было еще верст двадцать пять.

Фадеев вышел из машины и на прощание расцеловал О. М. По возвращении О. М. обещал обязательно разыскать Фадеева. «Да, да, обязательно», — сказал Фадеев, и мы расстались. Нас смутил торжественный обряд прощания и таинственная мрачность и многозначительность Фадеева. Что с ним? Мало ли что могло быть с человеком в те годы: на каждого хватало бед... Ослепленные первой удачей за всю московскую жизнь — путевкой: Союз начал о нас заботиться! — мы даже не подумали, что мрачность Фадеева как-то связана с судьбой О. М. и с ответом Андреева, означавшим в сущности страшный приговор. Фадеев, человек тертый, отлично разбиравшийся в партийных делах, не мог этого не понимать. Почему, кстати, он не побоял-

ся разговаривать при шофере? Этого не делал никто. При нашей системе слежки все шоферы видных лиц несомненно докладывали куда следует о каждом их движении и слове. Случайно мне довелось узнать, как Сурков, придя к власти в писательском департаменте, уже после смерти Сталина, получил машину, которая была в распоряжении Фадеева, и его шофера. Первое, что он сделал — это под каким-то дурацким предлогом отказался от машины — стара, плохой марки — и выгнал шофера. Видно, в новые времена ему захотелось избежать постоянного подслушивания...

Неужели Фадеев обладал такой демонической верой в свою неприкосновенность, что не считался с «ушами государевыми» в своей машине? Или он уже успел солидаризироваться с тем, что судьба заготовила Мандельштаму, и поэтому мог ясными глазами смотреть на своего шофера, разговаривая с неприкасаемым человеком? Мне говорила Люба, что Фадеев был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу. Это, по ее словам, стало совершенно ясно в период расправы с еврейскими писателями. Там тоже были поцелуи, прощания со слезой и апробирование их арестов и уничтожения. При этом Мандельштам был чужим для Фадеева человеком, а те — друзьями... Но мы, чуждые чиновному миру нашей иррациональной страны, вообще не понимали двуликости — какого чорта она нужна писателю, даже если он занимает какой-то пост в писательских организациях... Всей глубины перерождения мы еще не осознали. И мы не подозревали, что в процесс уничтожения людей втянуты как сообщники главы всех учреждений, и что им надлежало ставить свою подпись под списками арестованных. Впрочем, в 38 году эта функция принадлежала, как будто, не Фадееву, а Ставскому. Так, во всяком случае, говорят. Наверняка мы ничего не знаем. Прошлое по-прежнему остается таинственным, и мы до сих пор не знаем, что с нами делали.

Не прошло и года, как Фадеев, празднуя в Лаврушенском переулке по поводу первых писательских орденов, узнал о смерти Мандельштама и выпил за его упокой: «Загубили большого поэта». В переводе на советский язык это значит: «лес рубят — щепки летят».

История наших отношений с Фадеевым этим не кончается. Незадолго до окончания войны я поднималась к Шкловским в

лифте и случайно очутилась в нем вместе с Фадеевым. Он вошел вторым, когда я уже собиралась закрыть дверь и нажать кнопку, швейцариха крикнула мне, чтобы я подождала — кто-то идет... Войдя, Фадеев не поздоровался. К этому я привыкла и просто отвернулась, чтобы не смущать человека, который не хочет меня узнавать. Но едва лифт начал подниматься, как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Мандельштаму подписал Андреев. Вернее, я так его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так: «Это поручили Андрееву — с Осипом Эмильевичем». Лифт остановился и Фадеев вышел... Я не знала тогда состава тройки и думала, что приговоры выносятся только органами, и поэтому растерялась — при чем тут Андреев. Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват.

Зачем он со мной заговорил, и правда ли то, что он мне шепнул? Возможно, что в его пьяном мозгу возникла случайная ассоциация — ему вспомнился разговор в машине и мысль о Мандельштаме связалась с Андреевым. Но не исключена возможность, что он сказал правду. Об Андрееве я знаю еще из письма ташкентского самоубийцы, что он был одним из прямых проводников сталинской террористической политики и приезжал в Ташкент инструктировать работников органов, «как действовать на новом этапе», то есть, что́ означает приказ об «упрощенных методах допроса».

А не все ли равно, кто подписал приговор? В те годы каждый готов был поставить свою подпись под чем угодно и не только потому, что отказавшегося бы немедленно отправили на тот свет. Такова была сила нашей организованности, что такие же люди, как мы, «с глазами вдолбленными в череп», рушили, вытаптывали следы, убивали, уничтожали себе подобных, оправдывая все свои поступки «исторической необходимостью». Варфоломеевская ночь длилась ровно одну ночь и, хотя молодчики, пролившие тогда человеческую кровь, может до конца жизни хвастались своим геройством, все же она навсегда осталась в памяти человечества. Гуманистические принципы девятнадцатого столетия — несущественно, что они были плохо обоснованы и поэтому ввели людей в соблазн — все же растворились в нашем сознании. Наемные убийцы всегда найдутся, но старые подпольщики — несомненные человеколюбы, воспитанные на гуманизме девятнадцатого века, ради блага людей,

отдавшие свою юность — что чувствовали они, участвуя в этой «исторической необходимости»? И неужели люди не научатся на нашем примере, что нельзя преступать «закона человеческого»?

Я ни в чем не уверена и ничего не знаю, но все же, мне кажется, что тогда, в машине, Фадеев уже знал, какая участь заготовлена его собеседнику. Мало того, он сразу понял, что его неспроста отправляют не в писательский дом отдыха.

МАМОЧКА ПОСЛАЛА БАРЫШНЮ ОТДЫХАТЬ В САМАТИХУ

Все шло как по маслу. Мы вышли на станции Черусти, и нас уже ждали розвальни с овчинами, чтобы не замерзнуть. Отсутствие неувязок—такая редкость в нашей жизни, что мы очень удивились: видно, здорово строго приказали, чтобы все было в порядке, раз не забыли выслать вовремя сани. Мы решили, что нас принимают, как почетных гостей... Март стоял холодный, и мы слышали, как в лесу трещат сосны. Лежал глубокий снег, и первое время мы ходили на лыжах. Как все тенишевцы, О. М. вполне ловко ходил и на лыжах, и на коньках, и здесь в Саматихе оказалось, что прогулка на лыжах, не очень дальняя, конечно, требует меньше усилий, чем пешком. Нам сразу дали отдельную комнату в общем доме, но там стоял вечный шум, и по первой же просьбе нас перевели в избушку на курьих ножках, служившую обычно читальней. Главврач сказал, что его предупредили о приезде О. М. и предложили создать ему условия, и поэтому он решил временно закрыть для общего пользования читальню, чтобы дать нам пожить в тишине. А во время нашего пребывания в Саматихе, врачу даже звонили несколько раз по телефону из Союза и спрашивали, как поживает О. М. Он докладывал нам об этих звонках с некоторым удивлением, считая, очевидно, что к нему попала важная птица. А мы решительно утверждались в своем впечатлении, что произо-

шел какой-то сдвиг и о нас начали заботиться. Разве не чудеса: звонят, предупреждают, справляются, приказывают «создать условия», как настоящим людям... Такого с нами еще не бывало...

Народ в санатории собрался спокойный — все больше рабочие разных заводов. Как всегда в домах отдыха, они были поглощены своими временными любовными историями и на нас не обращали ни малейшего внимания. Приставал только «затейник»: ему все хотелось устроить вечер стихов О. М., но и его удалось отвадить, сказав, что стихи пока запрещены и для устройства вечера требуется санкция Союза. Это он сразу понял и отступился. Было, конечно, скучновато. О. М. привез с собой Данте, Хлебникова, однотомник Пушкина под редакцией Томашевского, да еще Шевченко, которого ему в последнюю минуту подарил Боря Лапин. Несколько раз О. М. порывался съездить в город, но врач говорил, что ни на розвальнях, ни на грузовике нет места. Достать частных лошадей было невозможно — кругом почти не было деревень, да и в деревнях лошади остались только колхозные. «А мы часом не попались в ловушку?» — спросил как-то О. М. после одного из отказов врача довезти нас до станции, но тотчас об этом забыл. Все-таки в Саматихе жилось хорошо и спокойно, и мы считали, что все худшее осталось позади: ведь сам Союз купил нам путевки — обоим! — и приказал «создать нам условия».

В начале апреля — мы еще жили в главном доме, то есть в самые первые дни — в Саматиху приехала вполне интеллигентная барышня. Она подошла к О. М. и заговорила с ним. Оказалось, что барышня знакома с Кавериным, с Тыняновым и еще с кем-то из вполне приличных людей. У барышни тоже была судимость, и поэтому родители вынуждены были купить ей путевку в такое демократическое место, как Саматиха: сто пятая верста, ничего не поделаешь... Мы посочувствовали и удивились: такая молоденькая, а уже успела отбыть пять лет. Впрочем, все случается на этой земле... Барышня часто забегала к нам, особенно когда мы переселились в читальню — там было так уютно!... Барышня всё рассказывала про своих папочку и мамочку: как папочка, когда она заболела, сам внес ее на руках в палату — какого это папочку пускают в палату? — какие у них дома пушистые кошки, которые всегда сидят у папочки на коленях, и как у них в доме все благородно и нежно,

и какие у самой барышни породистые узкие ножки и ручки... И вдруг среди всего этого вздора промелькнул рассказ о следователе: он требовал, чтобы барышня назвала автора стихов, но она наотрез отказалась и только упала в обморок. «Какие стихи? — спросил О. М. — Причем тут стихи?» На это наша новая знакомая пролепетала, что во время обыска у нее в ящике письменного стола нашли запрещенные стихи, но она не выдала их автора... В другой раз она пристала к О. М. с расспросами: «Кто же интересуется его поэзией? У кого лежат его стихи? Кто их хранит?...» «Алексей Толстой» — ответил, разозлившись О. М., но поумнел он не сразу, а в первые дни даже прочел ей какой-то стишок, кажется «Разрывы круглых бухт», и барышня подняла вопль: «как вы решились написать такое» и нельзя ли получить список... Я даже упрекнула О. М. в том, что он от скуки распускается. «Глупости, — ответил он. — Ведь она знакомая Каверина...» От санаторского благополучия и скуки он готов был даже слушать про папочку. А я потом наслушалась рассказов про папочку и мамочку и прочие семейные идиллии от Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, и от своих учениц такого же происхождения, и мне подумалось, что в их среде это считается интеллигентным разговором.

Барышня уехала за два-три дня до первого мая. Собиралась она жить в Саматихе месяца два, но неожиданно папочка позвонил ей по телефону из Москвы и разрешил вернуться. Разрешил или предложил — этого мы не разобрали. На станцию ее отправили на грузовике, а с ней затейник и один из отдыхающих, которому поручили сделать к празднику покупки. Мы тоже заказали ему папирос, потому что в местном ларьке продавалась одна дрянь. О. М. очень хотелось сбежать на праздничные дни в Москву — мы предчувствовали пьянство и неисчислимое количество развлечений и хорового пения, но доктор воспротивился: обратно грузовик пойдет загруженным и мест не будет... Человек, которому мы поручили купить папиросы, задержался в Черусти и кое-как приехал обратно с попутными телегами. Барышня, оказывается, закутила в Черусти с шофером и затейником. Они напились пьяные и такое вытворяли, что рабочий, бывший нечаянным свидетелем их попойки, не знал, как удрать. Его удивило, что начальник станции не разгневался на дебош, но предоставил им для ночлега

детскую комнату по первой просьбе барышни... Наутро кутеж продолжался, а наш знакомый решил не ждать шофера и пустился в путь на свой риск. После рассказов об интеллигентных и благородных папочке и мамочке выбор собутыльников показался нам довольно странным. «А что если она шпичка?» — сказала я О. М. «Не все ли равно, — ответил О. М. — Ведь я им теперь не нужен. Это уже все прошлое»... Ничто не могло выбить у нас из головы, что наши беды кончились. Сейчас я не сомневаюсь, что барышня находилась в служебной командировке, а врачу велели не отпускать О. М. из Саматихи. Тем временем в Москве решалась его судьба.

ПЕРВОЕ МАЯ

Приближалось первое мая, и весь санаторий чистился, мылся, готовился к празднику. Люди гадали, что будет на праздничный обед. Ходили слухи, что заказано мороженое. О. М. рвался удрать, а я его успокаивала: не идти же пешком на станцию. Потерпишь — каких-нибудь два дня, и все уляжется...

В один из последних дней апреля мы шли с О. М. в столовую, помещавшуюся в отдельном бараке, недалеко от главной усадьбы. Возле домика главврача стояли две машины, а легковые машины всегда вызывали у нас дрожь. Почти у самой столовой мы встретили врача с какими-то приезжими. Видом своим они резко отличались от отдыхающих — крупные, холеные, сытые... Один был в военном, другие в штатском. Явно — начальство, но неужели районное? На районных секретарей, которых нам приходилось встречать, они нисколько не походили. «Комиссия», — подумала я. «А вдруг они проверяют, здесь ли я, — вдруг сказал О. М. — Ты видела, как он на меня посмотрел?» Действительно, один из приезжих, одетый в штатское, оглянулся и внимательно на нас посмотрел, а потом что-то сказал врачу. Но мы тут же об этом позабыли. Гораздо естественнее было предположить, что это районная комиссия проверяет, как санаторий

готовится к международному празднику первого мая. В такой жизни, как наша, приходилось все время бороться с припадками страха, когда невольно у каждого накапливаются приметы приближающейся катастрофы, иногда реальные, иногда впустую, но самые поиски этих примет приводят человека на грань психического заболевания. Мы старались не поддаваться, но тщетно. И припадки холодного ужаса перемежались у нас с легкомыслием, и с собственными шпиками мы разговаривали, как со знакомыми.

Весь день первого мая шла гульба. Мы сидели у себя и выходили только в столовую, но к нам доносились крики, песни и отголоски драк. К нам спаслась одна отдыхающая, текстильщица с одной из подмосковных фабрик. Чего-то она болтала, а О. М. шутил с ней, а я дрожала, что он скажет что-нибудь лишнее, а она побежит и донесет. Разговор зашел об арестах в их поселке. Она рассказала про одного арестованного, что он хороший человек и к рабочим был всегда внимателен. О. М. стал ее расспрашивать... Когда она ушла, я долго его упрекала: «Что за невоздержанность... ну кто тебя за язык тянет!...» Он уверял меня, что больше не будет — обязательно исправится и ни с кем из посторонних слова не скажет... И я навсегда запомнила, как я сказала: «Жди, пока исправишься — великий сибирский путь»...

В ту ночь мне приснились иконы. Сон не к добру. Я проснулась в слезах и разбудила О. М. «Чего теперь бояться, — сказал он. — Все плохое уже позади...» И мы снова заснули... А мне никогда ни раньше, ни потом иконы не снились. — они не входили в наш быт, а старинные, которые мы любили, были для нас живописью на загрунтованных досках.

Нас разбудили под утро — кто-то скромно постучал в дверь. О. М. вышел отворить. В комнату вошло трое — двое военных и главврач. О. М. одевался, я накинула халат и сидела на кровати. «Ты знаешь, когда подписан ордер?» — сказал О. М. Оказалось, что около недели назад. «Ничего не поделаешь, — объяснил военный. — Перегрузка...» Он пожаловался, что люди в праздник гуляют, а им приходится работать, и грузовик они в Черусти еле раздобыли — никого не найдешь... Очнувшись, я начала собирать вещи и услышала обычное: «Что даете так много вещей — думаете он долго у нас пробудет? Спросят и выпустят...»

Никакого обыска не было: просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок. Больше ничего... Я вдруг сказала: «Мой адрес: Москва, Нащокинский. Наши бумаги там». На Нащокинском уже ничего не было, и мне хотелось отвести их от комнаты в Калинине, где действительно находилась корзинка с бумагами. «На что нам ваши бумаги?» — миролюбиво ответил военный и предложил О. М. идти. «Проводи меня на грузовике до Черусти», — попросил О. М. «Нельзя», — сказал военный, и они ушли. Все это продолжалось минут двадцать, а то и меньше.

Главврач ушел с ними. Во дворе затарахтел грузовик. Я сидела на кровати, не шевелясь. Даже дверь за ними не закрыла. Они уехали, и тут вернулся врач. «Время такое, — сказал он, — не отчаивайтесь, может обойдется...» И он прибавил обычную фразу о том, что надо беречь силы: они пригодятся... Я спросила, что это за комиссия у него была. Оказалось, работники районного центра. Они затребовали, между прочим, списки отдыхающих. «Но я про вас даже не подумал», — сказал врач. У него уже арестовывали отдыхающих. Один раз тоже приезжали накануне, чтобы проверить списки отдыхающих, а в другой — просто запросили по телефону, кто из отдыхающих не находится на месте... Великое уничтожение людей тоже имеет свою технику: чтобы арестовать человека, надо застать его на месте. Главврач был старым коммунистом и славным человеком. Он спрятался подальше от шумной жизни в скромный рабочий дом отдыха, и там один вел все хозяйство и лечил людей. А жизнь все же врывалась к нему в его обитель, и никуда от нее уйти он не мог...

Утром прибежала текстильщица, та самая, которой я накануне вечером так испугалась. Она заплакала и последними словами крыла сукиных детей. Чтобы добраться до Москвы, мне пришлось распродать вещи. Те гроши, что у нас были, я отдала О. М. Текстильщица помогла мне распродаться и сложить чемодан. Пришлось мучительно долго ждать таратайку. Меня отправляли вместе с инженером, приехавшим на праздник в санаторий навестить отдыхавшего там отца. Врач простился со мной в комнате, а к таратайке вышла только текстильщица. Инженер рассказывал, когда мы тряслись в таратайке, что у него два брата и все трое работают в автомобильной промышленности, так что если рухнет один, загремят и оба другие:

молоды были, не думали, что следует поосторожнее и подальше друг от друга... Вот будет горе отцу... А мне казалось, что он просто чекист и везет меня прямо на Лубянку. Но мне было все равно.

Мы сошлись с О. М. первого мая 19 года, и он рассказал мне, что на убийство Урицкого большевики ответили «гекатомбой трупов...» Мы расстались первого мая 38 года, когда его увели, подталкивая в спину два солдата. Мы не успели ничего сказать друг другу — нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься.

В Москве я вошла к брату и сказала: «Осю забрали». Он побежал к Шкловским, а я отправилась в Калинин, чтобы вывезти оттуда оставленную у Татьяны Васильевны корзинку с рукописями. Задержись я хоть на несколько дней, содержимое корзинки попало бы в мешок, а меня бы увезли в черном вороне. В те дни я предпочла бы черного ворона своей так называемой свободной жизни. А что бы сталось со стихами? Когда я вижу книги разных аррагонов, которые хотят помочь своей стране и научить их жить, как мы, я думаю, что мне следует рассказать и о своем опыте. Ради какой идеи собственно нужно было посылать нескончаемые поезда с каторжниками на Дальний Восток и среди них человека, который был мне близок? О. М. всегда говорил, что у нас берут «безошибочно»: уничтожался не только человек, но и мысль.

ГУГОВНА

Мне попалась раз книжечка о вымерших птицах, и я вдруг поняла, что все мои друзья и знакомые не что иное, как вымирающие пернатые. Я показала О. М. парочку уже несуществующих попугаев, и он сразу догадался, что это мы с ним. Книжку эту, потаскав с собой, я потеряла, но эта аналогия успела открыть мне глаза на многое. Единственно, чего я тогда не знала, это то, что вымершие птицы необычайно живучи, а живое воронье ни на какую жизнь не способно.

Покойный Дмитрий Сергеевич Усов сказал мне, что считает породу О. М. не еврейской, а ассирийской. «Где? в чем?» — удивилась я. Усов показал ассирийский ракурс в строчке: «солнц подсолнечника грозных прямо в очи оборот». «Поэтому он так легко раскусил ассирийца», — прибавил Усов.

Бородатый, задыхающийся и одичавший, как О. М., тоже ничего не боящийся и всем напуганный, Усов умирал в ташкентской больнице и звал меня проститься, а я опоздала прийти. Пусть он простит мне этот грех за то, что я скрасила стихами Мандельштама, любимого им беспредельно, его последние дни. Когда Мишенька Зенкевич ездил по каналу, каторжник Усов уже зарабатывал там свою грудную жабу. Он принадлежал к «словарникам» — делу, по которому ждали много расстрелов, но чей приговор был смягчен по ходатайству Ромена Роллана. Во время войны кое-кто из словарников вышел, отсидев пять лет в лагерях, и попал в Среднюю Азию, куда выслали их жен. Эти сорокапятилетние люди один за другим умирали от сердечных болезней, нажитых в лагерях. Среди них — мой приятель Усов. Каждое такое дело — эрмитажники, историки, словарники — это крупица народного мозга, это мысль и это духовная сила, которую планомерно уничтожали.

Алиса Гуговна Усова похоронила своего великана на ташкентском кладбище, приготовила себе рядом могилку и осталась доживать свои дни в смертельно опасном для нее среднеазиатском климате. Она еще умудрилась вытащить из глухой казахстанской ссылки какого-то бывшего ответственного работника с большой семьей за то, что он помог ей коротать ссыльные годы, колоть дрова и таскать воду. Все это семейство она прописала в своей комнате в доме педагогического института. Это было сделано затем, чтобы добро, то есть комната, полученная профессором Усовым, зря не пропала после ее смерти. Тогда она решила, что совершила на земле все земное, и спокойно легла в могилу, заранее заплатив кладбищенским нищим, чтобы они и над ней посадили такое же дерево, как над Дмитрием Сергеевичем, а также поливали, пока не забудут, цветы. На вселенных в ее комнату людей она не очень надеялась...

Постепенно сходя на нет, Алиса Гуговна продолжала живо реагировать на все причуды жизни и осыпала отборной бранью чиновников, болванов и псевдоученых. В академической жизни

она плавала как рыба и твердо определяла, кто достоин и кто не достоин ученого звания, кто стукач и с кем можно распить бутылочку кислого винца. Это она придумала тост, произносимый в тех случаях, когда на наших скромных пирах вдруг появлялся кто-нибудь из аспирантов, которым доверять, разумеется, не приходилось. А на что можно донести, если профессорско-преподавательский состав сам добровольно поднимает первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь! Стукачи и аспиранты оставались на бобах...

Хромая Гуговна бегала по комнате и разводила неслыханный уют из остатков щербатого фарфора, гарусных одеял, совершенно рваных, но помнивших крепостное право, и кучки усовских книг. Любимую кружку они вместе с Усовым прозвали «щеглом» и позволяли пить из нее только тем, кто знал наизусть мандельштамовские стихи. Тоненькими пальчиками Гуговна массировала лицо и говорила про Анну Андреевну: «совершенно неухоженная женщина...» Она непрерывно заботилась о маникюре — а это особенно актуально, когда годами топишь времянку, скребешь кастрюли и полы, — и о своей длинной полуседой косе. Ее грызло тайное беспокойство, что, если она «не сохранит своего облика», Усов может не узнать ее на том свете. Точно так она беспокоилась о своем «облике» и в казахстанской ссылке, когда Усов отсиживал лагерный срок. Она тщательно готовилась встретить его такой же красоткой, как в ночь расставания. После смерти Усова она долго на него сердилась, что он так легкомысленно бросил ее одну, попросту дезертировал, и ей приходится самой разбираться во всех этих лексикологиях и стилистиках, чтобы заработать свой черствый вдовий кусок хлеба.

Она последняя владела прекрасной скрипучей музыкой московского барского говора, и Усов уверял, что ее при любых обстоятельствах назначат не простой, а почетной еврейкой. При этом учли бы ее московскую доссыльную профессию: она служила консультантом Ленинской библиотеки и определяла, кто изображен на портретах восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Ей были известны все сплетни про дам этого периода и не существовало лучшего знатока генеологии тех семейств, из которых вышли поэты.

Так кончали жизнь красотки моего поколения, вдовы страстотерпцев, утешавшихся в тюрьмах, лагерях и ссылках тайным

запасом хранимых в памяти стихов. Читатель стихов — особая порода, тоже принадлежавшая в те дни к числу вымирающих птиц. Лучшие читатели были последними добряками, прямыми и смелыми людьми. Откуда бралась у них смелость или, вернее, стойкость? Будет ли новое поколение читателей, тех, что появились сейчас в шестидесятые годы, похоже на своих предшественников? Сумеют ли они выдержать испытания, которые им готовит судьба, как их выдержала Гуговна, всегда твердившая, что она избалованная женщина, капризница и злюка. Судьба так баловала Гуговну, что она даже в ссылке сохранила длинную косу, отличную память на стихи и яростную нетерпимость ко всякому приспособленчеству и лжи.

Однажды Гуговну остановил в Сагу один молодой ученый и долго расспрашивал ее обо мне и о том, храню ли я бумаги Мандельштама. Гуговна отвечала уклончиво и тотчас прибежала ко мне, чтобы передать совет молодого ученого: немедленно бросить все бумаги в печку. Он настойчиво просил это передать мне, ссылаясь на какой-то таинственный источник, который он не смел назвать. «Ерунда, — сказала я, — и не подумаю. Если придут и заберут — это одно, но сама уничтожать ничего не буду...» «Правильно, — сказала Гуговна. — Но отдавать им тоже нельзя. Мы с вами приготовим для них копии, а подлинники спрячем». Мы просидели всю ночь и приготовили груду копий, а подлинники Гуговна унесла с собой и куда-то пристроила; мы придерживались такого правила: на случай ареста я не должна была знать, у кого спрятаны бумаги. Это означало, что я ни при каких обстоятельствах не смогу назвать место, где они лежат... Мы всегда готовились к худшему и, может, поэтому уцелели. Встречаясь со мной в Сагу, где мы обе служили, Гуговна оповещала меня о здоровьи «щеглов», — все в порядке, поют, — и даже успела прослыть любительницей птиц. Это произошло в тот период, когда ко мне ходила «частная ученица», про которую Лариса сообщила мне, что она «служит у папы». Похоже, что эта «ученица» работала не по приказу сверху, а по собственной инициативе, потому что отец Ларисы, когда она пришла к нему жаловаться, что Лариса ходит ко мне и мешает ей «работать», велел оставить меня в покое. Он сказал, что О. М. не политический, а уголовный преступник: «был пойман в Москве, наскандалил там, а не имел права там находиться»... И еще он сказал, что я «числюсь за Москвой».

ский почему-то их отобрал... Зачем ему нужны были стихи, ведь он никогда стихов не читал... Чтобы прекратить этот бессмысленный разговор, я прервала Суркова и сказала, что́ думаю о роли Ставского. Сурков не возражал.

То же самое мне пришлось повторить Симонову, к которому я однажды зашла в отсутствие Суркова. Симонов, великий дипломат, посоветовал подать заявление о посмертном приеме в Союз Мандельштама, сославшись на то, что Ставский собирался оформить членство О. М. между первым и вторым арестом. Я отказалась от такой тактики и сообщила Симонову, что́ я думаю о роли Ставского. Он тоже ничего не возразил. Опытный человек, он знал, что делают начальники в роковые годы. И Суркову, и Симонову, кажется, повезло: в эти годы они в начальниках не состояли и поэтому списков арестованных не подписывали и «характеристик» на уничтожаемых с них не требовали. Дай то им Бог, чтобы это было так...

А разве дело в фамилии начальника? Любой бы сделал это, иначе за ним бы ночью пришла машина... Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтительными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в отряд овец. И те, и другие проявляли чудеса покорности, убивая в себе все человеческие инстинкты. Почему мы, например, не выдавили стекла, не выпрыгнули в окно, не дали волю глупому страху, который погнал бы нас в лес, на окраину, под пули? Почему мы стояли смирно и смотрели, как роются в наших вещах? Почему О. М. покорно пошел за солдатами, а я не бросилась на них, как зверь? Что нам было терять? Неужели мы боялись добавочной статьи о сопротивлении при аресте? Ведь конец всё равно один — чего уж там бояться? Нет, это не страх. Это совсем другое чувство: сковывающее силы и волю сознание собственной беспомощности, которое овладело всеми без исключения — не только теми, кого убивали, но и убийцами. Раздавленные системой, в построении которой так или иначе участвовал каждый из нас, мы оказались негодными даже на пассивное сопротивление. Наша покорность развязывала тех, кто активно служил этой системе, и получался порочный круг. Как из него выйти?

ОКОШКО НА СОФИЙКЕ

Единственная связь с арестованными — передача. Раз в месяц, отстояв длинную очередь — аресты приуменьшились и мне не приходилось стоять больше трех-четырех часов — я подходила к окошку и называла фамилию. Человек в окошке перелистывал списки на букву «м» — я приходила в дни, когда он перелистывал эту букву. «Имя, отчество?» Я говорила, и из окошка высовывалась рука. Я вкладывала в нее свой паспорт и деньги, затем получив обратно паспорт с вложенной в него распиской, уходила. Мне все завидовали, потому что я знала, где находится мой арестованный и что он еще жив. Ведь то и дело из окошка раздавалось рявканье: «Нету... следующий...» Всякие расспросы были бесполезны. Вместо ответа человек в клетке захлопывал окошко, а к вопрошавшему приближался солдат из внешней охраны... Порядок мгновенно водворялся, и к окошку подходил следующий, чтобы назвать фамилию своего арестанта. Если бы кто-нибудь пожелал задержаться у окошка, очередь помогла бы солдату из внешней охраны выдворить его.

В очереди никаких разговоров обычно не происходило. Это была главная тюрьма в Советском Союзе, и публика здесь подбиралась отборная, дисциплинированная, солидная... Никаких недоразумений не случалось, разве что кто-нибудь задаст лишний вопрос, но тут же, смутившись, ретируется. Только однажды пришли две накрахмаленные девочки, у которых накануне ночью увели мать. Их пустили без очереди, не спросив на какую букву начинается их фамилия. У всех женщин наверное сжалось сердце при мысли, что скоро точно также к окошку подойдут их собственные дети. Кто-то приподнял старшую девочку, потому что она не доставала до окошка, и она закричала «Где мама?» и «Мы не хотим в детдом... Мы не вернемся домой...» Окошко захлопнулось, а девочки успели еще сказать, что их папа военный. Это могло означать и настоящий военный, и чекист. Детей чекистов с детства учили говорить,

каз. Таков обычный путь жены арестованного, если она сама так удачлива, что не угодила в лагерь. В гладкой, несокрушимой стене, о которую мы бились, проделали специальные окошки для подачи заявлений и для получения справок и отказов. Из лагеря я получила письмо — одно единственное — и это тоже считалось большой удачей: ведь я узнала, где находится О. М. Немедленно я выслала посылку, и она вернулась ко мне «за смертью адресата». Через несколько месяцев брату О. М. — Александру Эмильевичу — выдали справку о смерти О. М. Никто из моих знакомых женщин таких справок не получал. Не знаю, почему мне была оказана такая милость.

Незадолго до Двадцатого съезда, гуляя с Анной Андреевной по Ордынке, я заметила неслыханное скопление шпиков. Они торчали буквально из каждой подворотни. «На этот раз не бойтесь, — сказала Анна Андреевна. — Происходит что-то хорошее». До нее дошли смутные слухи о партийной конференции, на которой Хрущев зачитал свое знаменитое письмо. Именно по поводу этой конференции город охранялся толпами агентов, переодетых в штатское. Вот тут-то Анна Андреевна и посоветовала мне сходить в Союз позондировать почву. Мы уже знали, что вдова Бабеля и дочь Мейерхольда подали на реабилитацию. Эренбург давно уже советовал мне последовать их примеру, но я не торопилась, а в Союз все же пошла. Ко мне выскочил Сурков, и по его обращению я поняла, что времена действительно переменились: так со мной еще никто никогда не разговаривал... Первая встреча с Сурковым произошла в приемной, при секретаршах. Принять меня он обещал через несколько дней и очень просил не уезжать из Москвы, не поговорив с ним. Две или три недели подряд я звонила в отдел кадров, и меня нежно уговаривали подождать еще. Это означало, что Сурков еще не получил инструкций, как со мной разговаривать, и я ждала, удивляясь, как страшное место, называющееся «отдел кадров» внезапно переменило тон. Свидание, наконец, состоялось, и я увидела, как Сурков радуется тому, что может говорить как человек. Он обещал помочь Леве Гумилеву, и сделал все, что я просила для меня. Благодаря Суркову я дослужила до пенсии, потому что к моменту нашего разговора я опять сидела без работы и он обратился к министру просвещения и рассказал, что со мной вытворяют... Будущее представлялось ему радужным; он обещал перетащить меня в

Москву — комната, прописка — и заговаривал о печатании Мандельштама, о его наследстве... Для начала он просил, чтобы я подала на реабилитацию. Я допытывалась, что было бы, если б у Мандельштама не осталось вдовы, кто бы тогда подал эту бумажку, но упрямиться не стала... Вскоре я получила повестку о реабилитации по второму делу 38 года и прокурорша продиктовала мне заявление относительно реабилитации по делу 34 года: «подсудимый написал стихи, но распространением их не занимался...» Это дело рассматривалось во время венгерских событий, и в реабилитации мне отказали. Сурков решил с отказом не считаться и назначил комиссию по наследству. Мне выдали пять тысяч за голову погибшего. Я разделила их между теми, кто помогал нам в 37 году. Таков ритуал возвращения к жизни писателей, погибших в лагерях. Второй этап — печатание их книг.

Препятствий к изданию книги слишком много. Я не знаю, что такое конкуренция, которой нас пугают, но отлично видела борьбу за место в обществе, которая велась у нас всеми средствами. Когда пошли первые слухи о микояновских комиссиях, многим стало не по себе — и далеко не только тем, кто способствовал изъятию соперников. Я слышала шепотки о том, куда же денутся возвращенцы: а вдруг им захочется занять свои прежние места. Сколько новых единиц понадобится в советских учреждениях, чтобы пристроить все эти толпы? Никакой драмы, однако, не произошло. Большинство вернулось в таком состоянии, что ни о какой активной деятельности не помышляло. Все прошло спокойно, и те, кто боялся, что им придется потесниться, облегченно вздохнули. Иное дело литература. Тщательно построенная табель литературных рангов подлежит активной охране, иначе рухнет множество устоявшихся репутаций. Вот почему так старательно противодействуют изданию книг покойников. Впрочем, и с живыми поступают не лучше.

Книга О. М. была поставлена в план «Библиотеки поэта» в 56 году. Все члены редколлегии высказались за издание. Мне очень понравилась точка зрения Прокофьева — он считает, что никакого поэта Мандельштама не существует и, чтобы рассеять иллюзии, надо его издать. К несчастью, он, видимо, не способен стоять на такой благородной позиции и не прекращает борьбу с изданием. Орлов, главный редактор «Библиотеки», не

нием. Гражданская смерть — ссылка или, еще точнее, арест — потому что сам факт ареста означал ссылку и осуждение — приравнивался, очевидно, к физической смерти и являлся полным изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант: вдовство и сиротство начинались с момента ареста. Иногда женщинам в прокуратуре, сообщив о десятилетней ссылке мужа, говорили: можете выходить замуж... Никто не беспокоился, как согласовать такое любезное разрешение с официальным приговором, который отнюдь не означал смерти. Как я уже говорила, я не знаю, почему мне оказали такую милость и выдали «свидетельство о смерти». Нет ли в этом какой-то подоплеки?

В тех условиях смерть была единственным выходом. Когда я узнала о смерти О. М., мне перестали сниться зловещие сны. «Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер, — сказал мне впоследствии Казарновский, — иначе он бы поехал на Колыму». Сам Казарновский провел ссылку на Колыме и в 44 году явился в Ташкент. Он жил без прописки и без хлебных карточек, прятался от милиции, боялся всех и каждого, запойно пил и за отсутствием обуви носил крошечные калошки моей покойной матери. Они пришлись ему впору, потому что у него не было пальцев на ногах. Он отморозил их в лагере и отрубил топором, чтобы не заболеть заражением крови. Когда лагерников гоняли в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзало и стучало, как жесть. Недавно я слышала спор: кто выживал в лагерях — работяги или те, кто от работы уклонялся. Работавшие надрывались, а уклонявшиеся пропадали из-за недостатка хлеба. Мне, не имевшей ни доводов, ни своих наблюдений и примеров в защиту той или другой теории, было ясно, что вымирали и те, и другие. Немногочисленные люди, которые выживали, составляли исключение. Иначе говоря, спор напоминал сказку о русском богатыре на перепутьи трех дорог, из которых каждая грозит гибелью. Основное свойство русской истории, непреходящее, постоянное, что богатырю и не богатырю всякая дорога грозит гибелью, из которой он может лишь случайно вывернуться. Я удивляюсь не этому, а тому, что кое-кто из слабых людей действительно оказался богатырем и сохранил не только жизнь, но и светлый ум и память. Таких людей я знаю и рада бы перечислить их имена, но еще не стоит, и потому помяну того, кого мы все уже знаем — Солженицына.

Казарновский сохранил только жизнь и разрозненные воспоминания. В стационарный лагерь он попал зимой, и запомнил, что это было голое место: осваивались новые площади для огромного потока каторжан. Там не стояло ни одной постройки, ни одного барака. Жили в палатках и сами строили себе тюрьму и бараки. Осваивали новую землю для новых поселенцев.

Я слышала, что из Владивостока на Колыму отправляли только морем. Бухта замерзает, хотя и довольно поздно. Каким образом попал Казарновский зимой на Колыму? Ведь навигация должна была прекратиться... Или первый его стационарный лагерь находился не на Колыме, и его отправили этапом куда-нибудь неподалеку, чтобы разгрузить пересыльный лагерь, так называемую «пересылку», набитую до отказа прибывающими на поездах ссыльными... Этого мне выяснить не удалось — в больном мозгу Казарновского все перепуталось. А между тем для датировки смерти О. М. мне следовало бы знать, в какой момент Казарновский покинул «пересылку».

Казарновский был первым более или менее достоверным вестником с того света. Задолго до его появления я уже слышала от вернувшихся, что Казарновский действительно находился в одной партии с О. М. В «пересылке» они жили вместе и как будто Казарновский чем-то даже помогал О. М. Нары они занимали в одном бараке, почти рядом... Вот почему я в течение трех месяцев прятала Казарновского от милиции и медленно вылущивала те сведения, которые он донес до Ташкента. Память его превратилась в огромный прокисший блин, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками. Я уже знала, что такая болезнь памяти — не индивидуальная особенность несчастного Казарновского, и что здесь дело не в водке. Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми — для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывалось в памяти этих потрясенных людей в клубок и распутать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала — это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых. Лагерный быт рассыпался у них на

у нас такие вещи не допускаются, это невыгодно правителям... Вот почему и для меня он надеялся только на помощь Литфонда. Моя же судьба сложилась иначе, и во время войны, когда про нас забыли, мне удалось уйти в другую сферу, и поэтому сохранила жизнь и память.

Иногда, в светлые минуты, О. М. читал лагерникам стихи, и, вероятно, кое-кто их записывал. Мне пришлось видеть «альбомы» с его стихами, ходившими по лагерям. Однажды ему рассказали, что в камере смертников в Лефортове — в годы террора там сидели вперемежку — видели нацарапанные на стене строки: «неужели я настоящий и действительно смерть придет». Узнав об этом, О. М. развеселился и несколько дней был спокойнее.

На работы — даже внутрилагерные, вроде приборки — его не посылали. Даже в этой истощенной до предела толпе он выделялся своим плохим состоянием. По целым дням он слонялся без дела, навлекая на себя угрозы, мат и проклятия всевозможного начальства. В отсев он попал почти сразу и очень огорчился. Ему казалось, что в стационарном лагере все же будет легче, хотя опытные люди убеждали его в противном.

Однажды О. М. услышал, что в пересыльном лагере находится человек по фамилии Хазин, и попросил Казарновского пойти с ним отыскать его, чтобы узнать не приходится ли он мне родственником. Мы оказались просто однофамильцами. Этот Хазин, прочтя мемуары Эренбурга, написал ему, и мне удалось с ним встретиться. Существование Хазина — еще одно доказательство, что Казарновский действительно был с Мандельштамом. Сам Хазин О. М. видел два раза: когда О. М. пришел к нему с Казарновским, и, вторично, когда он свел его к лагернику, который его разыскивал. Хазин говорит, что встреча О. М. с этим разыскивающим его человеком была очень трогательной. Ему запомнилось, будто фамилия этого человека была Хинт, и что он был латыш, инженер по профессии. Хинта пересылали из лагеря, где он находился уже несколько лет, в Москву, на пересмотр. Такие пересмотры обычно кончались в те годы трагически. Кто был Хинт, я не знаю. Хазину показалось, будто он школьный товарищ О. М. и ленинградец. В пересылке Хинт пробыл лишь несколько дней. И Казарновский запомнил, что О. М. с помощью Хазина нашел какого-то старого товарища.

По сведениям Хазина, Мандельштам умер во время сыпного тифа, а Казарновский эпидемии тифа не упоминал, между тем, она была, и я о ней слышала от ряда лиц. Мне следовало бы принять меры, чтобы разыскать Хинта, но в наших условиях это невозможно — ведь не могу же я дать объявление в газету, что разыскиваю такого-то человека, видевшего в лагере моего мужа... Сам Хазин человек примитивный. Он хотел познакомиться с Эренбургом, чтобы рассказать ему о своих воспоминаниях начала революции, в которой он участвовал вместе со своими братьями, кажется, чекистами. Именно этот период сохранился у него в памяти, и все разговоры со мной он пытался свести на свой былой героизм...

Возвращаюсь к рассказам Казарновского. Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал — это единственная датировка, которой я добилась. Всех погнали чистить снег, а О. М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О. М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму... Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по несколько человек на одну яму — покойников всегда хватало — и каждому к ноге привязывали бирку с номерком.

Это еще не худший вариант смерти, и я хочу верить, что рассказ Казарновского соответствует действительности. Не сравнишь ведь этого со смертью Нарбута. Про него говорят, что в пересыльном он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки. Такие случаи, кажется, бывали... Павел, бывший ворецидивист, который носил мне воду и дрова в Тарусе, рассказал однажды по собственной инициативе, что ему пришлось слышать взрыв, донесшийся с моря, и видеть погружающуюся в воду баржу, на которой, по слухам, находилась «пятьдесят восьмая», инвалиды из «политицких». Люди, которые во что бы то ни стало желают и сейчас для всего искать оправданий, а таких среди бывших зэков много, убеждают меня, что взорвали только одну баржу, а начальника лагеря, который совершил такое беззаконие, потом расстреляли. Это — действительно умилительная концовка, но меня она почему-то не умиляет.

Большинство известных мне людей умерло в лагерях почти

сразу. Люди гуманитарных профессий едва ли могли там выжить, да и жить не стоило. К чему тянуть жизнь, если смерть приходит на выручку? Что дали бы несколько добавочных дней Маргулису, которому покровительствовала шпана за то, что он по ночам рассказывал им романы Дюма? Он находился вместе со Святополк-Мирским, который почти сразу дошел до полного истощения и тоже скоро умер. Слава Богу, что люди смертны, но жить и там, за проволокой стоило, чтобы запомнить и рассказать людям. Может это остановит их в дни, когда им захочется повторить наши безумства.

Вторым достоверным свидетелем был биолог М., которого О. М. просил в случае освобождения зайти к Эренбургу и рассказать о его последних лагерных днях — он понимал, что сам выжить не сможет. Его рассказ я передаю со слов Эренбурга, который к моему приезду из Ташкента успел кое-что забыть; в частности, он называл М. агрономом, потому что тот по освобождении, чтобы укрыться подальше, работал агрономом. В основном сведения М. совпадают с рассказами Казарновского. Он считал, что О. М. умер в первый же год, до открытия навигации, то есть до мая или июня 39 года. М. довольно подробно передал разговор с врачом, на счастье, тоже ссыльным и понаслышке знавшем Мандельштама. Врач говорил, что спасти О. М. не удалось из-за невероятного истощения. Это подтверждается сообщением Казарновского о том, что О. М. боялся есть, хотя, конечно, лагерная пища была такая, что люди, отнюдь не боявшиеся есть, превращались в тени. В больнице О. М. пролежал всего несколько дней, а М. встретил врача сразу после смерти О. М.

О. М. правильно указал биологу М. на Эренбурга, прося его сообщить Илье Григорьевичу о своих последних днях, потому что никто другой из советских писателей, исключая Шкловского, не принял бы в те годы такого посланца. А к писателям-париям сам посланец не решился бы зайти, чтобы вторично не угодить на тот свет.

Люди, отбыв свои пятилетние и десятилетние сроки, то есть отделавшись, по нашим понятиям, минимумом, оставались обычно на месте, добровольно или поневоле, и сидели, притаившись, в своих медвежьих углах. После войны многие вторично попали в лагеря, а наш словарь и наши правовые понятия обогатились невероятным словом «повторник». Вот почему из лагерного призыва 37-38 годов выжили только единицы из молодежи, рано начавшей лагерные скитания, и мне пришлось говорить лишь с немногими, столкнувшимися там с О. М. Но слух о его судьбе широко разнесся по лагерям и десятки людей передавали мне лагерные легенды о злосчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидания и водили к людям, которые слышали — на их языке это звучало: «я наверное знаю» — про О. М. — что он жив или дожил до войны, содержится в одном из лагерей или вышел на волю. Находились и свидетели смерти, но встретившись со мной, они обычно смущенно признавались, что знают все со слов других, но, разумеется, совершенно достоверных свидетелей.

Кое-кто сочинял новеллы о его смерти. Рассказ Шаламова — это просто мысли о том, как умер Мандельштам и что он должен был при этом чувствовать. Это дань пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе. Но среди новелл есть и другие, претендующие на достоверность и изукрашенные массой подробностей. Одна из них рассказывает, что Мандельштам умер на судне, направлявшемся на Колыму. Далее следует подробный рассказ, как его бросили в океан. К легендам относится убийство Мандельштама уголовниками и чтение у костра Петрарки. Вот на последнюю удочку клюнули очень многие, потому что это типовой, так сказать, поэтический стандарт. Есть и рассказы «реалистического» стиля с обязательным участием шпаны. Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали «поэта». Р. испугался ночных гостей — чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О. М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно: «Вторая речка», пересыльный лагерь под Владивостоком. Рассказал мне всю эту историю Слуцкий и дал адрес Р., но тот на мое письмо не ответил.

Все мои информаторы были люди доброжелательные. Лишь однажды я подверглась настоящему издевательству. Дело происходило в Ульяновске, в самом начале пятидесятых годов, еще при жизни Сталина. По вечерам ко мне повадился ходить

член кафедры литературы, он же заместитель директора, некто Тюфяков, инвалид войны, весь увешанный орденами за работу в войсковых политотделах, любитель почитать военные романы, где описывается расстрел труса или дезертира перед строем. Всю свою жизнь Тюфяков отдал «делу перестройки вузов» и потому не успел получить ни степеней, ни дипломов, ни высшего образования. Это был вечный комсомолец двадцатых годов и «незаменимый работник». С тех пор, как «его сняли с учебы» и дали ему ответственное поручение, его задача состояла в слежке за чистотой идеологии в вузах, о малейших уклонениях от которой он сообщал куда следует. Его переводили из вуза в вуз, главным образом, чтобы следить за директорами, которых подозревали в либерализме. Именно для этого он и прибыл в Ульяновск на странную и почетную роль «заместителя», от которого нельзя избавиться, хотя у него нет формальных прав работать в высшем учебном заведении. Таких вечных комсомольцев у нас было два — Тюфяков и другой, Глухов, эту фамилию следовало бы сохранить для потомства — внуков и дочерей, преподающих где-то историю и литературу. Этот успел получить орден за раскулачивание и кандидатское звание за диссертацию о Спинозе. Он действовал открыто и вызывал к себе в кабинет студентов, чтобы обучить их, о ком и какую разоблачительную речь произнести на собрании, а Тюфяков трудился втихаря. Оба занимались разгромом вузов с начала двадцатых годов.

«Работу» со мной Тюфяков вел добровольно, сверх нагрузки, ради отдыха и забавы. Она доставляла ему почти эстетическое удовольствие. Каждый день он придумывал новую историю — Мандельштам расстрелян; Мандельштам был в Свердловске и Тюфяков навещал его в лагере из гуманных побуждений; Мандельштам пристрелен при попытке к бегству; Мандельштам отбывает новый срок в режимном лагере за уголовное преступление; Мандельштама забили на смерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба; Мандельштам освободился и живет на севере с новой женой; Мандельштам совсем недавно повесился, испугавшись письма Жданова, только сейчас дошедшего до лагерей... О каждой из этих версий он сообщал торжественно: только что справлялся и получил через прокуратуру такие сведения... Мне приходилось выслушивать его, потому что стукачей прогонять нельзя. Кончался наш разговор

литературными размышлениями Тюфякова: «Лучший песенник у нас Долматовский... Я ценю в поэзии чеканную форму... Без метафоры, как хотите, поэзии нет и не будет... Стиль — это явление не только формальное, но и идеологическое — вспомните слова Энгельса... С ними нельзя не согласиться... А не дошли ли до вас из лагеря стихи Мандельштама? Он там много писал»... Сухонькое тело Тюфякова пружинилось. Под военными, сталинского покроя усами, мелькала улыбка. Ему раздобыли в Кремлевской больнице настоящий корень жень-шеня, и он предостерегал всех против искусственных препаратов: «никакого сравнения...»

До меня часто доходили слухи о лагерных стихах Мандельштама, но всегда это оказывалось вольной или невольной мистификацией. Зато недавно мне показали любопытный список, собранный по лагерным «альбомам». Это достаточно искаженные записи ненапечатанных стихов, где нет ни одного с явным политическим звучанием, вроде «Квартиры». Основной источник — это циркулировавшие в тридцатых годах списки, но записывались стихи по памяти, и отсюда множество искажений. Некоторые стихи попали в старых, отвергнутых вариантах, например, «К немецкой речи». А кое-что, несомненно, надиктовано самим Мандельштамом, потому что ни в какие списки не попадало. Не он ли сам вспомнил свои детские стихи о Распятии? В альбомах попалось и несколько шуточных стихов, которых у меня нет, например, «Извозчик и Данте», но, к сожалению, в диком виде. Его могли завезти в те края только ленинградцы, а их там было более, чем достаточно.

Мне показал этот список Д., автор повести о нашей жизни, которая написана, как говорили в старину, «кровью сердца». В этой повести вскрыта самая сущность нашей злосчастной жизни, хотя в ней говорится о раскопках, змеях, архитектуре и канцелярских барышнях. Человек, вчитавшийся в эту повесть, не может не понять, почему лагеря не могли не стать основной силой, поддерживающей равновесие в нашей стране.

Д. утверждает, что видел Мандельштама в период «странной войны», то есть через год с лишним после 27 декабря 38 года, которое я считала датой смерти. Навигация уже открылась, а человек, которого Д. счел за О. М., или который действительно был О. М., находился в партии, направлявшейся на Колыму. Дело происходило все в том же лагере на «Второй речке». Д.,

тогда юноша, экспансивный и горячий, услыхал, что в партии находится человек, известный под кличкой «поэт», и пожелал его повидать. Человек этот отозвался, когда Д. окликнул его: «Здравствуйте, Осип Мандельштам». Отчества Д. не знал... «Поэт» производил впечатление душевнобольного, сохранившего все же некоторую ориентацию. Встреча была минутной — поговорили об осуществимости переправы на Колыму в дни военной тревоги. Затем старика — «поэту» на вид было лет семьдесят — позвали есть кашу и он ушел.

Старческий вид лагерника, мнимого или настоящего Мандельштама, не свидетельствует ни о чем: в тех условиях люди старились с невероятной быстротой, а О. М. никогда моложавостью не отличался и выглядел значительно старше своих лет. Но как сопоставить эти сведения с моими данными? Можно предположить, что Мандельштам вышел из больницы, когда все знавшие его уже рассеялись по лагерям, и прожил тенью еще несколько месяцев или даже лет. Или какой-нибудь старик — однофамилец, а у всех Мандельштамов повторяются одни и те же имена и они схожи лицом — откликнулся на прозвище «поэт» и жил в лагере, где его принимали за О. М. Есть ли основания считать человека, встреченного Д., О. Мандельштамом?

Мои сведения слегка поколебали уверенность Д., а его рассказ смутил меня, и я уже ни в чем не уверена. Разве есть что-нибудь достоверное в нашей жизни? И я взвесила все про и контра...

Д. с Мандельштамом знаком не был, но в Москве ему случалось видеть его, но всегда в периоды, когда О. М. запускал бороду, а лагерный «поэт» был гладко выбрит. Все же какие-то черты напомнили Д. облик Мандельштама. Для полной уверенности этого, конечно, мало — опознаться легче легкого. Д. узнал одну деталь, но не со слов «поэта», а через третьи руки: судьбу О. М. решило какое-то письмо Бухарина. Очевидно, в 38 году всплыло приложенное к первому делу письмо Бухарина к Сталину и многочисленные записки Бухарина, отобранные при первом обыске. Случай этот более, чем вероятный. И о нем мог знать только настоящий Мандельштам. Однако, остается открытым вопрос, говорил ли об этом письме таинственный старик по кличке «поэт», или ему только приписывали бытовавший в лагере рассказ уже умершего человека, за которого

его принимали. Иначе говоря: лагерники знали, что в деле Мандельштама фигурировало письмо Бухарина. Какого-то старика, быть может, однофамильца, принимали за О. М. и, вспомнив историю с бухаринским письмом, приписали ее старику. Проверить, что было на самом деле, невозможно. Но один факт здесь меня интересует: слух о письме. Это первый и единственный слух, дошедший до меня о тюремном периоде в период второго, повторного, дела. О. М. недаром сказал в «Четвертой Прозе»: «Мое дело не кончилось и никогда не кончится»... На основании письма Бухарина дело 34 года пересматривалось в 34 же году, и на основании того же письма оно пересматривалось и в 38... Далее оно пересматривалось в 55 году, но осталось совершенно темным, и я надеюсь, что оно будет пересматриваться еще не раз.

Но что же, собственно, подтверждает мою версию о смерти в декабре 38 года? Для меня первой вестью о смерти была возвращенная «за смертью адресата» посылка. Но этого еще не достаточно: мы знаем тысячи случаев, когда посылки возвращались с такой мотивировкой, а потом оказывалось, что адресат просто переведен в другое место и потому не получил своего ящичка. Вернувшаяся посылка прочно ассоциировалась со смертью, и для большинства это был единственный способ узнать о смерти близкого; между тем, в сумбуре перегруженных лагерей, обнаглевшие чиновники в военных формах писали что попало — смерть так смерть — не все ли равно? Попавшие за колючую проволку тем самым исключались из жизни и с ними не церемонились. И с военных фронтов приходили повестки о смерти солдат и офицеров, которые на самом деле были ранены или попали в плен. А ведь на фронте это делалось по ошибке, и люди, окруженные равными себе, пользовались вниманием и сочувствием всех. С лагерниками же обращались хуже, чем со скотами, и скоты, которые распоряжались их жизнью, специально обучались попирать все их человеческие права. Возвращение посылки не может служить доказательством смерти.

Дата в свидетельстве о смерти, выданном ЗАГС'ом, тоже ничего не доказывает. Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например, к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными. . Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В

период реабилитаций почти механически выставлялись, как даты смерти, сорок второй и сорок третий год. Кто же может поверить дате на свидетельстве о смерти? А кто пустил слух за границей о том, что Мандельштам находился в лагере в Воронежской области и был убит немцами? Ясное дело, что какой-нибудь прогрессивный писатель или дипломат, припертый к стенке иностранцами, которые, как выражается Сурков, лезут не в свое дело, свалил все на немцев, что было удобно и просто...

В свидетельстве о смерти написано, что в книге записей смерть О. М. зарегистрирована в мае сорокового года. Это, пожалуй, единственная реальность. Как будто, можно надеяться, что живого не записали в книгу мертвых, хотя абсолютной уверенности и в этом нет. Предположим, что к Сталину обратился какой-нибудь Ромен Роллан, с которым Сталин считался, и попросил об освобождении Мандельштама. У нас случалось, что по просьбе из заграницы, обращенной к хозяину, отпускали людей на волю... Сталин мог не захотеть отпустить Мандельштама, или его нельзя было выпустить, потому что в тюрьме его забили... В таком случае, ничего бы не стоило объявить его мертвым и, выдав мне свидетельство о смерти, сделать меня рупором этой правительственной лжи. Почему мне выдали это свидетельство, хотя другим не выдавали? С какой целью?

А если Мандельштам действительно умер где-то до мая сорокового года — скажем, в апреле — Д. мог его видеть, и старик «поэт» был О. М.

Можно ли положиться на сведения Казарновского и Хазина? Лагерники в большинстве случаев не знают дат. В этой однообразной и бредовой жизни даты стирались. Казарновский мог уехать — когда и как его отправили, так и осталось неизвестным, — до того времени, как О. М. выпустили из больницы. Слухи о смерти О. М. тоже ничего не доказывают: лагеря живут слухами. Разговор М. с врачом тоже не датирован. Они могли встретиться через год или два... Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу оцепленном проволкой, ни за его пределами. В страшном месиве и крошеве, в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми, никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб. Горячечный бред лагерных мучеников не знает времени, не отличает действительности от вымысла. Рассказы этих людей не более достоверны, чем всякий рассказ о хождении по мукам. А те немногие, кто сохранился свидетелями — а Д. один из них — не имели возможности проделать исследовательскую работу и на месте проанализировать все данные за и против.

Я знаю одно: человек, страдалец и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах и вокруг него копошились другие смертники. Вероятно, он ждал посылки. Ее не доставили, или она не успела дойти... Посылку отправили обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О. М. погиб. Для него, ожидавшего посылку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откормленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рыться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то непроизносимую фамилию, перечеркнул адрес, написал на сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову — «за смертью адресата» — и отправил ящичек обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть.

А после его смерти — или до нее? — он жил в лагерных легендах, как семидесятилетний безумный старик с котелком для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный «поэтом». И какой-то другой старик — или это был О. М.? — жил в лагере на «Второй речке» и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он.

Вот всё, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама. Другие знают о гибели своих близких еще меньше.

ЕЩЕ ОДИН РАССКАЗ

Еще немного я все же знаю. Транспорт вышел седьмого сентября 38 года. Л., физик по профессии, работавший в одном из подвергшихся полному разгрому втузов Москвы, потому что в нем работал сын человека, ненавистного Сталину, не пожелал, чтобы я назвала его имя: «Сейчас ничего, но кто его знает, что будет потом, поэтому прошу моего имени не запоминать...» Он попал в этот транспорт из Таганки. Другие были из внутренней тюрьмы, и только перед самой отправкой их переводили в Бутырки. Еще в дороге Л. узнал, что с этим транспортом едет Мандельштам. Случилось, что один из спутников Л. заболел и на несколько дней его поместили в изолятор. Вернувшись, он рассказал, что в изоляторе встретился с Мандельштамом. По его словам, О. М. все время лежит, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились какие-то гроши, и конвойные покупают ему иногда на станциях булку. О. М. разламывает ее пополам и делится с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивается, пока в щелку из-под одеяла не заметит, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы — в этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды.

Во Владивосток прибыли в середине октября. Лагерь на «Второй Речке» оказался чудовищно перенаселенным. Новый транспорт девать было некуда. Арестантам велели размещаться под открытым небом между двумя рядами бараков. Стояла сухая погода, и Л. под крышу не рвался. Он уже заметил, что вокруг уборные — а что такое лагерные уборные, можно себе представить — всегда сидят на корточках полуголые люди и бьют вшей на своей уже превратившейся в лохмотья одежде. Но сыпняк еще не начался.

Через несколько дней новичков погнали на комиссию. Она состояла из представителей лагерного начальства Колымы. Там шло строительство, и начальство нуждалось в рабочей силе

первого разряда, а таких здоровяков не легко было выискать в толпе измученных тюрьмой, ночными допросами и «упрощенными методами» людей. Многие попадали в отсев, среди них тридцатидвухлетний Л., который мальчишкой сломал себе ногу. Отгрузка из лагеря шла медленно, а новые транспорты продолжали подбрасывать сотнями, а может и тысячами, голодных и грязных одичалых людей. Л. составил себе приблизительное представление о численности лагеря. Человек точного математического ума, он анализировал, запоминал и регистрировал все, что видел, в течение всех своих двадцати с лишним каторжных лет. Но его знания никогда не станут достоянием людей, потому что устав от лагерной жизни, ничему не доверяя и ничего, кроме покоя, не желая, он ушел в себя, в свою новую семью, и весь смысл существования для него сосредоточился на дочке, последней отраде пожилого и больного человека. Это один из блистательных свидетелей, но он не даст показаний. Исключение он сделал для меня; и вообще о встрече с Мандельштамом, которая произвела на него большое впечатление, он иногда рассказывал и в лагере, и после освобождения. Я не спросила его, а следовало бы, долго ли колымские комиссии требовали себе здоровых людей. Не удовлетворялись ли они потом любым работником с тем, чтобы, выжав из него остатки силы, списать его в расход. Качество рабочей силы могло замениться количеством.

Пошли дожди, а попасть в барак и заручиться там местом стало возможным только с бою, и бои завязывались на каждом шагу. К этому времени Л. уже был старшим или старостой бригады в шестьдесят человек. Его обязанности заключались только в распределении хлебных пайков, но с наступлением дождей, бригада потребовала у своего старосты, чтобы он раздобыл какое-нибудь помещение. Л. предложил проверить, не осталось ли свободных чердаков. Люди побойчее, — а бойкость в большинстве случаев зависела от возраста, — и покрепче, ценили чердачные помещения: там была меньшая скученность и не такой спертый воздух. Правда, зимой их пришлось бы очистить, чтобы не замерзнуть и не сгореть у дымохода, но так далеко никто не заглядывал: лагерники всегда живут ближайшими целями. Запрятавшись ночью на чердак, выгадывали несколько недель сравнительной свободы.

Вскоре нашелся подходящий чердак, где разместилось чело-

век пять шпаны, хотя там могло поместиться втрое больше. Л. с товарищами отправился на разведку. Вход оказался заколоченным досками. Одна доска поддалась. Л. сорвал ее и очутился лицом к лицу с представителем шпаны. Л. уже готовился к бою, но хозяин вежливо представился: «Архангельский...» Вступили в переговоры. Оказалось, что комендант предоставил этот чердак Архангельскому с товарищами. Л. предложил пойти вместе к коменданту, на что Архангельский вежливо согласился. Комендант занял неожиданную позицию — он постарался примирить стороны. Он мог почувствовать уважение к Л., который не побоялся ввязаться в конфликт со шпаной, или же принял и его за уголовника. Он сказал: «Такое положение — надо учесть... потесниться... жилищный кризис...» Одержав победу, Л. вернулся к товарищам, чтобы выбрать среди них десяток для вселения на чердак, но они передумали и не захотели селиться со шпаной: обокрадут! Л. пробовал их уговаривать: красть у них нечего, а численностью они будут вдвое превосходить шпану, но они предпочли остаться под открытым небом. А у Л. появился новый знакомый — при встречах они всегда раскланивались с Архангельским. Встречи обычно происходили в центре лагеря, где всегда была толкучка и шел торг и обмен.

Однажды Архангельский пригласил Л. зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. Ограбления Л. не боялся — месяцами он спал не раздеваясь и его лохмотья не соблазнили бы даже лагерного вора. У него сохранилась только шляпа, но в лагере это не ценность. Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел.

На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней — открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением — люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи...

Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Л. узнал эти стихи — то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел — видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял.

После этого вечера Л., встречая Мандельштама, всегда к не-

му подходил. Они легко разговорились, и тут Л. заметил, что О. М. страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, из-за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-от прививок... Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или «прививках», делавшихся «внутрь», чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания... Такие слухи упорно ходили с середины двадцатых годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально-опасный» — и вот в больном мозгу это все смешалось — и О. М. вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его «опасным» и поскорее от него избавиться. Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких «прививок...»

В психиатрии Л. не понимал, но ему очень хотелось помочь О. М. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что О. М. вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем «бешенстве». Может быть для того, чтобы его сторонились... «Но меня вы же не хотите отпугивать», — сказал Л. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.

В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом, на территории, отведенной для уголовников, по правилам, пятьдесят восьмую статью, как особо вредную, должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось, — шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пятачке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И, наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была «пересылка».

Среди добровольцев оказался и Л. Этот человек не падал духом. Чем невыносимее были условия, тем сильнее оказы-

валась его воля. По лагерю он ходил, сжав зубы и упорно повторяя про себя: «Я все вижу и все знаю, но даже этого недостаточно, чтобы убить себя». Его помыслы были направлены на одну цель: не позволить уничтожить себя, сохранить жизнь вопреки всему. Я хорошо знаю это чувство, потому что точно так, сжав зубы, прожила почти тридцать лет. И поэтому я отношусь с огромным уважением к Л.: ведь я знаю, чего стоило сохранить жизнь в обычных условиях, а он поставил себе эту труднейшую задачу в лагере тридцать восьмого года и не отказался от нее в течение всех страшных лет. Он вернулся в 56 году больной туберкулезом, с безвозвратно загубленным сердцем, но все же вернулся, и психика его осталась нетронутой, и память сохранилась лучше, чем у большинства наших людей на воле.

На работу Л. взял с собой напарником О. М. Это было возможно, потому что на «пересылке» никаких норм выработки не существовало, да и сам Л. надрываться не собирался. Они грузили на носилки один-два камня, тащили их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратно носилки нес Л. Однажды, отдыхая на куче камней, О. М. сказал: «Первая моя книга называлась «Камень», а последняя тоже будет камнем...» Л. запомнил эту фразу, хотя не знал названия книг О. М., и он прервал свой рассказ, спросив у меня: «А его книга действительно называлась 'Камнем'?» Ему было приятно, когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проверил свою память...

Вырвавшись из толпы, в сравнительном безлюдьи и спокойствии территории уголовников, оба они воспряли духом. Рассказ Л. объясняет фразу из последнего письма О. М.: он пишет, что выходит на работу и это подняло настроение. Все утверждали, что в «пересылке» на работу не посылают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Л.

В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Л. потерял О. М. из виду. Лагерное начальство приняло энергичные меры: ссыльных загнали в бараки, где сразу освободились места заболевших, заперли на замок и никуда не выпускали. По утрам барак открывался, меняли парашу, а санитары мерили всем температуру. Такая тюремная профилактика, разумеется, ни к чему не приводила, и болезнь косила людей. Заболевших переводили в изоляторы, о которых ходили чудовищные слухи. Люди пугали друг друга рассказами об изоляторах. Считалось, что живым оттуда не выйти.

На трехярусных нарах Л. удалось занять вторую полку. Это считалось удачей, потому что внизу была постоянная толчея, а наверху невыносимая духота. Через несколько дней Л. почувствовал озноб. Чтобы согреться он предложил обменять свое место на верхнее. Желающих нашлось много. Но и наверху озноб не прекратился, и Л. понял, что это сыпняк. Его преследовала одна мысль: переболеть в казармах и не дать утащить себя в изолятор. Он недомеривал температуру и несколько раз обманывал санитаров. Жар поднимался, и однажды он, не сумев правильно стряхнуть градусник, попался в обмане, и его унесли. В изоляторе ему рассказали, что незадолго перед тем там побывал Мандельштам. Тифа у него не оказалось. Ссыльные врачи отнеслись к нему хорошо и даже раздобыли ему полушубок. У них образовался излишек одежды — наследство умерших, а умирали там люди, как мухи. К этому времени О. М. очень нуждался в одежде, даже свое кожаное пальто он успел променять на сахар. Ему дали за него полтора кило, которые тут же украли. Л. спрашивал, куда же девался О. М., но никто этого не знал.

В изоляторе Л. провел несколько дней, пока врачи не диагностировали сыпняк. Тогда его перевели в стационар. Оказалось, что на «Второй Речке» была вполне пристойная стационарная больница, двухэтажная и чистая. Ее-то и отдали под сыпной тиф. Здесь Л. впервые за много месяцев улегся на простыне, и болезнь обернулась отдыхом и сладостным ощущением неслыханного комфорта.

Выйдя из больницы, Л. узнал, что О. М. умер. Это случилось между декабрем 1938 года и апрелем 1939, потому что в апреле Л. уже был переведен в постоянный лагерь. Свидетелей смерти Л. не встречал и обо всем знал только по слухам. Сам он человек точный, но каковы его информаторы, сказать трудно. Рассказ Л. как будто подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти О. М. А я делаю из него еще один вывод: так как больница была отдана под сыпной тиф, то умереть О. М. мог только в изоляторе и даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней.

Мне негде навести справки и никто не станет со мной об этом

говорить. Кто станет рыться в тех страшных делах ради Мандельштама, у которого даже книжка не может выйти?... Погибшие и так должны радоваться, что их посмертно реабилитировали или по крайней мере прекратили их дела за отсутствием состава преступления. Ведь даже справочки у нас бывают двух сортов, без всякой уравниловки, и Мандельштам получил по второму... Поэтому я могу собрать только все свои скудные сведения и гадать, когда же умер Мандельштам. И до сих пор я повторяю себе: чем скорее наступает смерть, тем лучше. Ничего нет страшнее медленной смерти. Мне страшно думать, что когда я успокоилась, узнав от почтовой чиновницы о смерти О. М., он может еще был жив и действительно отправлялся на Колыму в дни, когда все мы уже считали его мертвым. Дата смерти не установлена. И я бессильна сделать еще что либо, чтобы установить ее.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Б

В

Г

Л

М

■

О

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

с. 351 – Индивидуумы и ценности

[illegible] требований к гос-ву.

Гос-во враг и только враг.

[illegible]

[illegible]

-4. AUG 1972		
-7 SEP 1973		
17. NOV. 1975		
11. DEC. 1975		
18. DEC. 1975		